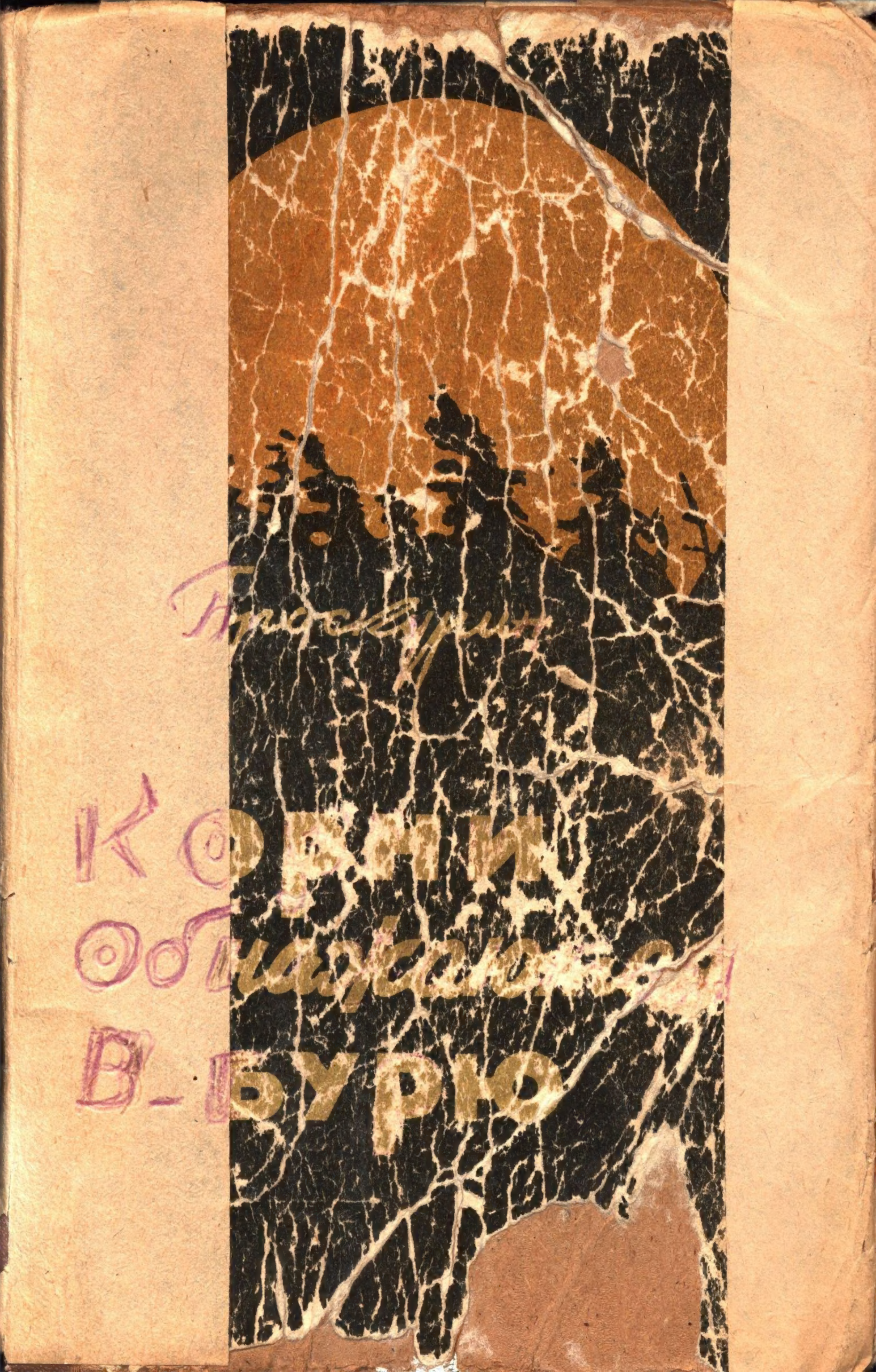

Проскурин
Корни
обнажаются
в бурю

Корни
обнажаются
в бурю



«Да пробудится лесоруб!»
Пабло Неруда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Июнь. Солнце.

Таежные дороги не успели просохнуть. Весна на севере — поздняя гостья, и природа дорожит здесь малейшей толикой тепла и света. От низин дышало холодом нерастаявшего снега, а возвышенностях расцветали северные цветы: кар ...вый камчатский лавр, подснежник, голубика, жи ...ь. Косяки уток носились над разбухшими протока... ...ками, густо шел на нерест в залитые водой травянис... места плодовитый карась. На каждом сантиметре зем... каждой капле воды жизнь в яростной борьбе утверж... свою бесконечную молодость. Сопки, наполовину бе... холодно и бесстрастно искрились в синей высоте, но ... тайга у их подножий клокотала ручьями и страстью. ...истый, промытый первыми дождями воздух стойко ...кивал запах прели и сырости.

...оскресенье. Комаров еще нет, и в тайге сущая благо... На делянах лесорубов — затишье. Молчат пере...ные электростанции и тракторы, не видно людей.

...о вот на одной из дорог раздались голоса, и про-

ворная белка стрелой взметнулась по старой лиственнице на самую вершину, сердито фыркнула, недовольная собой за излишнюю торопливость. Показались два человека. Александр Архипов и черноглазая девушка, дочь директора леспромхоза — Ирина. Лица паренька пока не касалась бритва, и во всем его облике проглядывало много детского, неустоявшегося. Помахи веткой, он шагал рядом с девушкой, осторожно об дившей непросохшие места, и не обращал, казалось, подругу никакого внимания. Но это было не равно шие, а скорее близость, когда люди, находясь рядо понимают один другого почти без слов. И действительно: стоило девушке слегка задуматься, как ее спутник тотчас спросил:

— О чем ты?

Он уловил в ее глазах растерянность.

— Никак не могу представить, что мы уже взрослые... Ты окончил школу, мне остался один год...

— Да, — улыбнулся Александр, — говорят, выпущенная из клетки птица долго не решается улететь ..

— Человек — не птица. И все же...

Он взглянул ей в лицо.

— Что?

— Непривычно. Десять классов — и ты взрослый человек.

— Удивительное открытие.

— Смеешься?

— Приходится... Да ты погоди! — Он взял ее за руку. — Я ведь шучу. И зачем мне смеяться? Вот я недавно слышал от Генки Калинина, что ты меня крепко любишь. Ему вроде бы сестренка сказала.

С его стороны это была всего лишь шутка. Но Ирина сразу посерьезнела. Она и раньше чувствовала перемену, назревавшую в их отношениях. Только когда все началось? Они жили рядом, росли на глазах друг у друга, вместе учились и поэтому их отношения долго сохраняли чистоту первой дружбы. Но с некоторых пор Ирина стала ловить его взгляды, которые начали тревожить. Смутное, не совсем понятное чувство тревоги было ей приятно. Александр старался делать вид, будто все остается по-прежнему. Они продолжали приглядываться друг к другу и искали, все время искали встреч. Видется хотя бы мельком, хотя бы издали стало

для них непреодолимой потребностью. Сейчас в шутливых словах Александра девушка почувствовала желание отвлечь ее от главного. В голосе — неуверенность, почти просьба, а глаза насмешливы и вызывающи.

— Перестань, — негромко попросила Ирина.

— А все же?

Она молча посмотрела на него, резко повернулась. Он едва успел удержать ее, схватив за локоть.

— Ведь да? Это ведь правда? Генка...

— Оба вы с Генкой идиоты. Вам бы...

— Ну ладно, Ирка, кончено и забыто.

Чуть приотстав, Александр нагнулся за еловой веткой. Девушка чувствовала на себе его взгляд. Это ее сердило и непривычно волновало.

— Подожди, Ирина, — окликнул он, — давай лучше к озеру сходим, красотища там сейчас, воды полно, на зорях карась балует. Жирный.

Они свернули на узкую влажную тропку, ведущую вглубь. Девушка впереди, Александр чуть приотстав — тропинка была слишком узка.

Помахивая еловой лапой, юноша, не отрываясь, смотрел на шагавшую впереди Ирину, и опять, в который раз уже, на него нахлынуло радостное ощущение физической силы. Ему так захотелось подхватить девушку на руки, что мускулы напряглись и стало трудно дышать. Только бы подхватить на руки, чтобы она испуганно обняла его за шею... Обидится или нет?

Словно подслушав его мысли, девушка оглянулась.

— Что ты?

С усилием заставив себя отвести глаза в сторону, он посмотрел на острую вершину молоденькой елочки.

— Я-а? Ничего. Подумал вот... Кем бы хотел меня отец увидеть после школы? У меня ведь отца совсем не было. Нет, быть он, конечно, был, но я его совершенно не знаю. Мать не любит рассказывать, говорит, что погиб во время войны, в сорок втором. А вообще-то она на этот счет неразговорчива.

— Ты только об этом думал сейчас? — спросила Ирина, снова оглядываясь. Он принялся с таким нарочитым жаром уверять ее, что она наконец улыбнулась.

Глубоко протоптанная в мшистой почве тропинка петляла по тайге то в обход валежины, устрашающе поднявшей к небу обнаженные корни, то по молодому

подлеску. Подул легкий ветерок, в его шум дятел сыпал упрямую частую дробь.

Юноша остановился.

— Ирина... Постой, Ирина!

Таким тоном он никогда еще не разговаривал с нею; удивленно оглянувшись, девушка споткнулась о корень. И в следующую минуту оказалась у Александра на руках. Ахнув, испуганно обхватила его за шею.

— Вот так.

Он хотел поцеловать ее в губы, но она резко откинула голову, и он прижался губами к ее шее. Несколько минут стояла тишина, кожа на шее у Ирины была мягкой и нежной.

В первый момент она замерла от неожиданности, но затем, вывернувшись у него из рук, отпрянула в сторону и прижалась к толстому стволу. Не отрывая от нее глаз, Александр медленно приближался, и она, забыв обо всем на свете, вскрикнула:

— Сашка!

Он остановился. Сел на валежину, спиной к девушке. Она постояла немножко. неуверенно пошла к нему. Толстый слой мха скрадывал ее шаги, но он услышал и глухо сказал:

— А может, я тебя люблю...

— Да, любишь... — ответила она после долгой паузы, и в ее голосе зазвучали обиженные нотки. — Любят, наверное, не так.

Прикрывая шею тонкими смуглыми пальцами, она наглухо застегнула воротник блузки.

Александр медленно встал. Они смотрели прямо в глаза друг другу.

— Нет, — внезапно произнесла она враждебно и четко. И сейчас же смягчаясь, повторила: — Нет, Саша. Ты подумай, к чему это?

— Мне девятнадцатый год, я окончил школу и могу работать.

— Ну что школа, — прервала она, втайне довольная переменой разговора. — Десять классов сейчас ерунда. Всего-навсего грамотный дворник.

— А это? — Александр показал большие исцарапанные руки. — А это? Или ты хочешь сказать, что тут пусто? — шлепнул он себя по лбу и замолчал, приглядываясь к темневшему из-за воротника блузки пятну. —

Знаешь, ей-богу, я не хотел, — проговорил он смущенно. — Сам не понимаю, как получилось.

— Ладно уж. Вот если только отец заметит, влетит мне. Послушай, Сашка, не смей этого делать.

— Подумаешь... Скажи, наткнулась на ветку, — сказал он небрежно, отводя глаза в сторону, но Ирина поняла, что он оправдывается.

— Никогда не смей, — повторила она резко. Он промолчал.

К озеру они подходили молчаливые, серьезные. То новое, что вошло в их жизнь за последние часы, было настолько ощутимым, тревожным, что оба чувствовали недоумение и настороженность. И друг перед другом, и перед темной глухой тайгой.

2

Ближе к озеру настороженность возросла. Им вдруг послышался чей-то голос.

— Дела, — пожал Александр плечами и решительно двинулся вперед. Девушка схватила его за руку. Прижавшись друг к другу, они осторожно раздвинули кусты и переглянулись. У самой воды, по неширокой галечной отмели расхаживал невысокий человек. Александр пожал плечами и прошептал: — Странно... Это Павлыч.

— Пьяный, наверно, — добавила Ирина. — Пойдем, не надо подходить. Пьяный он нехороший, все на свете ругает. Ну его...

Она потянула Александра назад, но тот заупрямился.

— Подожди. Все это врут, что злой. Несчастливый он, я его лучше знаю, я у него всегда книги беру. Все свои деньги он на водку да на книги тратит. Чудак человек. И чего ему вздумалось сюда забрести?

В голосе Александра прозвучало недоумение; взглянув снизу ему в лицо, Ирина поправила свисшую на лоб прядь волос.

Васильев опустился на гальку и замер.

Вокруг стыла таежная тишь; как полированная, спокойно светилась темная поверхность озера, окруженного со всех сторон тайгой. Где-то недалеко в ненасытной любовной истоме закричала утка. Васильев поднял кудлатую голову, прислушался. Взмахнул удочкой.

— Нет, он не пьяный.

Александр вышел на берег. Васильев оглянулся.

— Здорово, Павлыч.

Ирина стояла в стороне. Она не любила и избегала этого странного, замкнутого человека. Но Александр был привязан к нему с детства и остро переживал запои Васильева. Тот не был похож на остальных, и одно это делало его в глазах мальчика интересным. Маленький Сашка то смотрел волчонком, то тянулся к Васильеву. Сашка рос восприимчивым ребенком. Когда Васильев, живший с Архиповыми рядом, впервые взял мальчонку на колени, тот сразу притих. Он впервые почувствовал руки мужчины. Таким, как этот лохматый дядька, мог быть и отец. И еще тогда мальчик уловил дрожь сильных, сжимавших его рук.

Поняв по-своему, он спрыгнул с колен, достал рукавицы.

«Погрейся», — предложил он.

Васильев долго мял рукавицы неподатливыми пальцами. Потом, провожаемый грустным взглядом Архиповой, вышел. Наутро принес кулек конфет и гуттаперчевого зайца. Так началась их дружба. Но запои продолжались.

Вот опять то же самое, опять у Васильева пустые, безразличные глаза.

В юноше еще не вполне улеглась радость первого поцелуя. Он сейчас остро чувствовал жизнь в каждом шорохе, в каждом движении воздуха. Жизнь проносилась перед ним легкими, прозрачными облаками, шумела вершинами лиственниц, победно гремела пением птиц. Он еще нигде не бывал, кроме окрестных поселков лесорубов. Столичные шумные города знал лишь по книгам и кино. Но дыхание больших городов было знакомо ему давно: оно доходило до Игреньска — поселка, в котором вырос Александр, — десятками, сотнями и тысячами различных вещей, мыслей, слов.

Васильев попросил:

— Уйди...

Александр притих, как мальчишка, за минуту до этого беззаботно бегавший взапуски и ни с того ни с сего получивший увесистый подзатыльник от прохожего.

Юноша попробовал возразить, но в ответ опять услышал:

— Уйди ты, ради бога, Сашка.

Это было сказано таким тоном, что Ирина и Александр, стараясь не глядеть друг на друга, медленно побрели назад. До самого поселка шли молча. Оживились, лишь встретив идущего куда-то хромого Раскладушкина — полнеющего мужчину лет сорока, с бабьим, лишенным растительности лицом. В последних числах каждого месяца от него уходила жена, и Раскладушкин дня три—четыре разыскивал ее, обходя поселок за поселком, расспрашивая каждого встречного. Наконец ей надоедала холостяцкая жизнь, она давала себя найти, и оба возвращались домой успокоенные, примиренные и утомленные: она бурно прожитой неделей, он — треволнениями долгих бесплодных поисков.

Проходя мимо, Раскладушкин с достоинством кивнул Александру, задержался взглядом на Ирине и, вздохнув с видом все понявшего человека, захромал дальше.

— От него вчера опять Марфа сбежала, — засмеялся Александр. — Искать отправился.

3

Игреньск — небольшой поселок. В центре — магазин, клуб, столовая, три небольшие улицы, вокруг — поредевшая, но все еще дружная тайга.

В осенние дожди и ветры тайга темнела и начинала гудеть. Зимой над поселком разгуливали голосистые метели, в сильные морозы деревья звонко постреливали, на крышах домов, у печных труб, находили глухарей. Весна захлестывала поселок талой водой, и через улицы пролегали высокие дощатые тротуары. А летом гудели таежные дороги под тяжестью груженых лесовозов. Велика тайга, просторен мир. Гудят, гудят таежные дороги. Веселый, напористый народ шоферы. За какой-нибудь месяц работы Александр врос в эту беспокойную, подвижную жизнь, пропитанную бензином и маслом, с грязной диспетчерской, с ночными рейсами и узкими, неудобными дорогами. Правда, ему дали старенькую, газогенераторную машину, но для начала и это неплохо. В первые же дни Александр открыл, что изношенный газген точь-в-точь как старый опытный конь — нетороплив, но вынослив, некрасив, но надежен.

Совершая последний рейс, Александр то и дело при-

бавлял газу. Сегодня Ирина обещала встретиться, походить вместе по тайге. Он видел ее утром с ведром воды. В ответ на его предложение она скупо улыбнулась и, не останавливаясь, кивнула.

Александр сдал машину сменщику, усатому украинцу Ивану Шамотько, и отправился домой. Стекла окон, обращенных к западу, отсвечивали багрянцем. Поднимая пыль, наперегонки бегали ребятишки и собаки. Мать встретила его у крыльца: чистила карасей на ужин. Крупная карасиная чешуя, налипшая на руки, отсвечивала медью. Устало отерев лоб тыльной стороной ладони, мать полувопросительно сказала:

— Рано что-то сегодня.

— Так получилось. Иван пораньше пришел.

Не останавливаясь, Александр прошел в дом, и губы женщины тронула слабая улыбка. Ну вот, все идет как надо, и то, чего была лишена она, будет щедрее отпущено сыну.

Женщина задумалась и не услышала приветствия проходившего мимо Головина.

— Зазналась, соседка?

Она поправила платок, стараясь не загрязнить его руками, и ничего не ответила. После смерти жены Головин года три ходил молчаливый. Между ним и Ниной Федоровной были простые, дружеские отношения. Теперь он часто с ней заговаривает, надеется на что-то. Но ей нечего ему сказать. Дети за семь лет стали взрослыми. Отлично ведь знает: не быть между ними ничему. Зачем? Ведь не раз говорила, не раз просила.

Нина Федоровна подняла голову. Время уже наложило на ее лицо свой отпечаток: краски лета и ранней осени. Зрелость и увядание. Готовое вот-вот начать замедляться движение. Под глазами нездоровые темные пятна, в глазах, в самой глубине — не то усталость, не то усмешка.

— Как мой там справляется с машиной? — спросила она вместо ответа.

Головин обрадовался:

— Да хлопец смышленый.

— Ирину в институт думаешь отправлять?

— Очевидно, через год. Скоро один останусь.

— Не надолго.

— Почему?

— Еще спрашиваешь. Ваш брат долго не выдержит.

— Интересно, зачем это нужно выдерживать?

— Тш-ш, — прервала она.

На крыльцо вышел Александр. Увидев директора, сдержанно сказал:

— Добрый вечер, Трофим Иванович.

— Здорово, Саша. Вот на карасей к вам напрашиваюсь.

— А чего... Приходите, хватит.

Позванивая ведрами, Александр пробежал мимо. По воду. Головин проводил его взглядом.

— Растут дети. Что ж... учиться дальше не думает?

— Не знаю, пока нет. Привык, говорит, к тайге, в городе скучно, мол, будет.

— Хороший хлопец.

— Жаловаться не приходится.

Женщина ополоснула руки и стала собирать сухие щепки, чувствуя его взгляд спиной. Уходил бы скорее, неловко... Точно подслушав ее мысли, Головин повернулся и пошел к своей калитке. Она услышала, как поскрипывали его новые кирзовые сапоги.

На лесопилке проверещала сирена, и в поселок со всех сторон потянулись рабочие.

Возле столовой толпилась молодежь. Во дворах дымили летние кухни.

Когда стемнело, Александр наскоро поужинал. Накидывая пиджак на плечи, сказал матери:

— К Васильеву схожу — может, новые книги есть. Ты ложись, меня не жди.

Убирая со стола, Нина Федоровна промолчала. Прошло время, когда она не могла уснуть, если сын задерживается. Это в порядке вещей. Ее лишь удивляло порой, как быстро промчалось время. Ведь давно ли, кажется, рвалось в предродовых корчах ее тело и землянка, в которой она лежала, содрогалась от тяжелых взрывов бомб. Когда появился ребенок, она, искусав в муках руки, прокляла его. Ей было в то время чуть больше восемнадцати, и по земле громыхал кровавый сорок второй...

Сорок второй год.

4

Остановившись у клуба прикурить, Александр задержался. Не хотелось, чтобы Шамотько спросил, куда он торопится. Спорили о нормах вывозки, Шамотько горя-

чился, то и дело хватал Александра за плечо, и Александр насилу выбрал момент, чтобы незаметно отойти и нырнуть за угол. Он чуть не столкнулся с Галинкой Стрепетовой — молодой приемщицей леса на береговых складах.

— Ох, чтоб тебе, — сказала она, не двигаясь с места, и тут же рассмеялась. — Ты на пожар летишь, что ли?

Он не видел выражения ее глаз в полумраке, но видел ее высокую грудь, поднимавшуюся от легкого испуга выше обычного, и заторопился сильнее.

— Некогда, — уронил он уже на ходу. Галинка пожелала вслед ни пуха ни пера, сказала что-то еще звенящим голосом, но он не расслышал.

Ирина ждала. Она шагнула к нему навстречу из-за толстой березы, как весеннее чудо, и сказала неожиданно просто:

— Вот и я. Бежал?

— Ага! Ребята задержали.

— Я недолго ждала. Слушала, как тайга спит. Ты слышишь?

Он прислушался.

— Ирина...

— Да...

— Знаешь... Прости. Что-то хотел сказать и забыл.

Было ветрено. Они стояли в полном одиночестве, далеко от поселка.

— Не любишь ты меня, — неожиданно сказал Александр. — Так все, попусту. Даже поцеловать не захотела.

Ему на плечи легли руки девушки.

— Сашка, ну как тебе не стыдно? Чего ты хочешь от меня? Мы же договорились. Окончу десятый класс...

— Легко сказать. Рассудительная ты, не по годам. А я только и думаю: увидеть.

Тайга.

Ветер.

Беспокойные и жадные толчки сердца.

— Ну вот я, какая есть. Думай что хочешь. И подожди... наверное, это не сразу рождается. Мне сегодня весь день хотелось вечера, чтобы постоять с тобой, одним... вот так...

Александр почувствовал, как вздрогнули ее руки. Она несмело прижалась к нему, у него потемнело в глазах. Он заставил себя отстраниться.

— Ты вот, возможно, учиться уедешь, — сказала она,

заглядывая снизу ему в лицо и стараясь рассмотреть в темноте выражение его глаз. — Разве можно так?

Она говорила, как всегда, спокойно, и он не мог не сердиться.

— Учиться? При чем здесь это? Ты же знаешь: матери трудно работать. И потом вряд ли мне выдержать конкурс. Пожалуй, я подготовлюсь получше, как следует, а пока работать буду. Там дело покажет.

Ночь. Губы. Они недосягаемы. Дружба должна быть чистой. Александр даже обрадовался, когда она стала прощаться.

Проводив девушку, он долго бродил по поселку и вышел наконец на берег Игрени. Присел на камень, прислушался. И показалось ему, что поет река. Негромкая бесконечная музыка струилась в неподвижном воздухе. Александр сидел не двигаясь, но иллюзия движения в нем все усиливалась. В темной воде перед ним то проплывало лицо Ирины, а то вдруг мелькнула и растаяла гибкая фигура Галины-приемщицы, с туго обтянутой платьем грудью. Юноша встал, закинул руки за голову. Все сильнее звучала песня реки — властная, стремительная, нежная. Как непонятный древний зов — взять бы и пойти берегом, все дальше и дальше, в неизвестность зеленой ночи.

О Игрень-река! Бешеная северная красавица! Силу бы твою да резвость человеку — вот бы человечище был!

Вырос я под песни твои, Игрень, ты баюкала мое детство, твои беспокойные воды будили во мне беспокойные мысли, с ранних лет ты наполняла мою душу большими мечтами. Вырасту и стану таким же могучим, — думал я, стоя у твоих берегов...

И вот, Игрень, вырос я и могу померяться с тобой силой, Игрень, дикая река! Я люблю, Игрень!

Слышишь? Люблю!

Александр стоял лицом к реке, жадно втягивая ноздрями ночную прохладу. И потом его ноги в тяжелых кирзовых сапогах вдруг оказались в воздухе. Он прошелся на руках, упал на песок, засмеялся. «А может, я музыкант? — подумал он. — Или поэт? А что, если посвататься к Ирине? Так, мол, и так...»

Он еще раз походил на руках, поболтал в воздухе сапогами и вернулся домой совершенно успокоенный.

На крыльце он покурил, послушал собак и тихонько, стараясь не разбудить мать, открыл дверь.

5

Теперь в свободное время Александр часто приходил к Васильеву. Если тот не был пьян, они рылись в книгах и спорили. Васильев обычно не отличался разговорчивостью.

Александр приносил свежие газеты. Спрашивал:

— Читал?

— А что там? Все то же: лозунги и слова.

— Ну так ведь все книги из слов. Еще Шоу сказал. Не злись лучше, смотри-ка вон, что пишут.

— Опять о культе, что ли? — нехотя спрашивал Васильев, скашивая темный глаз. — Мне что-то неинтересно, надоело. Помер, похоронили — и кончено. Хватит. Вспоминать тошно.

— Речь не о мертвых — о живых. Для них нужно иногда вспоминать и говорить. Ты, вероятно, и сам так думаешь. Ты это должен понимать лучше всякого другого.

Глядя на горячившегося Александра, Васильев густо дымил.

— Может быть, и понимаю. Только это разговор особый.

— Как так?

— Кончай, Сашка. Не время сейчас. Не хочется мне свои старые болячки бередить. После поговорим.

— Ну и сколько ты еще молчать собираешься? Тебе далеко не двадцать, Павлыч. Вот мне, например, верится в разумность того, что сейчас происходит.

— Верь себе на здоровье. Поживем — увидим. Тебе легче поверить. Борьба шла, может, и прошла, а корешки остались. И в производстве, и в культуре, и в быту. Это как пырей — корнистая штука. Что там говорить о высокой политике. В ЦК правильную линию взяли. Только трагедия остается трагедией, Сашка. Народ — это много, для народа всего лишь этап! Тяжелый, но только этап. А для людей, попавших в это чертово колесо, — вся жизнь. Здесь как, по-твоему? Когда-нибудь придут люди ясного ума и большой души. Наверное, они напишут трагедии и все поймут правильно, они будут глядеть на нас с высоты.

— На нее они взойдут, Павлыч, благодаря нам. И опять-таки трагедии не пишутся ради мертвых. Разве не так?

Васильев незаметно для себя втягивался в разговор, громил мещанскую философию индивидуализма, сильной личности, вспоминал множество примеров из истории, когда, узурпируя власть, сильные личности ввергали народы в пучину бедствий, оправдывая это жизненной необходимостью. При этом Васильев сыпал цитатами. Александр не уставал удивляться. Память Васильева хранила великое множество имен, дат, исторических событий, и со всем этим он обращался легко и непринужденно.

Александр любил споры с Васильевым. При каждом удобном случае юноша пытался втянуть Павлыча в разговор. Александру не приходила на ум мысль об эгоизме, но он редко обращал внимание на желание или нежелание Васильева. Юноша чувствовал его дружбу, а может быть и любовь, и бессознательно пользовался ею. Он и не мог иначе. В разговорах и спорах с Васильевым перед ним шире раздвигался мир, открывалось много нового, прочитанное приобретало неожиданную глубину и остроту.

В привязанности к Васильеву была еще одна причина. Отсутствие отца. При всем желании мать не могла заменить его Александру. Она даже не догадывалась, насколько сын нуждается в отце, и часто удивлялась, почему мальчик привязался к нелюдимому соседу. Как ни странно, эта дружба повлияла и на решение Александра остаться в леспромхозе.

За последнее время, особенно перед весной, Васильев совсем сдал, опустился и не пил, лишь когда кончались деньги. Не помогали строгие взыскания администрации и увещевания Головина, не помогали долгие беседы с Глушко. Однажды после пятидневного прогула Васильева уволили, и он около месяца был без работы. Лежал в пропахшей насквозь табаком комнате и бесцельно перебирал книги. Навещая его, Александр ничего не мог добиться. Васильев смотрел прямо перед собой и не обращал никакого внимания на слова юноши. И лишь однажды, выйдя из себя, обозвал Александра олухом, заявил, что «поросячьего оптимизма» современной молодежи для него недостаточно, что мир был и остается скверно устроенным и не стоит цепляться за жизнь, цена которой дешевле стакана воды в проливной дождь. До этого случая Александр ни-

когда не видел старика в таком волнении, таким жалким и злобным.

Юноша впервые задумался о прошлом Васильева. Но спросить не смог. Не посмел. Тлела в глазах у Васильева тоска. О прошлом? Этого Александр не знал. Когда через несколько дней все же спросил, Васильев процедил сквозь зубы:

— К чему ворошить погасший костер, Сашка... Только глаза засоришь, огня все равно не добудешь.

Юноша усмехнулся.

— Ну, Павлыч, заговорил! Загадками... Как хочешь, только не пойму я, зачем себе во вред делать? Ты же болеешь всякий раз после пьянки. Вот теперь с работы турнули. Головин говорит — не возьму назад, сколько можно? Что будешь делать?

— То же, что и раньше, — равнодушно ответил Васильев, думая о своем и выстукивая «Марш артиллеристов» о край табуретки. — А Головин... Всякому порядочному директору с нашим братом, пьяницей, положено не на живот, а на смерть биться до последней капли крови. Лично я не в обиде. Ему руководить, мне — пить. Одно другому не мешает. Не так, скажешь?

Александр молчал. Не смысл услышанного, а тон заставил его промолчать. Можно спорить или драться с противником, но как говорить с другом, если чувствуешь, что и слово участия для него боль?

Потом все устроилось, и Васильев остался на прежнем месте. Приближалась весна, выпускные экзамены. Александр приходил к Васильеву реже. А потом и совсем перестал показываться, и Васильев пел по вечерам грустные песни, устремив перед собой немигающий взгляд. Неподвижно замершая фигура, медленные скупые движения пальцев, перебирающих струны гитары, окаменевшие черты худого небритого лица.

Но в минуты просветления Васильев был другим. Все свободное время читал или, обуреваемый хозяйственным рвением, что-нибудь мастерил. Прибирал возле своего домика, колол дрова — запас у него всегда заходил на год вперед.

После встречи на озере Александр вскоре пришел к Васильеву. Тот лежал на кровати, в комнате было неприбрано, на столе валялись окурки. Стараясь ничего не замечать, Александр сказал:

— Решил, Павлыч. — А что, Павлыч, если здесь пока работать?

К удивлению юноши, Васильев отнесся к его словам резко отрицательно. Взвинченный в одиночестве своими мыслями, он резко приподнялся:

— А сам ты как думаешь?

Александр пожал плечами.

— Не знаешь? Так я тебе скажу. Останешься в этой чертовой дыре, богом и дьяволом проклятой, женишься, начнешь детей плодить — и кончено. А величайшее благо жизни человеческой — наслаждение мыслью, знанием? Ну я, к примеру, человек конченый, а тебе ведь жить да жить. Ты же умен, чертушка... Эх, да, вспрочем, что с тобой толковать, подай-ка вон папиросы.

Он закурил, откинулся на подушку.

— А впрочем... Инженер, профессор, земляной червь, вождь, не все ли равно? Живи, брат, живи как хочешь, не все ли равно, кем ты будешь?

Юноша покачал головой.

— И философия у тебя, Павлыч. Черна, страшна. От вчерашнего, что ли? Помнится, ты рассуждал по-другому. Сам говорил, что главное в жизни — труд.

— Труд... Темна... А тебе светленького захотелось? — Васильев глядел исподлобья. — Светлыми только дураки бывают да пуговицы у солдат. Первым по природе, вторым по уставу положено. Не спорь сегодня со мной, лучше переменим пластинку. Почему долго не был? Молчишь? Ну, ладно, не красней, как девчонка. Правильно, Сашка, все идет своим чередом. Одно ваше мгновение где-нибудь наедине дороже всей философской гнили. Сильнее и страшнее всего мысль. И пока ты живешь, чувствуешь, ты юн и счастлив. Черт побери, ты когда-нибудь слышал, чтобы я столько говорил?

Александр засмеялся, покачал головой.

Но так много входило в жизнь нового, что невозможно было задерживать внимание на чем-то одном. Теперь юноше было мало Васильева. Все чаще Александр уходил после работы в клуб.

Вернувшись однажды раньше обычного домой, встретил только что вышедшего из калитки Головина. Тот не ожидал этой встречи и прошел молча.

Мать сидела у окна; встретив ее взгляд, далекий, нездешний, Александр неожиданно для себя смутился, слов-

но нечаянно заглянул в дверь чужой квартиры и увидел неположенное постороннему.

6

Александр рос в здоровой трезвой обстановке, где все узнается в свое время, без потрясений и нервных надломов, где жизнь вкладывает истины в сознание ребенка не спеша, обстоятельно, без излишней щепетильности. Но что толку в истинах, не проверенных лично.

Последние дни Александр избегал Ирины. Чувствовал, что не удержится и опять выкинет какую-нибудь глупость. Но это мало помогало. По ночам, просыпаясь, не мог заснуть. Лезла в голову всякая чертовщина. Стараясь избавиться от нее, отчаянно курил; уплывая за перегородку, дым заставлял кашлять спящую мать.

Девятнадцатая весна — критический возраст. Стажировка, первый месяц работы, связанные с нею перемены захватили Александра на время полностью. Он даже задерживался с ответами на письма своему школьному другу — Генке Калинину. Иван Шамотько, с которым они работали на пару, посмеивался в усы:

— Не горячись, Сашко, або пару не хватит на всю дорогу. Она у тебя длиннющая, як та Галактика. Побереги пуп.

В разговоре Шамотько часто притрагивался к усам тыльной стороной ладони и густо прокашливался. Александр, на которого обрушивались потоки его острот, шуток, анекдотов, скоро привык и только посмеивался. Шамотько подтрунивал всегда и везде, и жена его, спокойная неторопливая женщина, нередко сокрушалась, что балабон в могилу сведет ее своим дурацким языком. Но Александр был доволен — веселый напарник ему попался. Часто юноша думал о другом и не слышал слов Шамотько. Тот не надолго обижался. Хитровато щурясь, уже в следующую минуту спрашивал:

— Эй, Сашко! Ты жив або концы отбросил? Н-ну, хлопец, треба тебе дивчину заиметь. От сумности не ожидай добра, а сумность твоя только от этого... Чуешь?

Александр привыкал к машине, его интересовали скрытые в ней возможности. Он с первых же дней стал превышать дозволенные скорости. Ему нравилось движение, быстрота.

День за днем, неделя за неделей.

Солнце.

Дороги.

7

Сегодня осень впервые дохнула на тайгу изморозью. Казалось, в одну ночь загорелись березы червонной медью, тускло и скупо засветилось багрянцем дрожащая листва осин. Хвою лиственниц тоже тронула желтизна. И только ели, массивные, коренастые, темнели на посветлевшем фоне тайги внушительно и строго.

Александр возвращался из последнего рейса. Немного устал — смена была тяжелой, дорога петляла, как все таежные дороги, проложенные наспех. На рытвинах и выбитых корнях сильно встряхивало, и пружины сиденья, сжимаясь до отказа, заставляли морщиться.

«Заменить надо», — подумал он, одной рукой придерживая руль, другой ухитряясь закурить.

Жидкое голубое утро мчалось навстречу, кострами пролетали мимо редкие старые березы. Тревожное чувство, не оставлявшее его весь день, вновь прихлынуло, юноша весь подобрался. Голубые глаза посветлели, руки тверже легли на баранку.

Вот оно... Как этот поворот, стремительно мелькнуло лето, и, кроме езды, ругани с диспетчером, дорог и тайги, казалось, ничего больше не было. «А что тебе надо?» — спрашивал он себя и не находил ответа.

Ночные смены кончались на заре.

В погоду зори полыхали в полнеба.

Он въезжал в новый день вместе с рассветом, на стеклах кабины зори играли густым румянцем, в тайге рычало гулкое эхо.

Летели дни...

Шутки Шамотько. Все усиливающийся кашель матери по ночам...

Что он понял за это время, чему научился?

Опять те же вопросы, отголоски разговоров и споров с Васильевым, вызванные ими раздумья. И кого это касается? Не все ли равно... Ему нравится вот так нестись по дороге в машине, отыскивать в себе что-то ускользающее, стремительное, рвущееся. Кому какое дело? Ему нравится именно так. Разве нужно особое разрешение?

Зря Павлыч косо посматривает, последнее время и не ходил к нему поэтому.

Машина теперь летела стрелой, грохотал сзади прицеп, но Александр, впившись перед собой взглядом, все увеличивал скорость. Зазевавшийся на дороге глухарь едва успел взлететь: юноша усмехнулся его неповоротливости.

Ветер гудел в приоткрытых щитках; погасла зажатая в уголке рта тощая папироса. Разве с чем сравнить ощущение собственной силы, быстрое пожирание пространства и чувство, что завтра опять будет день и Галинка-приемщица вновь будет дразнить его? И почему он при ней теряется? Что ей надо? Чертова девка! Иван начинает уже подсмеиваться... «Что, хлопче, жидковат в коленках? Это тебе не книжки читать. Разумеешь?»

Александр беспричинно рассмеялся, раздувая тонкие ноздри, все крепче сжимая баранку. Он уже не ощущал нарастания скорости, не слышал высокого гула двигателя. В уши ему, в сердце волнами била сумасшедшая музыка. Движение, встречный ветер превратились в музыку. Росла, переливалась могучая мелодия, заполняла душу. Он не знал, не мог понять, что с ним происходит. Музыку любил, и часто, в часы одиночества, начинал звучать в памяти какой-нибудь мотив. Но сейчас звуки рушились лавиной, они захлестнули весь мир. Гигантский звуковой круговорот всех цветов и оттенков втягивал в себя Александра. Чрезмерным напряжением воли он еще заставлял себя глядеть на дорогу, руки и ноги механически, независимо от него, продолжали делать свое дело. Но разум был скован.

Юноша не в силах был сбавить скорость, не в силах был остановить сумасшедшего бега машины.

Поворот стремительно мчался навстречу. Очень крутой поворот. Озноб пронизал Александра с головы до ног, он уже не слышал музыки.

Поворот надвигался неумолимо, как смерть. Секунда... Вторая... Еще немного — и все исчезнет. Все. И тогда Александр закричал. Не от страха — от нечеловечески острого восторга.

Машину швырнуло в сторону, приподняло правой стороной, опять швырнуло, и разом оборвалась музыка. Помог ли взлетевший в воздух прицеп, но в следующую секунду машина опять мчалась по дороге, постепенно теряя скорость, мчалась как ни в чем не бывало, и только на

бледном лице Александра выступили крупные капли пота.

Принимая смену, Шамотько спросил о количестве леса. Александр не ответил.

«Что это было?» — продолжал думать он уже с некоторым испугом.

Придя домой, торопливо умылся, поел, лег спать и заснул сразу, словно провалился в глубокую яму. Уже засыпая, услышал приглушенный кашель матери, звон тарелок.

Сон. Мягкой волной накатился сон.

8

Скромная комната. Зыбкое золото заката. Оно вливалось через решетку окна.

Сверху отзвуком донеслось:

— Смотри, Павлыч... Павлыч...

Ничего не понимая, Александр с усилием открыл глаза и увидел лицо матери. Мягкий вечерний полусвет скрадывал усталость и морщины. Из материнских глаз плеснулась растерянность и радость.

Он увидел: мать шевельнула сухими губами и, не отрывая от него глаз, медленно выпрямилась.

С возрастающим недоумением Александр приподнялся. Чувствуя сильный голод и необычную легкость в теле, перевел взгляд с матери на Васильева.

— Здравствуй, Павлыч. Что такое? Случилось что-нибудь?

Мать тяжело и неловко опустилась на стул. Васильев развел руками:

— Ничего особенного, верно, переутомление. Странно, но факт. Ты, как Святогор, проспал почти сутки. Как тебе нравится?

Он поднял руку и полушутливо, полуторжественно окончил:

— Факт. Ничего не скажешь — дал прикурить. Мать перепугалась, никак разбудить не могла. Угораздило тебя.

Александр взглянул ему в лицо и не сдержал улыбки, но, увидев мать, умолк на полуслове.

Глаза матери закрыты, под ними темные круги. Плечи сдвинуты, руки опущены на колени. Вся она — нездоровая усталость. Впервые он подумал, что мать еще молода, одинока и не очень счастлива.

Он вспомнил давний, полузабытый случай, лет десять назад. Мать вернулась с работы вся вымокшая, оставляя на полу мокрые пятна, растопила плиту и долго отогревала непослушные закоченевшие руки. Он подошел, дернул ее за юбку.

— Мам...

— Что тебе? — она не глядела на него и не двигалась с места.

— Я есть хочу, — сказал он.

— Подожди немного. Сейчас суп сварю.

— Из картошки?

— Нет, картошка кончилась. И дорогая очень. Из пшена, с рыбой.

— Опять с рыбой?

Мать не ответила и стала отжимать подол кофты, и капли воды, брызгая на плиту, шипели. Рассерженный ее молчанием, он отошел и решил не есть суп из рыбы, мать потом долго его уговаривала и, вконец рассердившись, стала искать ремень.

— Ну, ладно, — сказал он из угла. — Буду. Только мне рыбы не надо, одного супу.

Он глядел исподлобья, и мать, неожиданно для него, повеселела и рассмеялась.

Александр поднял глаза: волосы матери светились. Нина Федоровна сидела вполоборота к окну; переместившись, густой отсвет заходящего солнца падал прямо на нее, и был виден каждый отдельный волосок.

— Тс-с, — кивнул Александр Васильеву. — Тс-с...

Нина Федоровна открыла глаза, огляделась:

— Я, кажется, задремала.

Встала, поправила платок на груди, вздохнула:

— Если бы ты знал, как я испугалась!

Он молчал. Ясность мысли была поразительная. Ему казалось, что другой думает и чувствует за него, более мудрый и опытный.

Ушла мать готовить ужин. Васильев посидел рядом, покурил и тоже тихонько вышел.

Один. Темнело.

Сумрак заполнял комнату, вещи принимали расплывчатые очертания. Александр только сейчас осмыслил слова Васильева. Сутки. Интересно... Ему вспомнилось то странное состояние, когда он возвращался с работы, музыка, сумасшедшая гонка. Конечно, последнюю неделю он

почти не спал. Два—три часа перед самым рассветом, не больше.

Слегка кружилась голова.

«Все же, что это было?» — подумал он.

За столом его продолжали одолевать те же мысли. Приписывая его молчаливость болезни, Нина Федоровна спросила:

— Тебе плохо, Саша?

— Нет. Я себя очень хорошо чувствую.

Он глядел на ее руки, и она спрятала их под фартук.

— Нет, — повторил он. — За сутки могло многое случиться. Могли улететь на Марс, начать войну. Немножко странно, правда?

— Мысли у тебя — не дай бог, — покачала мать головой. — Успокойся, ничего не произошло. Письмо, правда, тебе откуда-то.

— Да? — спросил он тихо и как-то безразлично.

Пока он читал письмо, Нина Федоровна убирала со стола. Изредка вскидывала глаза на сына. Строгий профиль, лоб широк и чист. Когда он родился, ей было меньше, чем ему сейчас. Почти два десятка лет... О господи, что это были за годы... Она никак не могла избавиться от чувства враждебности к сыну. И только последнее время она поняла, что он — сын — для нее значит. Почти животный страх охватывал при мысли потерять. Когда сын подрос и стал расспрашивать об отце, она выдумала отца. Такого, чтобы не было стыдно. Со временем сама почти поверила в этого выдуманного человека.

Перед ней проходило прошлое. Недавнее и далекое. Хотелось забыть, и нельзя было забывать. Оно преследовало ее. Растя сына, она чувствовала дыхание прошлого, на работе оно беспощадно стояло рядом, ночами приходило во сне. Но жизнь шла, ребенок рос, ничем не виноватый, такой же, как и все остальные дети на земле, требующий заботы и ласки. Никто не знает, как мало было от него радости, как смотрела она на него в долгие ночные часы, когда он спал и, улыбаясь, шевелил губами. И любила еще сильнее.

9

Письмо было от Генки Калинина. Прежний тон и большая сдержанность. Не без иронии сообщал, что свой хлеб оказался солонее, чем он думал. И с восторгом —

о море, о новых местах, о придирчивом боцмане, о том, что ему, Александру, тоже неплохо было бы посмотреть мир.

Александр дочитал, перевернул. В глаза бросилась белизна обратной стороны. «Мало», — подумал он. И тут же удивился: забыл смысл прочитанного. Уловил глазами конец: «С океанским приветом. Черкни парочку строк о себе. Еще не женился?»

Некоторое время и эта фраза никак не хотела укладываться в сознание. Потом Нина Федоровна услышала тихий смех сына и выглянула из соседней комнаты.

— Это я так, не обращай внимания, — ответил он на ее немой вопрос. — Пойду погуляю чуток. Тепло на улице?

10

Тайгу окутывал синий полумрак. Все вокруг дышало осенью. Над сопками мягко разгоралась заря.

Александр вышел за калитку. Привычные шумы и запахи. Поселок готовился ко сну. Было свежо. Возле клуба спорили.

Юноша сел на скамейку. Идти никуда не хотелось. Марфа Раскладушкина гонялась за курицей. Курица, распустив крылья, металась из стороны в сторону. Марфа, наругавшись вволю, хватала горсть земли и начинала манить:

— Тип!.. тип!.. тип!.. чтоб ты, окаянная, сдохла!

Марфе помогал восьмилетний сынишка Ивана Шамотько — белоголовый Васек. Услышав оклик Александра, он остановился, глубокомысленно поковырял в носу и, не говоря ни слова, побежал дальше. Юноша от души рассмеялся. Младший Шамотько всегда смешил его своей серьезностью. Сын не пошел в отца, чем не раз досаждали веселому украинцу друзья-шоферы. Александр знал, что Иван даже имел на этот счет полусерьезное, полушутливое объяснение с женой.

Проводив мальчугана улыбкой, Александр потянулся.

Темнело. По улицам ползли тени. Временами с тяжелым рокотом проходили лесовозы. Некоторые с зажженными фарами. Вспыхнуло электричество. Сразу потускнела, отодвинулась заря. Из-за недалеких сопок выглянула луна. Тонкий лунный свет залил землю. Становилось прохладно. Александр поднялся, плотнее запахнул пиджак.

Раздумывая, куда бы направиться, нерешительно оглянулся и увидел проходившую мимо Ирину. Он узнал ее по светлому демисезонному пальто и непокрытой голове: она всегда ходила простоволосой.

Ирина тоже увидела его, сделала движение пройти мимо, но, помедлив, остановилась.

— Ты чего не здороваешься?

— Здравствуй, Саша. Как дела?

— Здравствуй. А что дела? Все в порядке.

— Скучаешь?

— О ком?

— Тебе лучше знать. У вас там такая приемщица...

Он сразу понял, о ком она говорит, но спросил:

— Это Галинка-то Стрепетова?

В ответ она пожала плечами:

— Конечно, кто же еще?

— Ты думаешь?

Она опять пожала плечами, чертя носком туфли треугольник на тротуаре, и негромко добавила:

— Она такая красивая...

— Вот как. А я и не знал.

Ирина повернула голову: в его голосе она уловила плохо скрытую иронию. Он вдруг отметил про себя, что она выше отца. И когда она успела так измениться? Вчера еще, кажется, по заборам вместе лазили. Ирка Головешка. Так прозвали ее в поселке за угольно-черные глаза и смуглую кожу. Странная она, Ирина. Вот сидит и молчит. И молчать может весь вечер. А потом вдруг встанет внезапно и уйдет. С откровенным дерзким любопытством юноша глядел ей прямо в глаза. Опасаясь опять спугнуть, осторожно предложил:

— Посидим немножко, а? Скучновато, в самом деле.

К его удивлению, она согласилась. Некоторое время они сидели молча, затем Ирина вздохнула:

— Привет тебе от Ольги Поляковой из вашего класса. Она теперь в Москве. Вчера письмо получила.

— Спасибо. Для меня это безусловно важнее всего.

Девушка засмеялась. Раньше он редко слышал ее смех; прислушиваясь к нему, помедлил и спросил:

— Ты чему это?

— Разве запрещено?

— Да нет, пожалуйста. Ты, оказывается, смеяться умеешь. Чудо!

— Вот как... Даже?

От сгоревшей зари осталось небольшое светлое пятно.

— Тебе Генка Калинин пишет? — Она держала руки на коленях и слегка шевелила пальцами. — Слышно, он матросом стал.

— Да, на сейнере. А что?

— Так. Из вашего класса один ты остался в поселке. Все разъехались. Да и тебе, наверное, в армию скоро.

— Не знаю... Возможно, и не возьмут.

— Кто знает. Хорошо бы...

Время шло незаметно. Ирина держалась сдержанно; когда он невзначай коснулся ее плеча своим, отодвинулась.

Александр думал о том, что через несколько месяцев Ирина тоже окончит школу. И опять в нем проснулись сомнения. Правильно ли поступил он сам? Годы идут, жизнь идет. Возможно, Генка прав. Живут везде. Тут — в глуши, там — в больших шумных городах.

Он вспомнил мать, Васильева, Ивана Шамотько, Головина. Где-то вершились большие дела, а здесь потихоньку заготовляли лес. И все.

Помолчав, он спросил Ирину, не думает ли она учиться дальше. И вдруг увидел ее глаза. Слегка подсвеченные луной, они были очень хороши.

— Нет, я никуда не поеду, — тихо сказала девушка, и в будничных, простых словах прозвучало для него чуть ли не откровение.

— Почему? — спросил он, завороженно глядя на девушку.

Она промолчала, но глаз не отвела, и оба смутились.

Была ночь. Застывший, облитый лунным молоком поселок. Два человека чувствовали, как неожиданно пришло отчуждение.

Ни она, ни он не понимали, в чем оно заключается. В ожидании или в недостаточной близости, но оба чувствовали, что это, третье, пока не отодвинуть.

Пахло дымом: запоздавшие хозяйки готовили ужин и громко, иногда через улицу, переговаривались.

— Мальчишкой я часто рвал штаны, — сказал Александр. — Здорово доставалось от матери.

— Интересно, — отозвалась Ирина. — К чему вот только?

— Не знаю. Просто сейчас мне в таких случаях не попадает.

— Наверное, стоило.

— А мне жалко. Иногда хочется вернуться в детство. Ведь и тогда были приливы, отливы, и люди рождались. Только я не думал об этом. Ты, например, думала о любви?

— О любви? — настороженно переспросила Ирина.

— О ней. Я часто думаю.

— Любовь — это жизнь, — уверенно сказала Ирина.

— Не знаю. И трава живет, и рыба.

— Взбалмошный ты, Сашка. Иногда я тебя совсем не понимаю.

— Почему?

— В бензине, грязный — ты понятнее... и больше нравишься. Как-то уравновешивает все скрытое в тебе — чувствуется ведь. Помнишь, как ты хвастался мне первой получкой? У тебя такие глаза были... Я чуть не рассмеялась.

— Помню. Семьсот сорок три рубля. Теперь я зарабатываю до двух тысяч. А все равно жаль детства. Бывало, мать принесет конфет, подушечки, — такая радость! Скажи, Ирка, почему человеку всегда чего-нибудь не хватает? Что ему нужно... понимаешь, чтобы он совсем был доволен.

— Как раз этого ему, наверное, и не надо, — ответила она.

Александр подумал, поправил сползавший с плеча пиджак.

— Ишь ты... Молодец, тебе палец в рот не клади. Знаешь, давай сходим в клуб.

— Я не пойду.

Он помолчал и встал.

— Как хочешь. А я пройдусь, я сегодня отоспался. Пойдем?

— Я же сказала... Иди, сегодня танцы. Отчего бы тебе не сходить? В самый раз — все в сборе.

— Опять намеки?

— Что ты... Разве я имею право? Просто мне некогда, стирки много набралось.

— Ладно. Спокойной ночи, Ирина.

— Спокойной ночи.

Они разошлись, не решившись подать друг другу руки, и оба не понимали — почему.

11

Александр возвращался домой ближе к полночи. Задумчиво насвистывал немудрящую песенку.

Было свежо. По сторонам темнели спящие дома. Широкие ветровые полосы перечеркнули небо. «К погоде», — подумал юноша и остановился. Впереди на дороге что-то темнело. Он подошел ближе и различил сидящего человека. Александр узнал Васильева, хорошее настроение словно ветром сдуло. Он присел на корточки.

— Павлыч, ты?

В ответ хриплый смешок, в горячечном дыхании — водочный перегар.

— Я, Сашка, я. Видишь, шел домой и присел на минутку отдохнуть. Ты иди себе, иди.

— Хватит, Павлыч, вставай. Пойдем домой.

— Э-э, постой. Ты что — не один? Кто это с тобой?

Васильев тяжело ворочал головой. Нудно пели комары у самого уха. Александр отмахнулся.

— Никого со мной нет, вставай. Давай помогу. Спать пора — завтра на работу тебе.

— К черту, всего не переделаешь. Я больше не работаю, все. — Васильев сгреб с дороги пыль. — Вот, посыплю пеплом главу.

Александр оттолкнул его руку.

— Вставай, хватит. Я тебя домой отведу.

— Домой?

— Да.

— Нет, ты постой. А ты знаешь, где мой дом, Сашка?

— Вон стоит. Рядом. И налакался же ты...

Васильев опять засмеялся. Александр насторожился.

— Ты что, притворяешься, старик?

— Упаси бог, сроду не притворялся. Ты сказал — вон дом, рядом.

— Ну а где же он?

— Нигде, Сашка. Нет у меня дома. Это только куча бревен.

— Ладно, хватит чудить. — Александр подхватил его под мышки и поставил на ноги.

Брехали собаки. Где-то пропел ранний петух, и ему отозвались другие, по всему поселку, разноголосо и бойко.

— Ишь, стервецы, — пробормотал Васильев, навали-

ваясь на плечо Аелксандра. — Радуются. А потом их — во щи или в студень. Ты пробовал куриный студень?

— Конечно, вкусная штука.

— Чего?

— Спать, говорю пора.

— Если свиней не есть, брат, они так расплодятся, что сожрут всех людей. Ты думаешь, я пьян?

— Ничего я не думаю.

— Смотри.

Он оттолкнул от себя Александра, покачнулся и остался стоять тяжело, точно пробуя крепость земли.

— Видишь?

— Не слепой.

— То-то... А теперь ступай спать.

Он пошел к своему дому не оглядываясь. Александр догнал его.

— Подожди, Павлыч, дай закурить.

Не останавливаясь, Васильев поискал по карманам и коротко бросил:

— Дома должны быть. Слушай, а почему директор стал к вам захаживать частенько?

Он остановился, взял Александра за борт пиджака, и юноша увидел тусклые белки его глаз.

— Нет, ты скажи, у других все получается, а у меня как нарочно. Все шиворот-навыворот... вперекос...

Юноша почувствовал, что это говорит не пьяный.

— О чем ты? — осторожно спросил он.

— Пошли. Я дам тебе папирос, я больше не курю, росил.

12

Скрипнула калитка. По доскам, проложенным от катки до крыльца, резко прозвучали шаги.

В комнате всюду окурки и книги. На столе и под стом бутылки. С плитки им навстречу спрыгнула большая рыжая кошка и стала тереться о ноги Васильева. Он наклонился и поднял ее на руки.

— Мой дом — моя крепость.

Васильев прошел к столу и сел. Александр заметил что он много бледнее обычного. «Нет, он все же пьян, — подумал юноша. — И сильно...»

Они виделись днем и на ходу перекинулись приветст-

вием. Васильев был весел — его звену попалась хорошая деляна. Прошло немного, но какая перемена...

Юноша перешел к столу, закурил. Васильев сидел к нему спиной — широкий, лохматый затылок.

— Надо бросить спирт, старик.

Васильев смахнул с колен кошку — она мягко шлепнулась на все четыре ноги и пошла к порогу, обиженно вздрагивая хвостом. В комнате было душно. Александр только сейчас это заметил. Он встал и открыл окно. В комнату пахнуло свежестью.

— Сашка, — позвал Васильев. — Мне что-то плохо. Сердце... Пожалуй, я лягу.

Он с трудом приподнялся, дошел до кровати и лег, почти упал на нее. В груди похрипывало — зря он пил сегодня. Ослаб он, износился... Был такой день. Чего они лезут? Опять разговор с Головиным. Человек, долг, работа. А в чем его долг? Только ли в работе? Может, именно это его разбередило? Головин — неплохой парень, допытывается, копается. А зачем? Он никому не жалуется, живет, работает, ну и оставили бы в покое.

И ушел от него неожиданно, оборвав на полуслове. Понял, что, продолжая разговор, не удержится, взорвется.

Александр снял с него сапоги — Васильев, кажется, этого не заметил. Только сильнее вжался в подушку. Немногие о нем заботились вот так, без громких слов, бережно, не требуя взамен ничего.

— Воды принести? — спросил юноша, и он отрицательно покачал головой.

Александр придвинул стул к кровати.

— Я сюда поставлю. Захочешь...

— Нет... Садись.

Не слова — камни. Сквозь стиснутые зубы. Удержать бы этот закипавший поток. Сашка? Что — Сашка? Потолок, стены. Под потолком — ком огня. Огонь в теле, в животе, в ногах. Жжет. Втянуть бы в себя побольше воздуха, морозного, чистого, и уснуть. Провалиться в покой.

Он едва переводил дыхание. Выпитый спирт? Ерунда, другое здесь.

Тело больше не подчинялось. Он уже понимал, что на этот раз не выдержит, и обрадовался этой мысли, почувствовал облегчение.

Вот оно. Пусть другие думают, что угодно. Только не Сашка. Хоть один человек должен знать правду. Этот

рательно отутюженные брюки. И Васильев навсегда запомнил его длинноногую нескладную фигуру, по-мальчишески тонкую загорелую шею и копну русых волос. Девушка несла стопку книг, она часто вскидывала голову и весело смеялась. Чтобы удержаться, не выдать себя, Васильев в кровь искусал губы.

— Понимаешь, гляжу вслед и ничего не вижу, словно туманом застелило. Эге, думаю... А впрочем, что говорить, какие там думы... Добрался до вокзала, купил билет до Москвы, сел. Какое-то тупое успокоение навалилось, и все равно — куда и зачем ехать. Лег на полку, подложил под голову ватник. Почти двое суток не спал до этого — снился лагерь. Долблю яму, мерзлота в рост. Охранник надо мной, и будто тот самый майор Порошин. Подгоняет, а у меня от лома ладони в крови, задыхаюсь. А он сидит, курит, глаза холодные, злые. Слышу, спрашивает:

«Ну, как, Васильев? Нашел правду?»

«Нашел, — говорю, — гражданин Порошин. Вот она, родимая!»

Не ожидал он, что достану ломом, только хряснула голова гнилой тыквой. Ударил и проснулся. Голоса, смех — поезд стоял. За окном бабы яйцами торговали, черешней. Взял я свой ватник и вышел из вагона. Вдохнул ветерок, на солнце прищурился, присел на лавочку. А поезд пошел. Гляжу вслед — подняться сил не хватает. Куда, думаю? Куда?

Васильев вернулся в Киев еще раз. Провел у Днепра две ночи и наконец решился. Выбрал время, когда жена на рынок отправилась, пошел следом.

Александр представил себе эту картину, заскрипел стулом.

Васильев догнал жену. Она была в легкой цветной накидке, слегка располнела.

Узкий тротуар, множество людей. Древний Киев — они шли по старой, мощенной булыжником улице, сохранившейся от войны.

— Здравствуй, Анна, — тихо сказал Васильев.

Она удивленно оглянулась.

— Не узнаешь?

Она медленно качнула головой. Те же глаза — вросшие в память за годы войны и тюрьмы. Те же губы —

небрежно, слегка косо подкрашенные. «Да вспомни же! Вспомни!» — беззвучно просил Васильев. Он видел, как меняется у нее лицо. Безразличие, удивление, затем страх, растерянность.

— Иван, — прошептала она едва слышно, отодвигаясь неловким деревянным движением.

— Ваня, — повторила она чуть громче, обессиленно привалилась спиной к кирпичной кладке дома.

Александр вскочил. Хотел остановить. Но Васильев и без этого замолчал. Александр оглянулся и замер. В первый раз он почувствовал, что этот человек, мужчина, седой, знакомый, становится страшным. Оплывшее лицо, вспухшие глаза, крупные прокуренные зубы.

Александр медленно отошел к окну, приподнял марлю и, пригнувшись, подставил голову ветру. Ничто не заставило бы сейчас юношу оглянуться.

— Она поверила, Сашка, всему, что ей сообщили.

Опять молчание, и опять ночь, новый порыв ветра выгнул марлю на окне мутным ослепшим парусом.

Издалека, словно из-под земли, донеслось конское ржание.

Васильев, как автомат, вытолкнул:

— Главного инженера откуда-то несет, его конь. По голосу узнаю. Слышишь, конюшню чует. Скотина бессловесная тоже привыкает к дому.

16

Впервые за вечер Васильев поднял глаза. Встал и, шлепая босыми ногами, прошел к шкафчику. Достал стакан и бутылку.

— Не надо, Павлыч, — попросил Александр.

— Почему? Брось, не жалей.

Теперь они стояли друг против друга. Васильев помедлил и стал наливать.

— Слушай, старина, ты не смеешь этого делать. Э...

— Брось. Все теперь. А...

Васильев запрокинул голову, и Александр видел, к... двигается его кадык.

— Хорошо... Выпьешь? А впрочем, черт с тоб...

Он поставил на стол бутылку, поставил стакан... губы. Повернулся к Александру. Тот глядел на...

— О чем думаешь? — спросил Васильев и, не дожи...

ясь ответа, лег. Скрипнули пружины кровати. — Пора спать, Сашка, иди.

Васильев старался говорить спокойно, но это плохо удавалось. Александр не двигался с места.

— Иди. Я спать буду. Вот еще немного глотну...

— Знаешь, Павлыч, брось.

— Почему?

— Я не позволю тебе заниматься самоубийством. Не дам, старик, нельзя тебе.

Васильев видел, как Александр выбросил бутылку в окно. Он хотел остановить его, но тело словно прикипело к кровати, налилось немыслимой тяжестью, жидким свинцом. Странно горели ноги.

— Мерзавец ты, Сашка! Один глоток...

От звука его голоса Александр крупно, как звереныш, оскалился:

— Ты что задумал? Я только сейчас понял, что ты задумал. Сжечь себя — и готово? А мне как? Жить, я спрашиваю, как?

Два взгляда. Две воли.

Васильев неловко запрокинул голову.

— А зачем—жить?—он длинно, нескладно выругался.

Чувствуя растущую после напряжения слабость, Александр потянулся за папиросами и краем глаза заметил растянутые в улыбке губы Васильева, странно побелевшие глаза, услышал медленный шепот:

— Поздно, Сашка. Я сегодня выпил почти полтора литра, чистого...

Васильев оборвал на полуслове, коротко и жадно вздохнул. Поднялась и опала грудь. Александр видел: смыкались, быстро чернели губы Васильева.

Он рванул на нем ворот рубахи, беспомощно оглянулся. Он знал, что значили эти угольные пятна, и выскочил на улицу, как ошалелый. Шевельнулась и бессильно свесилась с кровати рука Васильева.

17

Головина разбудил шум. Чуть светало в комнате. Кто-то забарабанил в дверь дома на противоположной стороне улицы с такой силой, что разносилось по всему поселку. Головин торопливо оделся: напротив жил главный врач больницы.

Головин вышел на крыльцо. Было тихо. От докторского дома наискосок через улицу бежали двое: высокий и чуть пониже, толстый.

18

Кто бывал в тайге в бурю, тот знает, какое множество деревьев гибнет в это время. Вывороченные с корнями, грузно падают столетние лиственницы, уродуя тонкоствольную молодь. Как спички, обламываются вершины берез и осин.

Но больше всего в бурю страдают слабые, больные деревья. Одно не выдержало натиска ветра: в его теле короед проложил тысячи туннелей. Другое рухнуло, подточенное гнилью, у той вон лиственницы, оказывается, подгнили корни. Буря лишь завершила работу, начатую другими силами. Но бывает, что падает и здоровое дерево. Бывает. Особенно часто это случается, если здоровое дерево пр... няло на себя слишком большой напор бури, не такой, ... остальные, если оно оказывается сшибленным другим, п... гнившим лесным великаном.

И чаще всего гибнет здоровое дерево на отшибе, л... шенное поддержки и защиты товарищей, а иногда даже ... самой гуще, но значительно возвышающееся над ними ... поэтому все равно одинокое.

Но там, где тайга густа, где стоит она плотной, соглас... ной массой, буре нелегко сломить даже слабое, поражен... ное болезнью дерево. Поддерживаемое другими, оно про... должает стоять. А со временем может победить болезнь, окрепнуть и зацвести. И принести плоды. Ведь болезни в большинстве своем все-таки излечимы.

19

— Готово. Сели. — Александр взглянул на Галин... ку. — Ну кто в такую погоду лес возит...

Галинка передернула плечами, засме...сь и, откровенно поддразнивая, шевельнула бровями.

Стекла кабины сек мелкий спорый дождь. Два дня назад началось внезапное потепление, восточный ветер принес дожди — и вот результат.

Глядя на юношу, Галинка весело щурилась. Ей нравился Александр. Она была старше всего на пять лет, была

вызывающе красива, и его равнодушие злило ее. Поначалу он действительно не замечал зеленоглазую, озорную, тонкую в кости приемщицу. Другим были заняты мысли.

Прошлое Васильева открылось случайно: обнаженная беспощадность жизни потрясла, заставила думать больше, чем прежде. Если Васильев считал свою бывшую жену невиноватой, Александр был другого мнения. Ведь последний удар, после которого Васильев уже не мог оправиться, нанесла все-таки женщина.

В отношениях с Ириной Александр становился все сдержаннее. Здесь, впрочем, была и другая причина, в которой ему не хотелось признаться даже самому себе. То, что с ним сейчас происходило, отнимало право относиться по-прежнему.

Оказавшись наедине с Галинкой под дождем посредине дороги, он не знал, как себя вести. Искоса наблюдая за ним, молодая приемщица едва сдерживала смех.

— И чего, спрашивается? — бросил он в сердцах. — Чему радуешься?

— А чего грустить? Парень такой рядом...

Пряча улыбку, он выскочил из кабины, попробовал подложить под колеса ветки. Напрасно. Тяжело груженная машина оседала все глубже, и, вконец измучившись, он выключил мотор. Сразу стал слышен настойчивый шум дождя, низкий монотонный гул осенней тайги. Они молчали. Полуприкрыв глаза густыми ресницами, Галинка придвинулась ближе к Александру, и тот почувствовал, как горячеет плечо.

Он повернул к ней голову.

— Что?

— Ничего.

— А все же?

— Как тебе сказать...

— Слушай, — спросил юноша. — Зачем ты меня всегда др[illegible]ь?

Она молчала, лишь чуть-чуть приоткрыла губы.

— Перестань,— попросил он тихо, чувствуя нелепость своей просьбы и внутренне закипая. Галинка по-прежнему смотрела на него, смотрела не отрываясь. Под глазами тени. Черная прядь волос выбилась из-под небрежно повязанного платка.

— Ведьма, — сказал он хрипло, внезапным резким

движением схватил за плечи и прижался к ее губам. — Ведьма, — повторил он, отрываясь.

Вторично его заставило оторваться от ее губ тихое покашливание. Они вздрогнули, подняли головы. В двух шагах от них стоял Раскладушкин. Короткий плащ, громадный капюшон и печальное смирение в глазах. Александр не выдержал и рассмеялся. Раскладушкин исчез так же молча, как и появился. В мутной сетке дождя долго маячила одинокая фигура.

Поправляя платок, Галинка сердито перевела дыхание:

— Поднесло лешего. Теперь раззвонит по всему поселку.

— А тебе что? Боишься?

— А ты как считал? Не замуж ведь идти за тебя, за младенца безгрешного. Впрочем, сколько ты зарабатываешь? Я одеваться хорошо люблю. Когда, если не сейчас, помодничать?

Она шутила, но Александр обиделся. Отодвинувшись в угол, достал папиросы, закурил. Галинка тотчас уловила перемену в настроении и тихонько позвала:

— Брось, Сашка. На меня не надо сердиться. Ладно?

Он повернул голову и увидел ее глаза. По кабине барабанил дождь. Осень шла по мокрой рыжей тайге. А глаза смотрели так, словно их освещало солнце.

Встряхиваясь, Александр торопливо нажал на стартер. Заработал мотор. После двух рывков машина неожиданно легко тронулась с места, и только на берегу, становясь под разгрузку, Александр снова посмотрел на Галинку. Глаза ее по-прежнему смеялись.

— Знаешь, Сашка, — внезапно придвинулась к нему совсем близко, — знаешь, в субботу я одна дома буду. Мать в гости уходит.

Выпрыгнула из кабины под дождь и ушла, не оглядываясь.

20

Потепление вернуло на время лето. Дожди кончились. Теплые и погожие приходили вечера. По утрам похрустывал ледок, а в полдень было жарко. Васильев лежал в больнице, и все решили: спился мужик окончательно. В больнице нашли состояние Васильева крайне серьезным: общий токсикоз, поражение центральной нервной системы

грозили тяжелыми психическими последствиями и полной неподвижностью. Васильев оставался глух ко всему. Ни увещевания Ивана Никифоровича, ни даже кислород подкожно не смогли вывести его из состояния прострации. Васильев молчал. За сутки не произносил больше трех—четырех слов. К пище почти не притрагивался, на соседей, пытавшихся завести разговор, не обращал внимания. Словно их и не было. Приходил Александр, приносил папиросы, книги. Папиросы выкуривались, книги оставались нераскрытыми. Александра пугало безразличное, остановившееся выражение глаз Васильева. Ему казалось, что Васильев сердится на него, но это было не так. Васильев просто не замечал Александра. В нем происходила суровая затяжная схватка, невидимая посторонним. Смерть спорила с жизнью. И спор этот не прекращался даже во сне. Соседи по палате не раз просыпались ночами от его вскриков. Во сне он часто говорил, что ему душно. Просил убрать будто бы наваленные на него камни. Его будили, он молча переворачивался на другой бок, затихал. Как-то ему предложили спирту: он взглянул на Ивана Никифоровича, и его губы тронула усмешка.

— Спасибо, доктор. Не хочу.

Сказал и забыл. Жить? Если да, то ради чего? Так, как было до сих пор, продолжаться не может. Ценность жизни — величина относительная. Чего стоит жизнь в атаке? Перед танком, плюющим смертью? В постели, с женщиной?

Васильев думал. Тяжело. Молча. В путанице мыслей сгорали дни, таяли ночи.

Тщетно пытался Александр расшевелить Васильева, напрасно рассказывал поселковые новости. В конце концов дело кончалось тем, что он вставал, бросал короткое «спокойного сна» и уходил. В другое время все это могло бы подействовать на него болезненно, удручающе. Но сейчас юноше просто не хватало времени. Он похудел за последние дни. Неизвестно зачем, он хотел все успеть, во всем быть первым и считал абсолютно необходимым вывозить леса больше других; ему нравилось, когда в недельном итоге он оказывался впереди Шамотько. Это давало возможность позубоскалить, отплатить сторицею за соленые шутки, но уже наутро он забывал о своем торжестве.

Ему нравился сам процесс работы. В работе ему открывалась сложность человеческих отношений, взаимосвязь

миллионов людей. Ему хотелось все знать, он рылся в книгах, перелистывал подшивки газет. Десятки, сотни, тысячи людей. Их имена мелькали в статьях, в очерках, в афишах и книгах. Он встречал людей ежедневно на улицах поселка, сталкивался с ними везде.

Я вижу мужчин и женщин повсюду,
Я вижу светлое братство мыслителей,
Я вижу творческий дух человечества,
Вижу плоды упорства и трудолюбия рода людского,
Я вижу все звания, все цвета кожи, варварство и
цивилизацию —
Я иду к ним, никого не чуждаясь,
Я приветствую всех, кто живет на земле.

Строки Уитмена звучали в нем часто, он не понимал, почему.

Он уходил к товарищам. Среди них все становилось обычным. Слушая их разговоры, присматриваясь к ним, Александр подшучивал над собой. Так ли все сложно? А может, вся эта сумятица по другой причине?

В первую октябрьскую субботу он пришел в больницу под вечер. В палате было тихо, чисто, пахло краской. Двое больных играли в домино. Васильев, как всегда, лежал лицом к стене. Александр вошел в халате выше колен, предложил партию в шахматы — единственное, чем еще можно было заинтересовать Васильева. Но играл на этот раз Александр так плохо, что тот удивился. После очередн[illegible] нелепого хода юноши он поднял глаза. Задумавшис[illegible] Александр глядел в окно, на задернутые предвечерним[illegible] тенями склоны далеких сопок.

«Вечная история, — подумал Васильев. — Приходи[illegible] время, и человек влюбляется».

Вслух же спросил:

— Ну, что ты там? Играть так играть, а что ж[illegible] такое... И потом, что ты, говорят, вытворяешь на м[illegible]

— Уже не вытворяю, Павлыч. Пересадили на [illegible] медленную технику. КТ-12.

— Поделом. А за что?

— Так... Я и сам не против. Газген старый, поднажал маленько, у него и отскочил передок. Почкин чуть не съел. А разобрались — ничуь я не виноват. Все изношено, хоть на свалку. Ничего, КТ — машина сильная. Поработаю.

Александр передвинул пешку.

— Понимаешь, нравится мне быстрота. Жмешь, в у[illegible]

ветер, музыка, и кажется, начинаешь понимать собственный век. Век атома, чудовищных скоростей. А страха никакого. Представь: пугают, пугают, а мне не страшно. Ерунда, не посмеют.

— Тебя спросят, — авторитетно прервал сосед Васильева по палате, страдавший почками. — Так еще тарарахнут, что только пыль полетит. Тебя много спрашивали, когда пересаживали на трактор?

— Ну уж, — бросил Александр, не любивший маленького истеричного завхоза. — Что с вами спорить. Пролежите лишнюю неделю от расстройства — опять профсоюзу убыток.

Отворачиваясь к стене, завхоз буркнул:

— Подожди, еще насмеешься. Вот женишься, — узнаешь, почем лихо.

Было сказано всерьез, со знанием дела. В палате заулыбались.

Разгладила улыбка суровые складки у губ Васильева. Один из игравших в домино кивнул в сторону Александра:

— С Галинкой-приемщицей не пошуткуешь.

Краснея, Александр еще раз обругал завхоза, смешал фигуры на доске и вышел.

21

В девятнадцать лет — волчий аппетит, непробудный сон, жадное тело, ищущая душа. И весна во весь год. Ребенок за год узнает больше, чем взрослый за двадцать, юноша в один неповторимый день делает «роковой» шаг и становится мужем. Не пытайтесь остановить его.

Была суббота.

«Знаешь, в субботу я одна буду...»

Александр шел по улице, изо всех сил стараясь не думать о Галинке.

Стемнело. В поселке зажглись огни. Он остановился возле ярко освещенного здания школы. Кончались занятия. Раздался звонок, и минуты через две из дверей стали выходить школьники.

Глубоко спрятав руки в карманах, Ирина медленно сошла с крыльца.

— Здравствуй, — сказал он и пошел рядом, приноравливаясь к ее шагам. — Почему молчишь? — спросил он с легкой обидой. — Что, не слышала?

Ирина продолжала идти молча. Юноша удивился: ведь только вчера она была с ним приветлива и охотно разговаривала.

Девушка внезапно остановилась и резко вскинула голову. В электрическом свете диковато сверкнули глаза. Ирина сердилась. «Что, в самом деле, за настроение, сегодня», — подумал Александр и вздохнул.

— Ты за мной не ходи, — отчетливо и враждебно сказала Ирина. — Иди, пожалуйста, к своей Галинке.

Она повернулась и пошла к дому. Он догнал ее, протянул руку:

— Давай сумку, помогу донести.

— Брось, Сашка, нашел дурочку. В другой раз посмеешься.

— Ирина!

Девушка уходила. «Ну и ладно, — подумал он с внезапной обидой. — Подумаешь!»

Он долго стоял посредине улицы, прислушивался. Ирина хлопнула калиткой.

И вдруг Александр понял: он всю неделю ждал субботы. Он ждал ее с нетерпением, хотя боялся признаться самому себе.

Он запрокинул голову: в небе дрожали звезды, пересекались бесконечные и стремительные пути вселенной.

«Воешь! — отчетливо прозвучал в юноше чужой незнакомый голос. — Наплевать тебе сейчас на вселенную. Иди...»

— И пойду, — сказал Александр вслух, отошел в сторонку и сел на выкорчеванный пень. Провел по лицу ладонью, [illegible] решительно засмеялся, встал.

[illegible] прохладная ночь стыла над землей.

Он сам не помнил, как очутился у домика Галинки. Подошел к двери и взялся за ручку.

Галинка шила. Медленно поднялась ему навстречу с раскроенной блузкой в руках, откусила нитку.

— Здравствуй, — сказал он, прислонясь плечом к дверному косяку.

Он боялся насмешки и с вызовом бросил:

— Сегодня суббота.

Он готов был повернуться и выбежать. Галинка почувствовала его состояние. Отложила блузку, не сводя с Александра глаз, опустилась на стул.

— Проходи.

Он стоял как приклеенный и только после вторичного приглашения с трудом оторвался от косяка и подошел к столу. Она подвинула ему табуретку, он в ответ улыбнулся, чувствуя дрожь в коленях.

— Нет, не могу, — сказал он тихо, поставил табуретку на место и впервые взглянул Галинке в глаза.

— Смеешься?

Она глядела ободряюще.

— Не могу, — повторил он шепотом, и лицо Галинки залил румянец.

— Я дверь закрою, — тихо отозвалась она, поднимаясь.

— Зачем?

Вопрос был глуп, и он сам это понял. Не отвечая, Галинка прошла мимо, обдав его ветром и неуловимым горьковатым запахом одежды.

— Галинка...

— Что?

Она глядела на него серьезно. Приоткрытые юношеские губы. Пробивались темные усы. Она увидела, что он весь дрожит. В следующее мгновение он целовал ее. Она с трудом высвободилась.

— Погоди... Сумасшедший... Я свет погашу, ты раздевайся.

— Совсем?

Она засмеялась и щелкнула выключателем. Отдернула занавески на окнах: звездный сумрак хлынул в комнату. Он со злостью рвал с себя заевший ремень, путался в брюках, и когда наконец освободился, Галинка лежала в кровати, укрывшись до подбородка. Не смущаясь, наоборот, он подошел к ней, откинул простыню, лег. Нашел ее губы и замер.

— Что же ты? — спросила Галинка, дыша ему в лицо неровно и жарко. — А-а... Господи, и я-то... дурочка...

Она тихонько засмеялась, подсунула ему руку под голову. Он увидел ее глаза.

Прошла минута. Ему показалось, что он теряет сознание и проваливается. Он падал долго, долго, и тело исчезло, и все исчезло, и остались только руки Галинки и ее теплое частое дыхание.

— Что это было? — спросил он, с трудом приходя в себя. Галинка поцеловала его в губы.

— Ты становишься мужчиной, Сашка, ну какой же ты

смешной... Да не смотри ты так, господи, глаза-то, что у волка, горят.

22

Приглядываясь на другой день к Александру, Шамотько в конце концов не выдержал.

— Что ты сегодня, будто Христос, светленький? Думаешь, в трактористах лучше будет? Одна бисова душа — бензин да грязь. Туточки, по крайней мере, хоть быстрота, а там — тьфу! И чего тебе вздумалось соглашаться? Шоферскому делу изменил да еще зубы скалишь! Обиделся... Велика беда, покричали на него. Ты граф или князь? Или не виноват совсем в аварии?

Александр копался в моторе и молчал. Ему стоило большого труда не выпрямиться и не крикнуть в ответ: «Шамотько! Ты болван! Ты никогда ничего не узнаешь!»

Дышалось непривычно легко, несмотря на низкие тучи и тяжелую осеннюю грязь.

23

Она пришла незаметно — осень.

Купались в дождях короткие дни. Исчез комар. Уже кончался осенний ход кеты. У рыбацких избушек мокли тяжелые жерди с юколой. Дымили коптильни. Тайга жила своей жизнью. В ее глухомани теперь не каждый день заглядывало торопливое низкое солнце — там вершились свои, вековые тайны. На дремучих озерах откармливались перед отлетом хлопотливые стаи уток всевозможных пород, сторожких гусей и лебедей. Тут же бесшумно, стараясь не замочить лап, кружили хитрые лисы, и по [illegible] иногда в прибрежных поблекших зарослях разыгрыв[illegible] короткие трагедии. Раздавалось хлопанье крыльев [illegible] Тысячи птиц с шелестом отплывали от берегов — [illegible] ные ночи они казались издали крупной рябью.

Скоро они снимутся по неслышному зову, вз[illegible] небо. Их ждут вишни Японии, лотосы Южного [illegible] пальмы Вьетнама. Они пролетят над границами и по[illegible] ми, они будут свято блюсти раз и навсегда установ[illegible] пути. И люди будут прислушиваться к ним, с непо[illegible] грустью провожать их глазами. Неосознанные и тр[illegible]

ные, в их крови тоже проснутся, прозвучат голоса давно ушедших поколений. И живые забудут на время о своих делах. Многим захочется уединения, многих потянет в хмурые просторы тайги.

На одной из Веселых проток старый большой медведь ловил отметавшую икру, плывущую сверху, обессилевшую кету. Он уже подготовил себе берлогу, но люди спугнули, растревожили его. Шевеля мокрыми бурыми боками, медведь сидел у самой воды, на небольшом каменистом выступе, по-собачьи угнув круглую голову. Медведь замечал рыбу издали. Она плыла почти на поверхности, выставив обтрепанные, нешевелящиеся плавники. Или совсем боком. Выполнив свое дело, засеяв подводные отмели новой жизнью, кета умирала. Над протокой высокой грядой возвышалась глухая тайга.

Медведь неуклюже сползал с выступа, поднимался на задние лапы, входил в воду. Когда он, широко раскрывая пасть, хватал рыбу, взлетали тучи холодных брызг, вода мутилась. Медведь недовольно фыркал, нес добычу к берегу. Здесь он бросал ее в общую кучу в небольшой расщелине. Если рыба была жива и шевелилась, медведь некоторое время наблюдал за нею, тихонько рычал — в это время он напоминал ребенка. Затем он возвращался к берегу, на выступ и начинал вылизывать светловатое широкое брюхо. Он вел себя спокойно, по-хозяйски — люди сюда почти не забредали, здесь на десятки километров плутали бесчисленные протоки Игрень-реки. И только геологи да редкие охотники разжигали здесь костры и, взбираясь на высокие береговые кручи, любовались дикой, первозданной красотой.

— Эх, здорово как, что ты меня из дому вытянул, — прошептал Александр Васильеву, не отрывая глаз от медведя, тащившего к берегу очередную рыбину. — Только я не пойму, на черта ему столько рыбы на зиму. Все равно ведь не сожрет.

— Инстинкт, Саша. Старый бродяга... знает, верно, почем фунт лиха.

Они вышли из поселка накануне перед вечером, ночевали в тайге. Такие охотничьи вылазки им приходилось совершать и раньше, но эта была для Александра неожиданной. Он забежал к Васильеву после работы — тот ут-

ром выписался из больницы. Взглянув на него, Васильев продолжал укладывать рюкзак. Тут же у стола стояло ружье, лежал набитый патронташ. Они никогда не возвращались к событиям той ночи, когда Васильев рассказал Александру о своей жизни. Это был негласный, молчаливый уговор.

— Далеко? — спросил Александр, наблюдая за сборами Васильева.

— Хочу на Веселые протоки прогуляться. Года два уже не был. Три дня сидеть на больничном — засобираешься.

— Так ты что, подлечиться там думаешь? Скучно одному будет.

— Ничего, я привык.

— А меня возьмешь?

Васильев покосился через плечо, показал выбритую щеку.

— Я в самом деле мигом соберусь, — заторопился Александр, не ожидая, пока Васильев что-нибудь спросит. — Завтра выходной, потом у меня один отгул, только к Назарову сбегаю. А мать пока приготовит. Не улыбайся, я серьезно. День еще у мастера выпрошу. А нет — успею, вернусь.

— Я не о том. Ты хоть разрешения спросил?

— У кого?

Александр приготовился разозлиться. Пять минут назад он и не думал ни о каких протоках. Он думал о вечере, о новой встрече с Галинкой. Он и спросил-то у Васильева так, из вежливости. Но теперь он знал, что пойдет обязательно. И самому захотелось побыть наедине с собой, подальше от вопрошающих глаз матери, от шуток товарищей. Да и перед стариком...

Не каждый день найдешь попутчика на Веселые протоки, о которых он так много слышал.

Васильев потом, конечно, ничего не скажет, но и с ним будет труднее, вон как смотрит. Все понимает, чего тут...

Васильев, исподтишка наблюдая за ним, спросил:

— Ну так как же?

— Иду. Иду, старик, назло тебе.

— И себе.

Александр оглянулся с порога. И после никак не мог понять, почему ему стало так весело при виде невозмутимой широкой спины Васильева.

24

Вторую ночь они провели под высоким каменистым обрывом, густо поросшим шиповником. Листья снизу уже опали, но кусты были густо покрыты красными крупными ягодами. Засветло Александр натаскал сушняку для костра, нарубил еловых лап. Перед вечером небо прояснилось. Жидкий осенний закат поджег сопки на западе. Оставив Васильева у костра жарить уток, Александр взобрался на самую крутизну. Придерживаясь за камень, похожий на гигантский зуб, взглянул вокруг. Стеснило дыхание. Он вдруг понял, почему Васильев пришел именно сюда, почему они все время разговаривают вполголоса. Когда-то, возможно, именно отсюда выплеснулась на землю жизнь, но потом время забыло об этой долине. Века, тысячелетия проносились где-то стороной, мимо, мимо, ничего не трогая здесь, не разрушая, не добавляя. Пощадило время, пощадила история и цивилизация.

— Веселые протоки, — прошептал юноша, поднимая руку к лицу. — Да это прямо какое-то детство...

Перед ним разгорался закат. Дружной толпой бугрились сопки, все выше и выше, самые дальние и высокие купали снежные вершины в холодном огне. Справа парили гейзеры, по всей долине, рассекая тайгу, плутали бесчисленные темные ленты проток. Краски вечера легли на долину. Серый цвет у подножий сопок светлел к вершинам, сменялся веселым ликованием огня. Парившие гейзеры казались затухавшими кострами. Чистое ветреное небо раздвигало горизонты — дикая, раздетая первобытность. Александр чувствовал себя лишним. Тишина, простор, необычные контрасты красок подавляли. Александр забыл о Васильеве. Краски менялись на глазах. Тайга темнела. Вершины сопок быстро угасали. Мягкий покой оседал на все вокруг, и тишина становилась все прозрачнее, Александр не выдержал.

— Па-авлыч! — закричал он, размахивая свободной рукой. — Павлыч! О-о! Где ты там?

Ему отвечало эхо. Многоголосое, оживленное: «Ам! Ам!» С ближней протоки взлетела стая уток. Затем донесся тревожный голос Васильева:

— Сейчас же спускайся, эй, альпинист! Черт тебя занес, голову смотри не сверни! Осторожней!

— Я тебя не вижу, старик! Где ты?

— Не балуй... Ребенок... За сто километров в тайге этим не шутят.

— Иду, Павлыч, иду!

По тайге прошумело: «У-у!»

Они поужинали. Крепкий чай припахивал дымом. Усталость была приятной. Александру не хотелось спать. Он лежал на ворохе еловых лап. Глядел в небо. Васильев курил. Пламя костра ласкало теплом. Разговаривать не хотелось — каждый думал о своем и по-своему. Наконец Александр вздохнул:

— Скажи, Павлыч, почему ночью больше всего думается?

— Гм... От безделья. Лежишь... А что еще делать? Темно. Ночью приходят мысли, которые днем не придут.

— Люблю ночь.

— В твои годы естественно. А вот я — нет.

Александр заворочался и сел. Обхватил колени руками. Пламя костра освещало почти отвесный каменный обрыв и обветренное задумчивое лицо юноши. Потрескивал костер, слышалось усиленное тишиной ночи журчание воды в ближней протоке. Ночь была темной и безлунной. В такие ночи на землю выходит зло. Оно представилось Александру чем-то безликим, бесформенным и вроде стелющегося по земле дыма.

Александр подумал вслух.

— Я тебя понимаю, — отозвался Васильев. — Много нехорошего пока и в самих людях. Не так надолго приходят они на землю: должны быть добрее друг к другу.

— Не о том я, Павлыч, не понял ты. Я о большом зл[illegible] О войнах. Читаешь газеты и видишь: ничему история н[illegible] научила идиотов вроде Шпейделя! Хорошо, у нас хват[illegible] выдержки. А так бы что? Вон в Америке готовятся, [illegible] падной Германии. Разве трудно понять, что этого не[illegible]

— Понять можно, сделать, Сашка, трудно. Ты мн[illegible] от них требуешь. Наша выдержка от силы, а там — [illegible] мир. У них и сила становится слабостью. И причин во[illegible] ще много. В семье из двух человек и то неполадки бы[illegible] ют. А здесь огромный мир, с его сложностями, борьб[illegible] страстями. Кому хочется быть слабее другого?

— По-твоему, так и останется навсегда?

— Не думаю. Придет время, и люди станут перед вы-

бором: разум и жизнь или война и всеобщее вырождение. Третьего не будет.

Александр зябко передернул плечами, замолчал. Наверное, в такой глухомани, рядом с веселым костром не понять жестокости и неразумности.

Он вздохнул и потер заслезившиеся от дыма глаза. Васильев глядел в костер и тихонько напевал.

— Ты думаешь о чем-нибудь, Павлыч?

— С этой долиной связана одна из лучших историй, которые я когда-либо слышал. Коряки рассказывают ее нараспев. Лет пять назад я ходил на сплав. У нас был там повар-коряк, безбородый, как высушенный корень, рассказывал по вечерам. Со всех бригад приходили слушать.

— Расскажи, — попросил Александр.

— Долгая история... Поздно, зарю проспим. Ты сегодня ахал весь день, а вот посмотришь, какие здесь зори. Давай спать.

Васильев стянул сапоги, придвинул к огню ноги. От насыревших портянок заструился парок.

— Я тебе потом расскажу. История об отце и сыне и об охотнице-девушке... Корячке. А сын с отцом русские, даже дворяне. Они поселились в этой долине в прошлом веке, после того как отец, молодой гвардейский офицер, застрелил свою жену и ее любовника — полковника. Сыну было всего два года, когда они здесь появились. Отец думал воспитать сына, чтобы тот и не подозревал о существовании женщины. Он объявил Веселые протоки своим владением, построил юрту, стал охотиться и торговать с американцами мехом и золотом. Завтра я покажу тебе это место. Коряк называл офицера «большим господином». К нему сами приходили соболя — он, очевидно, их прикармливал. А потом случилось то, что всегда случается в таких историях. Сын вырос, встретил девушку-охотницу и ушел вместе с ней. Отец проклял его и умер, а у девушки родился сын-богатырь... Он спасал людей от бед и врагов. [illegible], много чисто поэтического, народного вымысла — красивая история. Когда ее рассказывал коряк, я всегда чувствовал — край земли. Океан... Ну ладно, давай спать. Хватит. Подбрось немного в костер — вон ту корягу. Спи.

— Спокойной ночи. Ты думаешь, это правда?

— Думаю... Ты видел когда-нибудь нашего председателя облисполкома? Его фамилия — Голицын. Андрей

Павлович Голицын... Один из потомков... Ладно, Сашка, спи.

Но сон прошел. Александр взглянул на часы — перевалило за десять. Васильев ворочался. Где-то забеспокоилась, захлопала крыльями и хрипло вскрикнула утка.

— Соболь озорует, — отметил Васильев, прислушиваясь. — Мал, да кровожаден. Ты не спишь?

— Нет. Отцы и дети... Когда они перестают понимать друг друга, человечество перешагивает через новый рубеж.

— Где ты вычитал?

— Нигде.

— Значит, сам дошел. Ну, спи.

— А если не спится?

— Тогда разговаривай. Мне тоже не спится. Снег, что ли, думает пойти? Ноги ломит... И тишь какая... Всегда вот так действует.

В паузах было слышно веселое потрескивание костра. У Александра начали слипаться глаза. «Хорошо-то как, — подумал он уже в полудремоте. — Кажется, Павлыч о чем-то спросил?»

Он сонно приподнял голову.

— А?

— Я говорю, сам ты думаешь об отце?

— Об отце? Теперь — реже. Не знаю, что у них с матерью стряслось... Я отца из книг больше представляю. Ей, вижу, не хочется рассказывать. И знаешь, мне никогда не удается увидеть его реально... Ну вот как тебя, например. И давай спать, так мы до утра проговорим.

Он уснул, свернувшись и чему-то улыбаясь во сне. Васильев подбрасывал в костер, курил. Он не спал почти до рассвета. Глядел на улыбавшегося во сне Александра. Хорошо, что он не отговорил его пойти. Поколение сыновей без отцов. Во сне он был по-детски беспомощен. Ему достанется в жизни — он из тех, которым всегда достается. Такие не умеют ловчить, будет ходить в синяках и шишках.

Васильев подавил вздох. Шевельнулось в душе давно забытое чувство. Далекие, неясные тени. Детская кроватка, детское тельце, вздернутый носик. Пух на темечке.

«Папка! Папка!»

С замершим сердцем Васильев оглянулся. Молчала темная громада тайги. Сдерживая дыхание, Васильев придвинулся к Александру, поправил на нем теплую куртку

и потом долго не мог попасть концом потухшей цигарки в красноватый уголек.

В поселок они вернулись только на третий день, обвешанные связками уток, уставшие и довольные. Они купались в горячих озерах. Они исходили всю долину Веселых проток, заглядывали в бездонные темные расщелины, в их глубинах клубился теплый туман. Васильев чуть не подстрелил горного барана — красавца с мощными выгнутыми рогами, от удара которых искрит камень. Александр не заметил, когда именно глаза Васильева начали оттаивать.

Мать встретила Александра виноватой улыбкой.

— Второй день нездоровится, — простыла, видать. А так ничего... Назаров спрашивал.

Стаскивая набухшие, тяжелые сапоги, Александр покосился на приготовленный стол.

— А чего он спрашивал? Мне на работу только завтра с вечера. Почты не было?

— Газеты... Мишка заходил.

— Анищенко?

— Да. Комсомольское собрание сегодня у вас. Садись, остынет.

— Сейчас.

— Ешь. Я постелю тебе, пока поспи немного до собрания.

— Не надо. Эх, мам, какие мы видели места! Я расскажу потом — век не забудешь. Сказка... А что у тебя, борщ? Горчицы нет?

Она глядела на него, на то, как он ест. Про себя улыбалась и думала: ничего он не расскажет, забудет. А если и расскажет — не ей. Такова, очевидно, жизнь тут ничего не попишешь.

— На второе у меня оленина, — сказала она. — Хотела пельмени сделать, да больно мясо жесткое.

25

В клубе — собрание. В короткий перерыв Раскладушкин размахивает огромной цигаркой и активно наседает на Анищенко. Из цигарки летят искры — Раскладушкин в ударе. Он давно вышел из комсомольского возраста, по

крайней мере лет двадцать назад. Анищенко слушает его с иронией. В душе Раскладушкин — пророк. При случае он любит поговорить о сильных мира сего; по его мнению, все беды — от них. Они — страсть Раскладушкина. Он может ругать де Голля и Аденауэра долго и с наслаждением и выдумывает о них необычайные истории. Он их сочиняет тут же и верит себе. У него болезненный, странный ум, и его любят слушать, хотя никто не принимает его всерьез. Иногда он рассказывает вещи, от которых становится страшно. Иногда — смешно.

Сейчас он пытается втолковать Анищенко только что выдуманную историю о любовницах Аденауэра.

Анищенко слушал, молчал, и Раскладушкин рассказывал все новые и новые подробности.

— Ты вот не веришь, а я точно знаю. Каждый день меняет, он длинноногих любит. И худых — все немки, как скелеты, я за войну насмотрелся. Иногда ему привозят из Японии, а то из Африки. Это когда свои прискучат.

— Врешь ты, Мефодий. Аденауэру за восемьдесят.

— Так что тут?

— Ну как что! Каждый день, да еще из Японии...

— А ему такие уколы специальные делают, понятно? Съел? Лекарство такое, называется «женорятин» по-русски. В Америке делают.

Александр не выдержал и захохотал.

— Это еще что́! — Раскладушкин придвинулся к Анищенко и зашептал ему на ухо. Александр видел, как Мишка, слушавший вначале с вниманием, отвернулся и плюнул.

— Знаешь, Мефодий, поди к монаху. Гадость какая. У тебя определенно в котелке детальки одной не хватает. У нас Вовка Птицын — хороший токарь, ты попроси, выточит.

— Вы больно умны, — обиделся Раскладушкин. — Атомные бомбы да ракеты выдумали, а от рака дохнут везде. И не скажи — вмиг тебя заметут.

— Кому ты нужен? Живи, никто тебя не тронет.

— Спасибо за разрешение, — съязвил Раскладушкин.

— И чего бы тебе беспокоить..., — разозлился Анищенко. — В нашу глухомань никто ничего не бросит, жалко будет — она, эта штука, дорогая. А тебя, если что, не возьмут больше, другие пойдут.

— Вас-то мне и жалко.

— Не надо нас жалеть, Мефодий. Вот когда у нас не

будет штучек, что рядом с луной летают, тогда и пожалеешь. А пока любому по первое число вложим, пусть только задерется. Так что спи, Мефодий, спокойно, авось японская гейша приснится.

Раскладушкин сожалеюще посмотрел на Анищенко.

— Несчастное вы поколение. Так и сгинете, одна травка порастет.

— Пойдем, Мишка, хватит с нас прогнозов. Мы еще поживем, — сказал Александр.

Пересмеиваясь, они скрылись в дверях. Мефодий Раскладушкин безразлично покачал головой и отправился спать.

Но Раскладушкина в эту ночь вспомнил Анищенко, перевернулся на другой бок и вдруг выругался. Спать не хотелось. Он думал о ядерных взрывах в Сахаре, о радиоактивных дождях, обо всем, что когда-нибудь слышал или читал и мог припомнить.

Он засыпал и вновь просыпался. На соседних койках похрапывали товарищи, и под утро ему стало невмоготу. Он заснул. И ему снился город на берегу залива, атомный взрыв, подземные трубы, в которых задыхались люди, какие-то чудовища, и было тягостно. Он опять проснулся и больше не спал. Чтобы избавиться от впечатлений неприятного сна, он, едва стало рассветать, вскочил на койке и закричал:

— Люди, я люблю вас! Будьте бдительны!

На него уставились заспанные физиономии товарищей, и после недолгого изумленного молчания полетели подушки.

Анищенко в перерыве на работе рассказал ребятам о своем сне.

— А, ерунда, — решили ребята.

Один из прицепщиков высказался более определенно:

— Это у тебя от прилива крови. Правда, у нормальных она по ночам не туда ударяется, да с тебя какой спрос?

— Тебе бы только зубы скалить, Афоня, — сказал Александр. — Кончай, ребята, перерыв, пошли!

26

Встречаясь, Васильев точно невзначай говорил:

— Худеешь ты, парень.

— Не заедайся, Павлыч.

— Ишь, ощетинился. На рыбалку хочешь?

— Нет, некогда.

— Жалко. А я думал на зорьке побродить. Или у тебя другой улов: золотая рыбка, серебряный хвост?

У Александра начинали сжиматься губы — первый признак близившейся вспышки, и Васильев примирительно предлагал:

— Закурим?

Иногда у него были удивительно глубокие глаза, загляни — отшатнешься.

Разговор происходил в доме у Васильева. Они чувствовали, что стесняют друг друга, но что-то мешало им разойтись.

— Так, значит, решительно отказываешься? На рыбалку?

Александр жевал мундштук папиросы.

— Все равно из себя не выведешь. Хоть ты и дока по этой части.

— Куда нам, — смиренно проговорил Васильев, ощупывая заплату на брюках. — Мы теперь не маленькие. Ложку сами ко рту подносим, лес самостоятельно возим и даже самостоятельно к бабам бегаем.

Александр смял окурок в тарелке, служившей пепельницей.

— А что, тебя приглашать надо за проводника?

Васильев не ответил, прошелся по комнате. Останавливаясь рядом с юношей, окинул его взглядом. Привалившись к книжной полке плечом, Александр ждал.

— Ничего не скажешь — вымахал. А я тебя вот такого знаю. — Он показал рукой с метр от пола. — С восьми лет. Ты тогда плохо рос — ты в последнее время подпрыгнул. Помню, как-то осенью приходишь в маткиных валенках, под носом красно, морозцы ударили первые. Я на охоту собирался, ружье у порога стояло. Ты меня дедом звал. «Ты куда, — спрашиваешь, — дед?» — «На охоту, говорю, Сашка». Лет одиннадцать тебе было. Я вот в том углу сидел. Не помнишь?

— Нет...

— Взял ты ружье и целишься в меня. «Застрелю тебя, дед», — говоришь. А мне любопытно стало. Ружье заряжено дробью на глухарей. Смеюсь, а сам боюсь шевельнуться. «Ты лучше в окно, говорю, ударь». Ты опустил его дулом в пол и спрашиваешь: можно, мол, в окно?

«Можно», — говорю. Ты и тарарахнул. Все стекла вынес.

— Точно. Было, Павлыч. Вспоминается.

Васильев засмеялся.

— Все от матери тогда хоронился. Уж она тебе всыпала, и мне досталось. Да, идет время...

— Идет... А ты все тот же, Павлыч. Сколько я помню, все такой же. Не постарел, не помолодел. Как валун каменный. Зима, весна, лето — он одинаковый. Помнишь, ты меня рыбачить учил на Зеленом озере?

— Ты тогда чуть не утонул. Я тебя шестом подцепил.

— Ага... Потом долго болело.

Теперь они сидели друг против друга. Васильев оживился, но юноша чувствовал, что он чего-то недоговаривает. «Волнуется старик, — отметил он про себя. — Неужели в самом деле из-за меня? Далась им Галинка. Не ребенок ведь...»

Александр хмурил лоб. Послать всех куда подальше... И Васильев словно почувствовал его состояние.

— Слушай, Сашка...

— Я давно слушаю.

Васильев выдвинул ящик стола, порылся в нем, протянул юноше толстый конверт. Стараясь догадаться, Александр взвесил его на ладони.

— Дело принимает неожиданный оборот. Можно вскрывать?

— Сберкнижка... Еще одно чудачество деда. Вскрывай.

На лице Васильева усмешка. Его лицо очень близко — морщинистая темная кожа похожа на древесную кору. Дремучая полоса бровей.

Александр разорвал конверт.

Действительно, сберкнижка. Он развернул ее и недоуменно поднял голову. Сберкнижка была на его имя.

— Там пятьдесят тысяч...

— Что это значит, Павлыч?

— Ровным счетом ничего. Просто думал, что ты поступишь в институт. Твоей матери приходилось туго, на глазах баба таяла, а я много зарабатывал.

Он взял сберкнижку двумя пальцами, подержал на весу и бросил на стол.

— Теперь ты больше меня зарабатываешь.

Отошел к окну.

Александр глядел ему в спину и не знал, что сказать.

27

Третьего дня выпал первый снежок, непривычная белизна отсвечивала за окном. Выбеленные стены комнаты ласкали глаз. На это ушел не один вечер. Галинка обижалась тогда, что долго не приходил. А как ей объяснить, что нельзя было возвратиться старику из больницы в заплеванную конуру?

Александр избегал глядеть на Васильева. Ему открывался совсем другой человек. Хотелось сказать Васильеву хорошее, но Александр не мог. Мешало внезапное чувство стыда, и раздражение усиливалось. Зачем они его опекают? Ну, хорошо, для матери он по-прежнему ребенок, понятно. И про институт каждый день песню заводит с утра пораньше. «Я тебя в люди тянула, а ты баранкой от мира загородился, на Гальку свою не надышишься...» Хоть из дому беги. И Павлыч туда же... запел Лазаря.

Мужчина ведь должен судить иначе. Тоже, стоит, отвернулся. Кто его просил... благодетель нашелся.

Как бы читая его мысли, Васильев глухо спросил:

— Сердишься?

— Купить хочешь?

— Дурак. Ты лучше пойми...

— Не надо, Павлыч.

— Ну, хорошо... Не надо. Не будем.

Он по-прежнему стоял к Александру спиной, смотрел в окно. Александру захотелось выругаться. Он шевелил носком сапога. Сказывалась усталость тяжелого дня — машину давно на ремонт ставить надо, и только упорство трактористов заставляло трактор двигаться. Новая профессия, более трудоемкая, требовала особой снорo[illegible] И вдобавок отношения с Галинкой совсем запутались. Поселковые кумушки глубокомысленно покачивали [illegible]вами, ребята подшучивали. Тяжелые вздохи матери [illegible]шель по ночам. Александр почти перестал ночеват[illegible] Встречаясь с Ириной, молча кивал и проходил ми[illegible]бегая пристального взгляда строгих, непримиримы[illegible] Он как-то не заметил, что Головин стал бывать в и[illegible] чаще.

Когда Васильев сводил разговор к личной жизни Александра, тот умело обходил все острые углы. Васильев только покачивал головой и пошучивал. Он, конечно, не мог признаться, что Нина Федоровна советовалась с [illegible]

плакала и просила как-нибудь помочь. Не мог он видеть ее исхудалого лица, теней под глазами и зябкой, незащищенной фигуры в сером платке. Он решился сегодня идти в разговоре с Александром до конца.

— Не пара она тебе. Конечно, я тебя понимаю, сам молодым был, но так открыто... Ты что, жениться на ней думаешь? Или как? Впрочем, теперь мода другая пошла.

— А может, и думаю, — отрезал Александр. — Какое кому дело?

— Ну, Сашка, это брось. Что ты, в самом деле? Связался черт с младенцем. В конце концов, на себя взгляни — куда торопишься? Или тебе жить осталось неделю?

— Ладно, Павлыч, кончай. Ну, прошу тебя, хватит. Вставай, пошли, а не то я один пойду, мать заждалась теперь.

Васильев остановил его:

— А ты не лезь в бутылку, тебе добра хотят. Совсем заполошным стал. Не хочешь — молчать буду. Я же сказал.

— Ты тоже, Павлыч, не сердись. Надоели мне нравоучения. Вчера Головин, сегодня — ты взялся.

— Директор?

— Он. Зайди-ка, говорит, Архипов, поговорить надо. И пошел чистить. Бельмо на глазу я вам?

Натягивая пиджак, Васильев хлопнул его по плечу.

— А ты другого хотел? Творить такие благоглупости и ждать похвал? Да, как там у Головина этот художник поживает?

Александр, рассеянно вертевший в руках томик Пушки- недоуменно спросил:

— Художник? Впервые слышу.

— О, брат, ты явно отстал от жизни. Надо газеты ь. Там парень — закачаешься. Вроде бы жизнь приехал изучать, у директора сейчас пусто, дом большой, а художник — сын его фронтового друга. Вот Головин и его взять. Информация достаточна?

— А... он молод? — небрежно спросил Александр после небольшой паузы, вспоминая темные глаза Ирины.

Он смотрел с нарочитой невинностью пятилетнего ребенка, и Васильев понимающе покачал головой.

— Смотри, Сашка, женщины до хорошего не доведут.

— Ничего, как-нибудь сдюжим.

— Схватишься... Вспомнишь мои слова, будь я сукин

сын, вспомнишь. Другой бы на твоем месте... Променять институт на бабу... Тьфу!

— Ерунда, Павлыч, — при чем тут баба?

— Обормот! Похоронишь себя в медвежьем углу.

— Ладно... Ты ведь живешь здесь?

— Живу... Существую, брат, а что толку? Тут нельзя сравнивать. Ты ведь жизнь начинаешь. Твое место в студенческой аудитории. Лучшие должны идти дальше.

— Мне лестно... конечно, но «лучшие» должны оставаться. Иначе как же исчезнут медвежьи углы?

Свежий снежок похрустывал под ногами, заходящее солнце освещало дымы над поселком. У дома Головина Александр увидел несущую охапку дров Ирину; высокий человек лет двадцати восьми пытался ей помочь, девушка упрямо отказывалась. Александр слышал их смех.

— Видишь? — подтолкнул Васильев. — А ты говоришь...

— Я ничего не говорю, я молчу, а вот тебя, Павлыч, действительно не узнать сегодня. Чего ты меня шпыняешь?

В голосе Александра прозвучала еле уловимая обида, ему захотелось узнать, что говорит художник Ирине, почему они смеются. «Ишь, ловкач... Не успел приехать...» Но другой голос возразил: «Не все ли тебе равно, парень? А? Ревнуешь, что ли?»

Издали наплывала песня. Возвращались с работы.

Тай на гори женцы жнут,
А по-пид горою казаки идут...

В противоположной стороне, в тайге, эхо час[illegible]
«Аки... Тут... Ут!.. Ут!..»

28

За ужином Александр был молчаливее обычного, а вечером ушел к Галинке. Должен был состояться решительный разговор. Юноша добивался его полмесяца, Галинка отшучивалась и, наконец, вчера согласилась. Но с первых слов Александра изумленно подняла брови.

— Да ты в своем уме, Сашка? Господи, тоже мне муж нашелся... Да что я с тобой делать буду? В куклы играть?

Он не ожидал такого оборота и растерялся.

— А сейчас, что делаешь?

Она развела руками.

— Это совсем другое. Жить по-семейному — дело серьезное, тут одних поцелуев мало. Господи, тебе ведь в армию идти, и моложе ты на пять лет... Нет, замуж я за тебя не пойду. Ей-богу, курам на потеху.

Она засмеялась. Александр рывком сбросил с себя одеяло. Галинка успела удержать его.

— Пусти, — попросил он угрюмо, впрочем не слишком стараясь освободиться. — Так я не могу, мне проходу не дают. Да пусти ты, закурить хочу.

— И мне, — сказала Галинка не сразу и, заметно посерьезнев, попросила: — Не надо глупить... Ты думаешь, мне легко? Мать твою вчера встретила, не знаю, куда глаза девать... Уеду я... — В ее голосе прозвучала тоска, и он, затушив окурок, присел на край постели.

Наступило молчание. Галинка села, туго обтянула простыней колени.

— Кончать надо. Молодой ты, разве я не понимаю, не пара ты мне, а сделать с собой ничего не могу.

— Я не отказываюсь.

— Брось, не надо. Все это не то... Мне серьезный муж нужен, тебе со мной не справиться.

— Галинка...

— Знаешь, Сашка, — прервала она, хрустнув пальца- — ты не приходи больше.

— Почему?

— Не спрашивай. Другой мне в душу запал. Со зла обой. Прости, Сашка, больше не приходи. Пусть едний раз будет. Ты чистый, хороший, не нужно. ександр вдруг почувствовал робкие, мягкие руки ны, ее смятенную душу. Он хотел уйти сразу и г, хотя понял: она решила окончательно. Он ушел перед рассветом, и когда одевался, Галинка тихо ла. Он поцеловал ее на прощание сдержанно, осто- но. Ее губы были холодны, как снег за окном.

29

На второй день с утра поднялся ветер. С вершин обтал снег и садился на все вокруг сверкающей пылью. Разогрев двигатель, Александр попробовал трактор, переключил его на холостой ход. Тайга еще куталась в сумра...

тайга сдержанно шумела, и в этот шум начинали постепенно вплетаться привычные шумы. Неподалеку заработала передвижная электростанция. Кто-то громко спорил с мастером; прислушавшись, Александр узнал голос Васильева. Спорили о направлении валки. Начинался обычный рабочий день. На делянах загорались костры. Распустив хвост снежной пыли, упала первая лиственница. Александр видел вокруг себя много машин и людей. Все они были знакомы. Как на ладони лежала перед Александром их жизнь. Их радости, беды, даже самые мелкие неурядицы были известны.

Несмотря на бессонную ночь, Александр не чувствовал усталости. Сотни раз видел он лесосеку, но ни разу не возникало в нем сразу столько мыслей. В душе щемящая грусть. Галинка, Галинка... Разве дело в разнице возрастов? Разве считает любовь года?

Александр прислушивался к работе двигателя и, не замечая, тер щеку грязными пальцами. Он не понимал Галинки. Врет, кого она может любить? Он перебирал в уме всех знакомых, не находил и злился. «Вот тебе и любовь», — подумал он с неожиданной усмешкой, вспоминая прошедшую ночь, слова Галинки, свою растерянность.

Один за другим уходили тракторы на лесосеки, издалека — как черные гудящие жуки. С веселыми шутками проехала бригада конной трелевки. Бригадир Гринцевич, поляк громадного роста, сидел на своем тяжеловозе боком и на ходу пил из фляжки. Александр вспомнил, что Гринцевич выдал в субботу замуж старшую дочь. «Голова болит», — отметил про себя Александр и оглянулся: запаздывал прицепщик-чокеровщик по имени Афоня Холостяк. Но тот уже вынырнул из-за трактора, маленький, рыжий, губастый, и, опережая Александра, издали поднял руку.

— Ладно, старшой, не ругайся. Всего ведь десяток минут. Такое дело, понимаешь, еле сапог нашел. Маруська в райцентр с отчетом поехала, а проклятый завалился за печь, и хоть ты ноги протяни! Битый час искал, поесть не успел.

На ходу проверяя исправность своего хозяйства, он обошел трактор, шлепнул рукавицей по плите и спросил, плутовато щуря небольшие глаза:

— Что смурый такой? Не выспался? Вымазался как трубочист.

Александр не расслышал или не захотел отвечать, [illegible] полез в кабину.

В обед подъехал Головин на своем вездеходе. Александр грел на костре копченую колбасу; увидев директора, отвернулся. Теперь для него не было секретов, что Головин обхаживает мать. Полмесяца назад он не придавал значения шуткам на этот счет, а теперь... Да и сам Головин прекрасно чувствовал: на пути к Архиповой стоит длинноногий, по-мальчишески нескладный юноша, со своими, порой наивными, но твердыми убеждениями о жизни. Головину не раз приходилось сталкиваться с ним в разговорах, и он всегда испытывал некоторую растерянность или, точнее сказать, любопытство. Слишком угловато и резко для своих лет толковал Александр те или иные явления, слишком откровенно касался тех вопросов и сторон жизни, которые предпочитали замалчивать более опытные люди. В разговорах с Александром Головин нередко оказывался в роли обвиняемого. Ему приходилось большей частью защищаться или защищать. Это смешило и задевало его. И заставляло задумываться. Что толку, если молодое, идущее на смену, станет довольствоваться старым, готовым? Нет, пусть лучше оно ищет — в этом залог движения.

Сегодня Головин был в отличном настроении. Поздоровавшись с рабочими, заговорил с Назаровым — мастером Центрального участка. Александр не слышал, о чем говорили, но понял: речь идет о приехавшем художнике; тот, в телогрейке и валенках, стоял рядом и, склонив голову, слушал.

Александр рассматривал художника с невольной досадой. «С какой стати думать о незнакомом человеке?» — решил он и молчаливо занялся обедом.

Сидящий рядом Афоня Холостяк пошевелил костер: взлетел столб искр. Афоня был не в настроении.

— Вишь, хлыщ, личико что у барышни. Тоже мне, жизнь изучать... Будто она без того неизвестна.

— Красивый парнишка, завидуешь, Афоня, — возразила рослая широколицая девушка-бракер и, постукивая затвердевшей мазутной рукавицей по бревну, добавила: — Такого бы приголубить... Москва... Ессентуки... Разлюли-малина.

У Афони подскочили рыжие брови.

— Кобыла! Тебе бы только полегче! И б
зенник-то... хоть сваи заколачивай — двуспа

— Не зарься на чужое, ишь губы распу
тебя.

— Здорово нужно. Ессентуки... А Пара
чешь?

Вместе с мастером к костру подошел художник. присутствующие перестали жевать. Немногословный, вс да угрюмый Назаров сказал Александру:

— Вот, Архипов, новый прицепщик тебе. Пусть п с Холостяком поработает, а потом посмотрим. Знако тесь: Косачев.

Пожимая протянутую руку, Александр ухватил кра глаза вытянутую физиономию Афони. У Косачева бь узкая горячая ладонь, глубокие серые глаза.

— Александр.

— Павел.

— А я Афанасий. Холостяк — это фамилия такая.

Бракерша поправила платок и, отодвинув Афоню, ребивая, пропела:

— Верочка Буканова... Бракер

— Очень приятно.

Наблюдавший со стороны Головин бросил взгляд Александра и пошел к машине. Возвещая конец переры ва, зарокотала электростанция, проезжавший мимо Ш мотько замедлил ход и погрозил Александру кулаком.

...Трактористы стояли кружком. Анищенко спорил Холостяком. Потряхивая сломанной елочкой, Афоня о рызался, удивленно косил глазами.

— Посмотрите на него, ребята, очумел. Ну, сломал — подвернулась под руку. Тебе-то какого черта? Вон, посмотри, их тысячами ломают. Твое, что ли? Раскипятился подумаешь...

— Мое! Но ведь и твое тоже. Она тебе мешала?

Афоня пожал плечами.

— Как на тебя посмотрят, если ты пшеницу на сило пустишь?

— Сравнил. То ж — хлеб.

— А тайга тебя не кормит? У тебя не психология, Афоня, а историческая окаменелость. А если взять да голову тебе свернуть, небось по-другому запоешь.

Афоня озадаченно оглянулся. Он явно не понимал,

[illegible] щенко или говорит всерьез. Он начинал сер-[illegible]

[illegible] человек, у меня дети.

[illegible] рево живое тоже. Через пятьдесят лет у этой [illegible] были бы дети. Ты и не подозреваешь, сколь-[illegible] на твоей каменной совести жизней. Ты одним разом целую рощу в будущем уничтожил, да еще обиженного [illegible]троишь... Тебя в три шеи из тайги гнать!

— Руки коротки! — обозлился Афоня. — Не дал бог свинье рог — всех бы переколола.

— Хватит, ребята, — вмешался Александр. — Что вы в самом деле? Заставим Афоню весной два десятка новых посадить — пусть знает. Пошли, Афоня, пора, двигатель застынет.

Анищенко поправил шапку, отвернулся. Было обидно. Так уж повелось в тайге с незапамятных пор. Никто не жалеет, — валят, рубят, ломают, словно так и надо. И Сашка... Поставить на комсомольском собрании ребром. И плакаты развесить. Один Головин ничего не сделает... И два, и пять, и десять человек нужно, чтобы все поняли.

Главный инженер леспромхоза вывернулся неожиданно. Маленького роста, смуглый до черноты, он подъехал верхом на своем Монголе — злом, низкорослом и выносливом коньке с косматыми ногами.

Афоня бросил папиросу.

— Домитинговались, ребята, влипли. Робот пожаловал. Расходись.

Но Почкин уже спрыгнул с Монгола. Накидывая поводья на сломанную в пояс березку, поздоровался.

По своему обычаю он был в галифе и щегольских бурках с двойными подошвами, в теплой спортивной куртке на молниях. На голове—глубокая фуражка-кепи с опущенными ушами. Удивительно подвижной и легкий для своих пятидесяти лет, он отличался цепкой и точной памятью. Неизвестно, когда и кто прозвал его Роботом, но кличка сразу к нему прилипла, она шла ему, как идет женщине выбранная со вкусом шляпа. Его побаивались — неизвестно, какими путями он знал все в леспромхозе, включая самые отдаленные участки.

— Загораем? — спросил он глубоким мягким баритоном, подходя ближе.

— Сейчас начнем, — ответил Александр.

— Пора, товарищи, время — деньги.

Почкин окинул взглядом остатки костра, стоявшие поодаль тракторы, рабочих. Анищенко, поправляя отвороты катанок, нагнулся. Он не любил главного инженера, считал его бюрократом и сухарем. Самоуверенность и властность этого маленького человека были удивительны. Уже один его вид вызывал у Анищенко острое желание досадить. Он и сейчас хмурился, с трудом сдерживаясь от вертевшейся на языке колкости.

— Брось ты, — примирительно хлопнул его по плечу Александр. Он относился к Почкину по-другому, считал хорошим инженером, часто обращался к нему за советом, особенно в первые дни работы. — У каждого есть свои странности. Сам ты, Мишка, далеко не идеал в квадрате.

— Не люблю таких — темная вода. Сколько ни смотри — ничего не увидишь. На месте Головина я бы давно его вытурил — каждый шаг подсиживает. «По закону, незаконно, указаний нет...» Тьфу! Сверхчуткий робот.

— Головин умнее, чем ты думаешь, да и Почкин тоже. И потом — главный инженер назначается в области.

— Вот и плохо. Пора бы все лишние руководящие должности устранить вообще.

— Должность главного инженера — лишняя?

— Я не говорю, что именно она. Но многое из выполняемого мастерами, бракерами и главным инженером можно передать самим рабочим. Ты вчера тоже соглашался.

— Соглашался, но это вопрос другой.

Почкин присел на корточки, пошевелил костер. С трактористами Центрального участка у него сложились особые отношения. Почти все они были молоды, никто из них не постесняется выступить по любому вопросу на собрании. Сказывается, конечно, следствие позиций, занятых последнее время Головиным, но Почкин умел видеть глубже. У Головина здесь дальний прицел. Для осуществления своего проекта ему необходима поддержка рабочих. И вот здесь нельзя промахнуться. Он глубоко убежден — Головин неправ. Леспромхоз есть леспромхоз, его дело давать лес. Одна задача, и все должно быть подчинено только ей. Был простой выход — предоставить решение вопроса времени. Но он не привык отступать. Борьба давно переросла отношения только двух человек,

в нее втягивались все новые и новые силы. Одно время Головин почти капитулировал. Теперь Почкин видел, что это всего-навсего ловкий ход. Да, Головин—достойный противник. Кому-кому, а ему, Почкину, такие ходы не в диковинку. Ловко, ничего не скажешь.

Здесь глаз не закроешь. Значение любого начинания — в последователях.

Почкин удивил трактористов. Они больше не услышали от него ни одного замечания, он не поинтересовался новым чокеровщиком. И только Анищенко почувствовал смутное беспокойство: главный инженер рассматривал его так пристально, словно впервые видел.

«Уставился, дьявол... Сказал бы прямо, если заметил что...»

Когда трактористы расходились к машинам, Почкин окликнул Афоню:

— Холостяк! Сходи, пожалуйста, найди Назарова. У тебя, я вижу, воз готов, к следующей ходке поспеешь. Я тут буду, у костра.

— Сию минуту, Вениамин Петрович.

Прежде чем взревел первый мотор, Анищенко еще раз услышал голос главного инженера.

Поправляя на своем Монголе седло, Почкин негромко запел:

Ой вы, кони мои вороные,
Черны вороны кони мои...

Анищенко представил главного инженера в хоре поселковой самодеятельности, улыбнулся и включил пускач. Сильный, внезапный стрекот заставил Монгола вскинуть голову, затанцевать на месте.

— Но, но, Монгол! Успокойся! — сказал Почкин, похлопывая коня по шее, и тот скосил на хозяина злой настороженный глаз.

30

В конторе Головина встретил парторг. Чем-то рассерженный, Глушко остановил директора в коридоре:

— Здравствуй, Трофим. Ты где пропадал? С утра ищу.

— На лесосеку ездил. Здорово.

Они прошли в кабинет. Головин снял пальто. Оборвалась вешалка, он повесил его за воротник. Глушко, опер-

шись на спинку кресла, молча наблюдал. Приглаживая волосы, Головин прошел к столу. Он был в потертой безрукавке на собачьем меху — часто ныло простреленное плечо. Глушко подумал, что безрукавка знакома ему уже лет десять. И низко опущенные, вислые, как у грузчика, чуть косоватые плечи.

За десять лет Глушко прошел длинный путь. От разнорабочего до техника и парторга. Глушко и Головин хорошо знали друг друга.

— Выкладывай, Данилыч.

Головин просматривал на столе бумаги. Не дождавшись ответа, поднял голову, встретил взгляд Глушко.

— Кузнецов приехал.

— Из совнархоза.

— Да.

— Ну и что?

— С ним ревизор-бухгалтер.

На лице Головина мелькнуло удивление.

— За нами вроде бы никаких грехов.

— Я тоже так думал. Ревизор — по докладной Почкина — не выдержал, собачий сын, настрочил.

Головин тяжело усмехнулся.

— Он не скрывал... Здесь принципиальный противник, второй год на ножах.

— Ерунда. Догматик. Гнать таких в шею. Надо видеть чуть дальше, все же главный инженер.

— Он толковый инженер, в том и загвоздка.

Глушко раздраженно двинул кресло. Сел.

— Хватит толстовщины, Трофим, давай лучше подумаем, что делать.

— У нас есть основания.

— Решения съезда?

— Именно.

— Средств на это дело пока не отпущено, ты знаешь не хуже меня, Трофим. Почкин обвиняет тебя в растрате четверти миллиона не по назначению...

— Глупости. Тысяч пятьдесят. Все остальное из экономии.

— Докажешь?

— Докажу. Работы проводились экспериментально, в рабочее время инициативной группой молодежи. Добровольный почин. Расходы идут только по бензину и амортизации техники.

Глушко неловко задвигался в кресле.

— Это и есть главный козырь Почкина.

Он хотел что-то добавить, но вошла секретарь.

— К вам, Трофим Иванович, товарищ Кузнецов.

31

Светлоглазый, подвижный, с небольшим брюшком, Кузнецов вошел стремительно и весело. Представителя госконтроля знали оба.

— Здравствуйте, товарищи.

Он смотрел прямо в глаза, но подавал руку осторожно, словно сомневался. У него были неровные губы — один уголок рта выше, и он казался добродушным, совершенно безобидным.

Приступая к делу, доверительно улыбаясь, он ознакомил Головина с целью своего приезда. Из его слов Глушко окончательно уяснил суть дела — Головин обвиняется в незаконных действиях, в бесцельном растранжиривании государственных средств.

Головин слушал молча, вертел в руках карандаш. Под конец не выдержал. Хрустнул кончик карандаша.

— Простите, Николай Николаевич. В чем конкретно ваши обвинения? Ей-богу... Никак не пойму.

Кузнецов сделал почти неуловимое движение руками.

— Ну что вы, Трофим Иванович. И не думал. Но, сами понимаете, разобраться надо, проверить, уточнить. Обязанность.

Кузнецов взглянул на часы. Два. Пора было выкурить очередную папиросу. Он достал портсигар. С наслаждением затянулся, взглянул на Головина и, подчеркивая неприятность своего положения, полушутливо улыбнувшись, сказал:

— Хочешь не хочешь, но... Так бывает. Ничего не поделаешь.

Возникшее с приходом Кузнецова чувство неловкости, холодной неприязни медленно рассеивалось. Разговор становился оживленным. Глушко почти не вмешивался. Слушал и наблюдал. Он давно знал Кузнецова и не любил его. Как раз за то, что привлекало к нему других. Именно за симпатичную безобидность, обтекаемость. Никогда не спросит напрямик, всегда в обход, не совсем ясно, не вполне твердо. Чего бы ползать вокруг да около...

Глушко вступил в разговор неожиданно.

— Подождите, Николай Николаевич. Я вас прерву. Вы, я думаю, не сомневаетесь, что Головин деньги не положил себе в карман, давайте откровенно. Для народа они не потеряны, вложены в нужное дело. Лесовосстановление...

Он встал. Почти вполовину выше Кузнецова. Просторный кабинет сразу уменьшился. Кузнецов слушал, страдальчески морщился. Его явно не понимали. Или не хотели. Разве он против мероприятий по лесовосстановлению? Но закон есть закон. Деньги на это не отпускались. Деньги израсходованы. Пусть из сэкономленных средств... что еще, впрочем, нужно проверить. И все равно анархию поощрять нельзя. Так по копеечке и все государство можно растащить, здесь дело не в личных обидах.

Он старался объяснить как можно понятней. Он был уверен в своей правоте. Глушко опять оборвал его, почти грубо:

— Ерунда! При чем здесь обида? Головин разумный хозяин.

— Не совсем. Есть государственный бюджет, он кое к чему обязывает. У вас было разрешение?

Кузнецов повернулся к Головину.

— Нет.

— О чем тогда говорить? Вы — умные люди и все понимаете. Уверены в своей правоте — добивайтесь законного разрешения.

— А время? А гибнущий лес? Ежедневно и ежечасно!

— Простите, но это уже не наше с вами дело. Я обязан следить за использованием государственных средств по назначению.

Глушко шумно вздохнул.

— Ну, а сами вы как думаете?

Спросил и пожалел. Понял: светлоглазому плотному доброжелательному человеку безразлично, будет ли вновь расти на вырубках тайга или они превратятся в пустоши. Лишь бы все было по закону. Наверное, он с чувством выполненного долга получает свою зарплату, водит детишек в цирк, ездит с сослуживцами на рыбалку и спит всегда безмятежно.

Заканчивая разговор, Головин спокойно возразил:

— У вас есть все возможности досконально проверить сделанное. Что же касается законности моих действий...

то я уже потерял надежду на признание моего проекта законным делом. В масштабах одного экспериментального участка ущерба стране нанести не может. Я вам честно говорю: марать бумагу надоело. И тайгу эксплуатировать варварски не могу. Не нравится — снимайте. Можете отдать под суд. Проверяйте, смотрите. Те вырубки, на которых мы провели часть мероприятий по лесовозобновлению, и другие... где нет. Потом решайте.

— Хорошо, — помедлив, ответил Кузнецов. — Но только я хотел бы прежде увидеть главного инженера.

— Он в тайге, на участках. Он у нас любит ездить верхом... вряд ли его по телефону найдешь. Впрочем...

Головин придвинул телефон. Кузнецов поймал на себе взгляд Глушко и повернулся к Головину.

— Трофим Иванович, не стоит пока. Я буду у вас дня три—четыре, не к спеху. Поедемте, посмотрим. — Кузнецов отошел от стола, прижался ладонями к теплому кафелю печи. — Холодновато у вас в кабинете. Дрова экономите?

— Кубометр дров — двести метров ткани, — отозвался Головин недружелюбно, направляясь к вешалке.

32

Они выехали на сорок четвертый квартал, на вырубки трехлетней давности. Головин сидел рядом с шофером. Глядел по сторонам. Он был уверен: все обойдется, в крайнем случае дадут выговор. Глушко разговаривал с Кузнецовым. Головин почти не слышал. Думал о словах Кузнецова. Вспомнилось старое. Разве он не пытался настоять на своем? А много толку?

Он забыл, что из тех, кто завалил его предложение, давно уже никого не было в области, кроме профессора Гуляева, ни разу за полтора десятка последних лет не выехавшего в тайгу. «Запасы леса безграничны... Паника... Дезорганизация лесного хозяйства... Нужды хозяйства и страны — прежде всего... Люди могут истребить в том или ином месте леса, они могут их и насадить». Общие фразы, подкрепленные десятками технических терминов и слов. Демагог... Головин стиснул зубы. Он знал лесное хозяйство не только своего края, он был знаком и с лесными богатствами всей страны. При Петре Первом большая часть европейских областей России была покрыта лесом. И все же ощущалась нехватка нужной древесины, и

впервые в истории России сам Петр Первый стал закладывать новые леса. А его указ о запрещении вырубать дуб? «Вырезав ноздри и учиня наказания, посылать в каторжную работу».

Как можно не понимать теперь, что лес — это влажный, устойчивый климат, плодородие почв, неиссякаемость рек, здоровье и настоящих и будущих поколений? Деревце, посаженное или сохраненное отцом, — лучший подарок сыну. Живой и вечный друг. Впрочем, разве в непонимании дело!

Теперь он жалел о поездке в тайгу. Нужно смотреть правде в глаза. Кто-кто, а Кузнецов никогда не поддержит.

33

Въехав в сорок четвертый квартал, шофер резко затормозил. На дороге, подняв руку, стоял худощавый паренек. Один из трактористов — Головин сразу узнал его. Он вышел из машины и спросил:

— Ты, Анищенко? Что-нибудь с трактором?

— Нет... Все в порядке. Отстранили от работы.

— Кто?

— Мастер. Я не знаю... Он говорит, что по распоряжению главного инженера. Из-за дороги. Короче, мол, вдвое. Дорогу к складу с делян... не в объезд, как сейчас, а прямо через сорок четвертый. Не знаю... Я отказался, товарищ директор, поскандалил, — безобразие это, вот что. Мы же сами этот квартал обрабатывали, старались, вы только посмотрите!

Он вдруг утратил сдержанность и обращался теперь не только к Головину, но и к парторгу, и к Кузнецову, которые тоже вышли из машины.

— Сделанное своими руками разрушать не буду! К черту!

— Успокойся, Анищенко. Вероятно, мастер ошибся и не так понял Почкина. Возвращайся назад и передай Назарову мой приказ: никакой дороги.

По одну сторону — старая тайга. Медь стволов, высота заснеженных вершин. По другую — густое море невысокого молодняка и кое-где одинокие деревья-семенники. У Анищенко — угловатое лицо подростка.

— Трофим Иванович... Вы же сами учили беречь. А они... Саботажник... Это я — саботажник!

Головина бесил светлый взгляд Кузнецова. Он понимал, как сильно возбужден тракторист, как старается сдерживаться.

— Побереги силы, Анищенко, — сказал Головин. — Они еще пригодятся.

Подошел Глушко:

— Иди, Михаил, разберемся.

Степенный пожилой шофер собирался пошутить, но при взгляде на Головина с его лица сбежала улыбка.

— Поехали.

34

Осмотрев сорок четвертый квартал, Кузнецов с парторгом вернулись в поселок. Головин остался на лесосеке. Во рту неприятный привкус не то от подмоченных папирос, не то от слов Кузнецова, который так и не высказал ничего определенного и повторил свои мысли о плановости хозяйства и недопустимости какого бы то ни было анархизма.

«Дался тебе Кузнецов», — сердито подумал Головин и, затянув голенища теплых сапог, шагнул с дороги в сторону. Снег, рыхлый, неглубокий, еле-еле доставал до колен. Идти легко. Головин решил напрямик добраться до лесосек Центрального участка, поговорить с Васильевым. Назаров вторично жаловался, что звено Васильева не выполняет последнее время норм, и после больницы Васильев совсем от рук отбился, разговаривать с ним не стало никакой возможности. От него ушел старый раскряжевщик, Васильев взял парнишку с курсов, несмотря на возражения мастера, и лучшее звено по заготовке сортимента съехало на самое последнее место.

— А твое мнение, Назаров? — спросил Головин. — Перевести на другую работу? Уволить?

Мастер по давней привычке полез в ершистый затылок, нерешительно кашлянул.

— Знаешь, Трофим Иванович, жалко, старый рабочий. Подумать надо.

— Подумай — потом говори.

Назаров выловил в глубине кармана ватных брюк папиросу. Спросил, можно ли, и, прикуривая, попыхивая дымком, помолчал. Затем возразил:

— У меня их, Трофим Иванович, пятьсот с лишним.

Там не поладили, там подрались... попробуй за всеми углядеть, обо всех подумать — голова лопнет.

Назаров любил поворчать.

— Небось выпивать с ним находишь время.

— Только по праздникам, другое совсем.

— Ну, допустим...

— Да, ей-богу, только по праздникам, Трофим Иванович!

— Ладно, ладно. — За много лет работы Головин изучил хитрого, знавшего себе цену мастера. — Вы с ним разговариваете о чем-то за пол-литрой?

— С ним поговоришь... Пьет и молчит, как сыч. Песни поет. И с самого начала такой был, помните, он у нас появился? Годов одиннадцать прошло... В глаза не взглянуть. Конченый человек. Ну отсидел ни за что, ни про что... Мало ли таких было? Живут ведь.

— Легко говорить, — задумчиво отозвался Головин. — Тут другая мера нужна. У человека ни семьи, ни дома. Тут он за одиннадцать лет с людьми пообтерся, к месту привык. Нет, Назаров, человек не горсть мусора... Посмотрим.

35

Головин шел по тайге и пытался понять, почему Васильев с некоторых пор стал относиться к нему неприязненно. Раньше, встречаясь время от времени по вечерам, они охотно разговаривали. Васильев не вздорный мальчишка, без особой на то причины...

Головин остановился перед толстой валежиной, укутанной полуметровым слоем снега. Его белизна лишь нарушалась крапинками облетевшей хвои лиственниц.

Опустив ветки под тяжестью снега, стояли березы. Тайга... Можно идти день, идти неделю, и будет все то же безмолвие снегов. Ни тропки, ни человека. И начнет давить тишина, и захочется, нестерпимо захочется человеческого взгляда, слова, тепла. А вокруг по-прежнему. Замерзшая тайга, тайга, снег, синеватый отлив берез, молчание.

Глядя на четкие тени лиственниц на снегу, Головин вспомнил, как у него с Васильевым примерно с год назад зашел разговор об Архиповой. Тогда Головин не придал значения его словам:

«Нет, Трофим Иванович, эта женщина не для меня. Стар я для женитьбы. Как-нибудь доживем».

Головин перелез через валежину. Пошел дальше. Теперь ему не хотелось встречаться с Васильевым. Он пытался подавить неожиданное чувство.

Лиственницы, березы, ели. Снег пушист и мягок. Вот он рухнул с дерева, рассыпался по низу белым туманом, Головин поднял голову и увидел соболя. Зло пофыркивая, ловкий черно-серебристый зверек метался по сучьям невысокой осины. «Каменный соболь, — определил Головин породу. — Как это его занесло сюда?»

36

Через полчаса стал слышен шум лесосек, рычание тракторов, тоненькое пронзительное пение пил, людские голоса. Головин подошел к участку Васильева со стороны тайги. Двое разнорабочих, обкапывающих снег вокруг лиственниц, спорили. Они были, вероятно, из новой, недавно прибывшей партии вербованных — Головин их не знал. Один, в матросском бушлате, худой и длинный, как шест, подпирал спиной ствол обкопанного дерева и что-то ожесточенно доказывал. В ответ на приветствие Головина он недружелюбно буркнул:

— Салют. И шляться тут нечего, запрещается, валка идет.

Второй, пониже, широколицый толкнул его ногой:

— С ума сошел! Это же директор.

Высокий моргнул, отставил лопату в сторону и поздоровался вторично.

Головин шагнул из снега на тропинку. Не обращая внимания на смущение высокого, весело спросил:

— Как работается, ребята?

Высокий уже опять принял прежнюю позу.

— Работается... — И хмыкнул.

— Простой почти вторую неделю. Тридцать кубиков в день... на хлеб да на воду. Возится бригадир с этим молокососом, а у него то пилу зажмет, то он кабель перережет, то муфта сгорит. Вон, везде поют, — окончил он, прислушиваясь к пилам, — а у нас молчат. Опять Марья щи пролила, Фрол голодный ходит.

— Да, — неопределенно отозвался Головин. — Бывает.

— Вы бы разобрались, товарищ директор. Когда ста-

рый был раскряжевщик, по две нормы давали. Шутка ли! Сезон пройдет, а потом что?

Головин кивнул. Уже издали услышал, как высокий, оправдываясь, сказал:

— А я что? Не угадал, у меня близорукость. Вон меня и с парохода списали из-за этого. Тоже мне, директор, бродит черт знает где...

— Ладно, Федька, тише.

Федька, как видно, не из боязливых. Услышав его ответ, Головин долго не мог согнать с лица улыбку.

На деляне Васильева затишье. Пилы молчали. На дальнем конце, у обрубленных вершин сучкосборы дожигали костры. Отыскивая глазами Васильева, Головин взобрался на лес, наваленный в несколько этажей. Перед ним открылась чуть ли не вся лесосека — место работы шести заготовочных бригад. Море сваленного леса, море костров. Валка шла полосой, почти в километр ширины. Деревья падали непрерывно, за вальщиками шли сучкосборы, раскряжевщики; почти из-под пил выхватывали лес трелевщики, то и дело понукая своих привычных ко всяким передрягам коней. Со всех сторон раздавалось:

— Бери! Бери!

Заслышав привычную команду, кони, выгибаясь, тянули бревна к штабелям у дороги.

«Хорошо поставлено у Назарова», — подумал Головин. Он забыл на время о цели своего прихода. Стоял, глядел. Росло чувство недовольства и досады: в сотнях костров сгорали миллионы рублей, десятки тысяч метров ткани, тысячи тонн кормовых дрожжей, смолы. Рубка шла выборочная — березы, осины оставались стоять сиротливо и одиноко. Непромышленная древесина, некуда деть...

Головин шепотком выругался. Неужели так и не поймет никто, что это преступление? Он вдруг представил себе лесосеку другой, ведь по сути дела только половина древесины идет в дело. Вторая половина пропадает, сжигается, сгнивает. Неужели так и не докажешь, что в первую очередь нужно строить перерабатывающие комбинаты прямо на местах, в тайге? Тогда и лесовозобновление шагнуло бы вперед — на местах сплошных рубок гораздо легче проводить и сдирание мха, и подсев, и уход.

— Бери, серый! — хлопали крики трелевщиков. — Бери!

По сути дела и это давно устарело. Добавить бы десяток тракторов...

Как-то он загорелся мыслью создать мощный лесной комбайн, бился над ним года два. Агрегат, который бы сам валил, сам грузил и сам отвозил лес к складам. Это была интересная идея, жаль, что она осталась только идеей. Не хватило ни знаний, ни времени.

Головин размечтался и не сразу расслышал голоса, раздавшиеся почти рядом, за высоко наваленным лесом. Разговаривали негромко и дружески. Головин прислушался. Он узнал голос Васильева. Высматривая хлыст, по которому можно подойти ближе, Головин оглянулся.

— Ну вот, — сказал Васильев, — а ты — уйду, уйду...

— Да что, Иван Павлович! Не получается ведь, сами видите. Только бригаду подвожу. Не успел начать — муфта сгорела, вам же пришлось чинить. А надолго ли?

— Получится. — В голосе Васильева послышалось раздражение. — «Уйду»... Легче всего взять да уйти. А сколько у твоей матери кроме тебя?

— Трое.

— Трое... Видишь вот, Степан, и ты самый старший. Много ли мать зарабатывает уборщицей? Каких-нибудь пятьсот.

— Семьсот с надбавками. Я понимаю: устроюсь где-нибудь, буду помогать.

Васильев закашлялся, очевидно от дыма. Затем медленно, словно сам себе, сказал:

— У тебя вон губы голые, когда усы вырастут? А деньги, брат, нигде даром не даются. Мне тоже пришлось в свое время кое от чего уйти. И с концом. Потерять легче легкого, а вот найти...

После паузы Головин услышал:

— Ты давай начинай. Только с комлей заходи, я в другую сторону валить начну. Не успеешь — помогу перед вечером.

Что-то помешало Головину подойти. Торопясь, он выбрался из наваленного леса на тропинку, облегченно вздохнул и долго раздумывал. Он не был сентиментален, шел сюда с мыслью по-настоящему отчитать Васильева. Тогда почему остановился? Невольно услышанный разговор не должен был помешать, одно другого не касалось. И одна-

ко Головин долго не мог отделаться от неприятного чувства. Словно хотел совершить нечестный поступок и удержался благодаря счастливой случайности.

37

В этот день директора видели и на складах, и на погрузке, и на тракторных волоках. Потом он опять о чем-то говорил с мастером. Тот, разводя руками, оправдывался.

У Александра, особенно после обеда, не ладилось. Вначале треснула свеча, затем забилась подача горючего. В довершение Афоня Холостяк сразу принялся учить новенького цеплять хлысты. Александр включил лебедку, и тяжелые лесины срывались, воз получался неровным. Наконец Александр не выдержал, обругал Афоню. Тот невозмутимо возразил:

— Мне приказали обучать или нет?

— Хватит. Берись сам. Пусть присмотрится дня два, потом за чокер. Ты не видишь, сегодня лес трудный?

— Красный флажок потерять боишься? — спросил Холостяк, нехотя натягивая рукавицы. Он хотел что-то добавить, но, увидев проходившего мимо директора, хитро прищурился. — Сашка, — позвал он, приближаясь, и Александр недовольно высунулся из кабины.

— Чего тебе еще?

— Посмотри, директор в поселок пошел... — заговорщически подмигнул Афоня. — Пока ты доберешься домой... Ты что это... Постой!

Он не успел отшатнуться. Александр схватил его за ворот и подтянул к трактору.

Глядя Александру прямо в глаза и чувствуя, что его сейчас ударят, Афоня попросил:

— Пусти, я пошутил. Нужны они мне. Слышишь?

И совсем тихо добавил:

— У тебя флажок на кабине...

— Дурак, — Александр разжал онемевшие пальцы. — Не лезь, куда не просят.

Косачев возился с зацепкой и не заметил этой короткой сцены.

Быстро подкрадывался вечерний сумрак. На соседних делянах то затухали, то вновь разгорались костры. Ушли домой вальщики, промчалась конная трелевка. Оттащив

очередной воз, Александр подозвал Косачева и сказал:

— Вы идите. У нас смена долгая — еще четыре часа. Хватит на сегодня.

Афоня хотел запротестовать, но, вспомнив недавний инцидент, промолчал.

«Псих ненормальный, — подумал он. — И какая его муха укусила?»

Ползавшие по волокам тракторы наполняли тайгу хрустом и ревом. Костры угасали.

38

В субботу вечером Ирина занималась уборкой. Отца не было, квартирант ушел, и она была одна. Протерев окна и мебель, она принялась за полы, но, отставив ведро, подошла к окну. На подоконнике темнело чернильное пятно. «Покрасить надо», — подумала она и тут же забыла.

Вечер. Редкие электрические огни. Снег. Холодный и белый: в нем не прорастает ни одно семя.

Девушка прижалась лбом к настывшему стеклу — за поселком тайга. Бесчисленные тропы, озера, ручьи и реки, тайга, в которой человек — незаметная песчинка.

С тех пор как умерла мать, Ирина из девочки превратилась в девушку и давно привыкла хлопотать по хозяйству. Свободного времени совсем не оставалось. Школа, дом, школа. Когда отец предложил взять домработницу, девушка запротестовала. Она любила мать — в доме все о ней напоминало. Чужой человек принес бы свои привычки, настроения и свои вещи. Ирина не хотела. Постоянными хлопотами старалась отвлечься. Но в последнее время все неспокойнее становилось на душе.

Ирина повернулась спиной к окну: ей показалось, что в комнате кто-то есть. Покачала головой. В душе горькое чувство обиды. Хотелось, чтобы он вошел. Ей вспомнилось детство. Они росли вместе. Сашка был худым, вспыльчивым мальчишкой. Они бегали втроем — он, Ольга Полякова, дочь главного врача, и она, Ирина. Александр любил командовать и решительно пресекал любую попытку к неповиновению. Ольга была плаксой — сразу пускалась в рев. Ирина — наоборот: когда он дразнил ее, дергал за волосы или толкал, она показывала ему язык, лезла в драку. За это он ее уважал и считал своей ровней.

Она вспомнила случай, когда Ольга заболела —

осенью, лет десять назад. Александру было скучно без нее. Он ходил хмурый и злой. Ольга не выходила из дому, Ирина с утра играла во дворе, он бесцельно слонялся по улице, гонял пустую консервную банку. Ирина вышла за калитку, села на бревна и смотрела на квочку с цыплятами, беззаботно болтая ногами. Он подошел к ней сам. Постоял, поковырял палкой землю и сказал, что нужно сходить за голубикой в тайгу.

— Ольке ягоды нужно есть, — сказал он, по-взрослому хмуря брови. — Разве с тобой дело сделаешь?

— А я пойду, — неожиданно заявила она. — Вот... Только одна пойду. Я с отцом ходила и знаю, где голубика, папа показывал. Не хочу с тобой идти... Одна пойду.

— Не хочешь?

— Нет... Не хочу.

— Ну и дура.

Они пошли вдвоем.

Ирина помнила дорогу — по сторонам старые штабеля полусгнившего леса.

Они свернули в тайгу, минули вырубки и вошли в чащу. Мягкий глубокий мох, валежины, сумрак. Толстые, обросшие мхом деревья, бородатые пни, коряги. Детские глаза узнавали в них свой сказочный мир. Она называла деревья, травы, — Александр слушал, раскрыв рот. Она уверенно вела его по тайге. Отец часто брал Ирину в тайгу, рассказывал о жизни леса. Она хорошо помнила рассказы отца и про себя думала, что деревья тоже люди, большие и маленькие, только заколдованные.

Упала сверху еловая шишка — им показалось: загрохотало по всей тайге. Потом они вышли на небольшую, светлую полянку, которую тесно обступали громадные массивные ели. Недалеко тоненько пинькала синица. Оба устали от долгой ходьбы, но, увидев заросли голубики, с веселыми криками набросились на ягоду. Голубика была крупная и холодная. Ирина увлеклась настолько, что не заметила, когда исчез Александр. Глухо треснуло дерево, она поднялась и увидела, что осталась одна. Девочка оглянулась, запрокинула голову. Острые вершины были далеко, ей вспомнился колодец в поселке, глубокий и темный. Стало холодно и неуютно. Наступит ночь, и выйдет медведь. Окликнув Александра раз, другой, Ирина присела на пенек. Молчавшая до этого тайга полнилась теперь незнакомыми голосами и шорохами.

Сегодня она была хмурой, сердитой, как прачка Авдотья, приходившая к ним белить.

Ствол ели тихо, угрожающе гудел, потом раздался тяжелый вздох — точно ворочался кто-то большой и страшный. Девочка втянула голову в плечи. Она была уверена, что деревья рассердились на нее. Ведь она привела сюда незнакомого мальчишку без разрешения. Он плохо вел себя всю дорогу — сбивал палкой ветки, гонял белок. Отец учил ее быть маленькой хозяйкой большого леса, учил разговаривать с деревьями. «Они самые верные, самые молчаливые, самые терпеливые друзья людей. Ты их уважай, дочка», — вспомнились слова отца и его добрая улыбка. Он всегда улыбался, когда деревья трогал. А дома он редко улыбался. Потому что в лесу ему лучше.

Ирина прижалась щекой к стволу ели, кора была твердая и теплая — за день нагрелась. «Ишь, гудит, сердится», — прошептала девочка и, вздохнув, поднялась с пенька. «Пойти еще поискать Сашку. Ох эти мальчишки, натворят что-нибудь — как сюда приходить потом».

Она его сразу увидела за кустом шиповника.

Он забрался на корягу и вертел головой во все стороны, высматривая ее. А когда увидел, не подал виду:

— Где ты потерялась? Какие девчонки глупые, вечно теряются.

— Это мальчишки глупые...

Она готова была заплакать от обиды.

— Рева-корова!

Она поглядела на него и не заплакала.

Они вернулись домой вполне мирно, с полными ведерками. У Сашки были перепачканы голубикой губы и кончик носа.

39

За окном — на противоположной стороне улицы — дом главного врача больницы Ивана Никифоровича. Смешной этот доктор — все агитирует ее поступить в медицинский... Дочь вот послушалась и теперь пишет, что не жалеет.

Комната, в которой Ирина находилась, была родительской спальней. Та же двуспальная кровать, что при матери, та же медвежья шкура на полу. В детстве Ирина любила зарываться в нее лицом.

Опустившись на колени, девушка погладила шкуру.

Почему так грустно? И отца долго нет...

Ирина поднялась, вошла в свою комнату, включила свет и остановилась у зеркала. Конечно... Острые плечи, худая шея, ноги длиннющие.

— Ну и пусть, — сказала она со злостью. Приоткрыла ворот блузки. И сразу иным стало лицо, легкая улыбка пробежала по губам, осветила мрачноватые глаза, густо затененные ресницами. Но Ирина уже отвернулась от зеркала. Куда там, далеко ей до Галинки. Девчонка... Последнее время Сашка никакого внимания на нее не обращает. Он и не подозревает, что она знает каждый его шаг, знает его привычки и вкусы. С чаем он любит черный хлеб. Впрочем, что ему до этого? Он ведь ничего не знает. И не узнает ни за что.

Когда отец вернулся с совещания, девушка домывала пол. Вытирая пот с лица, подняла руку с засученным выше локтя рукавом, и Головин ласково поправил ее густые волосы.

— Ужинать будешь? — спросила Ирина.

— Нет, дочка, я сыт. Потом дашь мне чего-нибудь полегче.

— Ладно, папа, я сейчас кончу полы.

— Ты мне не мешаешь, Иринка. Как дела?

— Хорошо.

В голосе у нее прозвучала грусть, но он не заметил. День был слишком напряженный, Трофим Иванович продолжал мысленно спорить с Кузнецовым. Да, в свое время он, Головин, вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы за проект. Только не Кузнецову указывать: ему все равно, ни холодно, ни жарко.

Почти десять лет потеряно напрасно. Правда, написаны три исследования, одно из них, «О сроках созревания лиственницы и ели аянской в бассейне Игрень-реки», вызвало одобрение лесоводов. Но что это в сравнении с его замыслами? Капля... Ведь он ставил перед собой задачу практически связать лесопромышленные и лесовосстановительные функции, хотя бы в пределах своего леспромхоза. Чем больше жил, тем больше убеждался в своей правоте. Технические возможности человека растут день ото дня, развитие одной только химической промышленности требует невероятного количества древесины. А лес растет по своим, древним законам: восемьдесят — сто пятьдесят лет.

Вспомнилось море костров на лесосеках. На стене словно заплясали их отблески — мимо прошумел лесовоз.

Головин присел к столу.

Ирина застучала на кухне тарелками, затем опять наступила тишина.

40

Он выдвинул нижние ящики стола.

Папки... расчеты... пожелтевшая от времени бумага, исписанная, исчерканная. Недели, месяцы, годы жизни.

Из кухни доносились назойливые звуки капающей из рукомойника воды.

Нет, идти до конца: в этом смысл жизни. Бьют — иди, больно — рычи, но иди по-прежнему, не останавливайся. Особенно наглядно показал это прошедший день. Нужно добиваться официального признания своей правоты. Тогда никто не посмеет вот так, как сегодня. Почкин просто недалекий человек — дальше своего носа не хочет видеть.

Вошла Ирина и поставила на стол молоко.

— Спасибо, дочка.

Он задержался взглядом на ее руке. В долгие часы работы над проектом она маленькой девочкой подкрадывалась сзади, карабкалась на кресло и обхватывала его тонкими смуглыми ручонками за шею. Потом, чуть повзрослев, всегда увязывалась с ним в тайгу...

— Ну что, папа? Как у тебя с этим инспектором?

— Все в порядке. Не беспокойся.

Она медлила, и он добавил озабоченно:

— Ничего, Иринка. Иди.

Он потер большим пальцем подбородок. Он не заметил как она ушла, беззвучно притворив дверь за собой. Он яростно чинил карандаш.

41

Длинны зимние вечера на севере, студены. В безветрие далеко слышно вокруг. Скрипнет снег, треснет от мороза дерево — все замрет, прислушиваясь, выжидая. В такие вечера не уследи — и мгновенно побелеет нос. На той неделе за поселком нашли человека. Когда укладывали на сани, звонко стукнуло, точно льдинка раскололась. Хва-

тил, бедняга, лишнего, забрел не туда, и поминай как звали.

В такие вечера тоскливо воют собаки и в острой жалости дрожат далекие звезды. То ли слыша горестный собачий лай, то ли ввиду своей одинокой участи. Люди счастливее звезд. У них теплые дома, у них живые заботы. Пожилые по вечерам режутся в домино, читают, спорят: в заваленный метровыми снегами поселок радио приносит вести с Большой земли. Есть что обсудить, о чем поспорить.

Через день кино. Зимними вечерами клуб — самое веселое место в поселке, сюда и старики частенько заглядывают. Интересно взглянуть на молодежь, вспомнить былое, бросить соседу снисходительно:

— Куда им... Вот в наше времечко...

И пойдет расписывать — о давнем, полузабытом.

Поселковые остряки состязаются здесь в остроумии. Мефодий Раскладушкин, покачивая корявым пальцем у носа собеседника, строит прогнозы насчет дальнейшего развития международных отношений, разглагольствует о врожденном коварстве женщин. Последние дни он усиленно уверяет всех, что генерал Франко кровный брат Гитлера. Мать одна, только отцы разные.

На этом Раскладушкин всегда обрывает, хотя дает понять, что его осведомленность простирается намного дальше.

Здесь же у крыльца вспыхивают иногда короткие яростные схватки на кулаках. Сойдутся — руки в карманах, глаз прищурен.

— Значит, так?

— Значит, так. А еще как?

— А вот так...

И в скулу — хрясь!

Но и противник не из робких. Покачнется слегка, прицелится неуловимо, и — бац! — хрустнет нос, нальется зловещей синью.

— Ах, сволочь! Уродовать?

— А як же? По головам тоби ходить?

Через полчаса идут мириться — один с раздувшейся скулой, второй — с носом набекрень. Клянутся друг другу в дружбе до гроба.

Разношерстен Игреньск-поселок, заброшенный от любого мало-мальски стоящего города не меньше чем на

пятьсот километров. Разномастен населяющий его люд. Раскладушкин — пензяк, бригадир трелевщиков Гринцевич — с Западной Украины, Глушко — с низовьев Волги. Есть корейцы, китайцы. Эти — с давних пор. Есть старожилы, деды которых были высланы за свой неуживчивый нрав «в места не столь отдаленные». Одним из них был и отец Головина.

Ирина знала: последние дни Александр часто приходит в клуб. Возможно поэтому, пришла и она сегодня с подругой. Александра не было. Играли в домино, читали, танцевали. У двери вокруг Раскладушкина — приготовившаяся захохотать толпа. В соседней комнате репетировал оркестр. Из нестройных, рассыпавшихся звуков выделился вдруг негромкий чистый голос скрипки, трепетный, одинокий.

Оркестр умолк. Скрипка продолжала говорить совсем человеческим голосом о жизни, которая пропадает даром, тратится напрасно, бесцельно. Голос рос, креп и вдруг оборвался.

Девушка вздохнула, она не могла вспомнить композитора.

Увидев Ирину, подошел Косачев, попросил разрешения, сел рядом и, поглядывая на танцующих, задумался. Четкий профиль, тонкие узкие пальцы. Даже у женщин Ирина не видела таких. Разве ему в лесу работать? Нет, определенно художник был ей не по душе с первого дня. С детства привыкшая к простым людям, к простому обращению, девушка инстинктивно сторонилась Косачева. Его утонченные манеры казались нарочитыми. Далеко отставленная тонкая кисть с сигаретой в затейливом мундштуке, аккуратный подрез на ногтях не вязались в ее представлении с понятием мужчины. Сдержанной, почти суровой Ирине казались легковесными его высказывания — слишком небрежно жонглировал он именами и терминами, слишком беззлобно судил обо всем на свете, что не касалось его картин.

Но его картины непреодолимо притягивали к себе Ирину, они раздвигали границы известного, они распахивали мир, полный движения и света. Часто во время уборки его комнаты девушка подолгу простаивала над подобранным с пола эскизом и приходила в себя только от стука входных дверей и стремительных шагов Косачева. Ирину больше всего поразил набросок полуобнаженной девушки на

фоне тропической зелени: сидела, подогнув ноги, опершись одной рукой о землю, и морские волны легко касались ее колен. Чуть запрокинув лицо, девушка глядела в море. В неподвижном тяжелом взгляде нерусских влажных глаз — невысказанное обещание, скрытая боль, — Ирина не могла долго глядеть в эти глаза. Странный человек Косачев. Непонятной становилась и истинная цель его приезда. Что это? Красивый жест перед столичными друзьями или здесь нечто серьезнее?

Ирине вспомнилось возвращение Косачева в первый день после работы. Он пришел с расцарапанными в кровь руками и долго отмывал их одеколоном. Заглянувший к нему перед ужином отец молча постоял в дверях и тихо притворил дверь: уронив голову на страницу альбома с первыми штрихами наброска, художник спал.

Между тем в клубе стало заметно оживление. Даже Раскладушкин прервал свой рассказ. В круг вошла Галинка-приемщица. Раскинула руки, приглашая, подлетела к художнику раз и другой. Попутно обожгла Ирину взглядом, отступила, пошла на поднявшегося Косачева грудью.

— А ну, москвич, покажи, чего стоишь!

У Ирины захолонуло сердце: разве с такой посоперничаешь? Из-под носа уведет, и вздохнуть не успеешь.

Косачев оглянулся по сторонам, пожал плечами. Ирина впервые увидела его усмешку, неторопливую и умную. Пригладив обеими руками волосы, он, к изумлению девушки, пошел. Да так, что самые заядлые поселковые плясуны рты раскрыли.

Залихватские переборы баяна, дробный частый перестук каблуков.

Александр вошел, когда пляска была в самом разгаре. За ним протиснулся Афоня Холостяк. Оба еле держались на ногах.

42

Ирина увидела Александра сразу. Вернее, почувствовала: она сидела спиной к двери.

И сразу смолк для нее шум.

Невысокий потолок. Люди. На лицах — восхищение. Стремителен темп танца. Галинка частила:

Ах, барыня, барыня,
Ты моя сударыня...

Но это уже не Галинка. Не та Галинка, какой ее знают в поселке. В плавных изгибах рук, в победной посадке головы, в осанке — и дерзость молодости, и беззастенчивый зов, и девичье лукавство, и страсть.

— Бес девка! — восхитился кто-то из зрителей.

— Смотри, смотри!

Галинка скромно потупилась, поплыла вокруг Косачева, близкая и недоступная, дразнящая. Вот-вот покорно опустятся руки, и все кончится, но всякий раз она ускользала, смущенно встряхивала головой.

На крылечке на моем
Ты ногою топни...

Взгляды танцующих прикованы друг к другу. Косачев на ходу сбросил пиджак, и зрители настроились еще теплее. Тонок, строен — совсем мальчишка на вид.

— Хороша пара! — выдохнул кто-то у двери — Эх, куда, куда вы улетели?

В какой-то момент все невольно почувствовали себя лишними в откровенном жадном порыве двух раскрывшихся друг перед другом сердец. Точно вздох прошел по залу. Александр растолкал людей, шагнул в круг и остановился перед отбивавшей чечетку Галинкой. Руки в мазуте — не умывался после работы, взгляд мутный. У Галинки со щек медленно сходил румянец, на лице четче вырисовывались брови. В глазах вызов. Темп танца все убыстрялся.

Та-та-та... та-та-та...

И вдруг все услышали тяжелое, хриплое:

— Ах ты... с-сука!

В следующий момент Ирина едва не вскрикнула. Почти незаметно взмахнула Галинка рукой — голова Александра откинулась. Из рассеченной губы поползла темная струйка.

— Сопляк! Пить не умеешь — не берись!

Баян пустил петуха и смолк. Молчание. И снова вздох:

— Как она его... а?

На глаза Ирины мучительно наворачивались слезы.

У двери рассерженно шумел Афоня Холостяк. Его с трудом вытолкнули. Пошатываясь, Александр бросился

к выходу. Перед ним расступились. Галинка, бледная и решительная, повернулась к баянисту:

— Что замолчал, Васенька? Сыграй повеселей какую? Где наше не пропадало!

Мир ты, мой мир, неоглядный, беспокойный. Плывут над тобой неисчислимые века... Шумят над тобой грозы и бури.

Много постиг человек — нет пределов его уму. Но иной раз заглянешь в душу, казалось, давно знакомого человека и отойдешь тихонько, смущенный и растерянный.

43

На душе — погано, а вокруг — пьяная красота. Александр таращил глаза. Все голубое: и мерцание снега, и заледеневшее в звездах небо, и ровная на диво дорога. Что за дьявол?

Александр брел наугад. Лицо горело — без шапки и рукавиц жарко. В голове бродил хмель — юноша впервые был пьян. Теперь больше от унижения, чем от спирта. Чертов Афоня. Уговорил отметить получку, нужно было сразу домой.

Поселок остался позади. По сторонам елки в звездных накидках. Ноги сами собой выписывают кренделя. Узка таежная дорога, тесно душе человека в девятнадцать лет. Рвануть бы на Марс... Прощай, Галинка! За что обидела?

Юноша остановился, потрогал распухшую губу. Прислушался. Жгло в груди. Как будто углей туда насыпали. Ни звука. Спит тайга — заколдован мир. Хорошо бы и самому так — лечь и уснуть... Разве не умолкают на зиму самые бурные реки? Север — это безмолвие. Зима здесь — покой. Спать, парень, спать...

Он засмеялся. Э-э, все равно ведь...

Покачнулся, мягко опустился на дорогу. И слышит: под снеговой шубой поет, ликуя, земля. Никаким морозам не добраться до укрытых в ней начал жизни.

Заслушался Александр... забылся.

Сотни, тысячи голосов и звуков. И среди них один, предостерегающий:

— Вставай, замерзнешь... Вставай!

Это голос Афони.

— Ты чего притопал? А, испугался. Не бойся, деньги целы, сам ведь отдал для сохранности, — отмахнулся Александр, силясь похлопать по карману и поднять голову. Но тут же уронил ее. — Спать...

Увидел цветущую сопку, стадо оленей и корячку с ребенком, прозрачную как слеза горную реку. И опять удивился невиданной красоте. Увидел мать, она пришла будить. Неужели утро и пора вставать?

— Сашка... Сашка!

Голос незнаком, в голосе — страх.

— Са-а-ашка!

Он с усилием открыл глаза. Ирина трясла его за плечи, старалась поднять, не могла и тихонько просила:

— Сашка! Вставай...

Ему удалось наконец справиться с непривычно тяжелой головой. Он поднялся и никак не мог понять, где находится и что случилось. И накипевшее за вечер зло сорвал на Ирине. Она не обиделась, лишь сказала:

— Дурак ты. Пойдем домой, тебе потом будет стыдно.

44

Пасмурное утро. На полу у приоткрытой двери огненные блики. Он догадался — топилась плита. Он встал, стараясь не глядеть на мать, умылся. Как в тумане припомнилось вчерашнее.

— Уеду я, мать...

Она уже знала: Александр понял сразу. Ставя на стол картошку и кетовую икру, Нина Федоровна вздохнула:

— Может, опохмелишься?

Стыдясь поднять голову, он упрямо повторил:

— Уеду... Стыдно... Люблю я ее.

Она опять вздохнула, опустила руку на его стриженый затылок. Александр почувствовал, как слегка вздрагивали ее пальцы, и не выдержал: поймал руку матери, прижался к ней губами.

— Дурачок, скажи спасибо Ирине. Замерз бы, сорок с лишним на улице. Можно ли так? Свет клином на ней не сошелся, на этой Гальке.

— Не знаю... Не могу без нее... Уедем отсюда, мам?

— Зачем? Горе ты мое... Подумай, Сашка, ну что ты говоришь?

Не шевелясь, Александр молча смотрел на светлевшее окно.

45

Головин не отпускал. На заявлении о расчете наложил размашистую резолюцию — отказать. Александр пришел к нему в кабинет и, положив заявление на стол, спросил:

— На каком основании, Трофим Иванович?

— Садись, Архипов. Поговорим.

— О чем?

Головин кивнул на стул.

— А ты не злись. — И слегка улыбнулся.

Помедлил и повторил:

— Не злись, ты на моих глазах вырос, я тебе не враг, Сашка. Садись, поговорим серьезно. Что за спешка? Просто не узнаю тебя.

Александр сел. Вот так наедине они не виделись уже давно. Головин искал сближения — юноша понимал. Накопившаяся за последнее время неприязнь давала себя знать — Александр никак не мог настроиться на откровенный разговор. Все доводы молча отметал и был похож на ощетинившегося волчонка. Вызывая к проводу диспетчера, Головин обдумывал, с какого боку подступиться к парню. Характерец... А раньше ему казалось, что он знает Александра хорошо. Впрочем, на самом деле так и было.

Густая плотная изморозь на окнах стушевывала резкий контраст между простоватыми стенами кабинета с отбитой кое-где штукатуркой и мягкой резной мебелью орехового дерева. Александр подивился этой обстановке, но спрашивать не стал.

Закончив разговор с диспетчером, Головин закурил, придвинул коробку юноше. Прежде чем взять папиросу, Александр помедлил. Продолжая прерванный телефонным звонком разговор, Головин сказал:

— Я тебя понимаю, пойми и ты меня. Государство, конечно, не пострадает, и сам ты отлично понимаешь, что суть в другом. Меня интересует твоя жизнь. Ты, верно, заметил, — я ищу откровенного разговора, ты все время избегаешь... Почему?

— Можно не отвечать?

— Опять же почему?

Александр отвел глаза в сторону.

Топилась печь. В комнате становилось теплее, и внутренние рамы начинали оттаивать.

В какой-то момент юноше стало неловко перед сидящим напротив большеголовым спокойным человеком. Чем, собственно, он виноват перед ним? Чего они не поделили с Головиным — человеком старше его, истоптавшим в жизни вдвое больше сапог, видевшим и знавшим тоже вдвое больше? И все же, когда Головин вновь заговорил, юноша, подчиняясь безотчетному чувству протеста против вмешательства в его жизнь и еще чему-то более сложному, не удержался:

— А вы мне пока не отчим, чтобы допрашивать, Трофим Иванович.

Удар в открытую и, как считал Александр, в самое больное место. Ничто не дрогнуло в лице Головина. Скупая усмешка, в глубине глаз — явное огорчение.

Александр встал. Сейчас не до тонкостей. Головин не шевелился. В вислых плечах и руках, тяжело опущенных на стол, что-то окаменелое.

— Сиди.

Встал, рывком, крепко растирая подбородок, прошелся по половице.

— Сиди... Говорить будем. По-мужски говорить будем, Сашка.

Отступать было поздно. Александр, нащупывая папиросы, вновь опустился на стул. Головин стоял к нему спиной, пристально рассматривал морозный рисунок на стекле. Молчал. В проталинку виднелась часть улицы. Над заваленными снегом крышами — дымы, у пекарни девушки в ватниках сгружали с машины кирпич. Трактор волок пучок бревен. Бежавшие следом мальчишки пристраивались прокатиться. Тракторист высунулся из кабины и погрозил. Мальчишки отстали. Привычная, как хлеб, картина.

Когда он впервые приехал сюда, ничего этого не было. Ему тогда сравнялось тридцать. Здесь была непролазная глухомань. Он вспомнил разговор в обкоме, ему, инженеру-энергетику, показали карту огромного северного края. Шла война. Головин только оправился после тяжелого ранения. Но война войной, а жизнь жизнью. Страна не могла ждать, нужно было осваивать

эту северную землю. Головин навсегда запомнил секретаря обкома — инвалида без руки, сжигаемого скоротечной чахоткой. Когда он отрывался от карты, Головин старался глядеть в сторону: немощное, обессиленное болезнью тело и неукротимая страсть борца в глубоко запавших, точно обугленных глазах. Подтачивающая тело смерть и неподвластное ей горение. Если Головин и колебался, сомневаясь в своих силах, то недолго. Исхудалый, длинный, как карандаш, палец секретаря обкома ползал по карте, по изгибам Игрень-реки, рассекающей весь этот обширный гористый край. Промышленным стройкам нужен лес, основные запасы которого сосредоточивались в верхнем и среднем течении реки.

«Примерно где-нибудь здесь», — указал секретарь обкома и поднял глаза от карты. Головину стало не по себе. Это почувствовал секретарь. Негромко, растягивая слова, слегка картавя, он посоветовал не брать пока семьи. Вот и все. Через месяц Головин высадил с баржи первую сотню рабочих в тайге на диком, необжитом месте. Густой свет костров дробился среди деревьев, обступивших палатки. Утром рухнула первая лиственница, часть рабочих, невзирая на уговоры Головина, уплыла назад.

И потом были неудачи, но та, первая, когда он не смог убедить, удержать, запомнилась навсегда.

Александр докурил папиросу, не нарушая молчания достал другую. Глубоко затягиваясь, стряхивал пепел в чугунную пепельницу и пытался обдумать происходящее, насильно приучить себя к мысли о неизбежном. Раньше мать была его собственностью, неосознанное чувство собственника продолжало жить в нем и теперь, когда он стал взрослым. Все это неминуемо должно произойти. И мать мучается... Может, из-за него?

Головин резко повернулся, и Александр увидел, что глаза у него добрые, грустные, а в опущенных крупных руках, в морщинах у рта — усталость.

— Люблю я твою мать, Сашка, — тихо сказал он, как бы сам себе. — И давно... Как же нам поступить теперь?

Александр глядел на папиросу. Такая откровенность обезоруживала.

— Это не мое дело, Трофим Иванович.

— Ты думаешь?

— Что мне думать... Я ведь по другому вопросу.

— Так...

Всю свою жизнь Головин был с людьми. Сотни, тысячи судеб. Пора, кажется, привыкнуть. Север в этом отношении особенно щедр. Край неоткрытых богатств, нехоженных троп, историческое средоточие сильных характеров. Многие искали здесь спасения от житейских бед, забвения от истощивших душу бурь. Издавна спешили сюда за славой и богатством, сюда несли избыток сил и надежд.

Страна все больше и больше обращала внимание на Север и Восток. Головин не дорос до ученого, как мечтал в молодости. Остался хозяйственником. По крайней мере он так считал. Когда года два назад его хотели послать на партийную учебу, отказался. Привык. Не хотелось оставлять мест, которым была отдана жизнь. Здесь выросла дочь, похоронена жена.

Сколько здесь было всего, если припомнить!.. Здесь родилась мечта... На всю жизнь... Иногда он закрывал глаза и видел широкие удобные дороги, светлые просторные поселки лесорубов, окультуренную тайгу, мощные комбинаты по переработке древесины. А люди? Всю жизнь он с людьми, казалось бы, должен появиться опыт. И все же что ни человек, то загадка.

Головин глядел на Александра. Отпустить, что ли? Но разве она останется... Единственный сын... И даже не это главное, удерживало другое: сам Александр. Головин знал его самолюбие. Разговор зашел слишком далеко, и оба понимали, что надо кончать. Головин вернулся к столу. Уже четко и деловито объяснив причину отказа недостатком рабочих, попросил Александра повременить до весны. И в самом конце, между прочим:

— Вчера Галине Стрепетовой расчет подписал, нельзя же всех распустить. Какой из меня тогда директор?

Александр не понял истинного смысла услышанного.

Кровь бросилась в голову. Смеяться вздумал... Нашел чем уколоть. Еле сдержался, чтобы не хлопнуть дверью, даже папиросы сломал в кармане.

— А я уверен, что скоро без директоров вообще обходиться будут.

— Любопытно.

Посмотрев на заявление, юноша сунул его в карман.

— Значит, до весны, говорите?

— Если не раздумаешь. Дождемся курсантов, потом пожалуйста. Но объясни, к чему ты о директорах?

К своему удивлению, Головин услышал глубоко продуманную теорию о переходе предприятий под коллективное руководство рабочих. Не предусматривалось ни одной руководящей должности, все должны были выполнять сами рабочие. Все строилось на сознании и доверии. Головин не смог скрыть изумления. Увлекшись, Александр предлагал, если на то пошло, проверить тут же, на практике. На одном из участков леспромхоза.

Забыв о предыдущем разговоре, Головин подсел ближе. Уязвимость многих положений стала сразу очевидна Головину. Но юноша открывался совершенно по-новому. Готовый драться за свое предложение, он напряженно следил за лицом директора. Обдумывая и взвешивая, тот медлил. Из приемной доносился стрекот машинки и сердитые голоса.

— Может, я вас задерживаю?

— Погоди, Архипов. Предложить необычный эксперимент еще не значит сделать. Понимаешь, то, что может пригодиться для одного участка леспромхоза или завода, может оказаться неприемлемым для страны в целом. Ты не учитываешь всей сложности промышленного хозяйства страны. Просто не знаешь его. А руководство этим хозяйством? Оно вырабатывалось веками практики.

— Все проще простого. Подбираются честные люди...

— Ага!

— Что?

— А нечестных куда девать? Ты не станешь отрицать, они есть у нас. Одним взмахом от них не избавишься.

— Не сразу всеобщая перестройка, Трофим Иванович. Постепенно, может быть в течение двадцати — тридцати лет. Да с вами разве сваришь кашу?

Александр глядел исподлобья. Он нарочно сказал дерзость, хотя и не ожидал, что Головин взорвется. А сейчас был даже рад, что вывел его из равновесия — директор стоял, опустив косоватые — одно выше другого — плечи, низко склонив лобастую голову. Глядел злыми

зрачками в упор. Как ни старался Александр выдержать его взгляд, все же моргнул, отвернулся. Успокаиваясь, Головин коротко выдохнул:

— Нахал ты, Сашка. На каком основании судишь?

— Я...

— Нет, судишь. Не уклоняйся! Это оружие труса, а не мужчины. Не согласен — бей прямо, не оглядывайся.

Они стояли друг против друга. Александр, взъерошенный, слегка растерянный, не знал, что ответить. Головин усмехнулся: «Мальчишка». Он опять напоминал загнанного в угол волчонка. В свое время Головин сам был похож на этого парня. Тоже мог ворваться в кабинет и, не обращая внимания на занятость или нежелание хозяина, часами доказывать правильность своей теории. В Александре было много от молодости — Головин неслышно вздохнул.

Александр не видел, как смягчилось сухощавое лицо директора, как исчезла из глаз злая усмешка. Александр ждал разноса, услышал другое.

— Все-таки мы с тобой подружимся, Сашка. Незачем тебе уезжать. Давай подумаем еще. И я, и ты...

Под конец разговора пришел начальник снабжения. Директор указал ему на стул глазами. Тот сел, но уже через несколько минут беспокойно заерзал, заморгал безволосыми веками.

Александр встал.

— Ладно, Трофим Иванович, я пойду.

— Хорошо, подумай, Архипов. Прошу тебя.

Александр вышел молча.

46

В этот вечер он заступил на работу с обеда. Заменявший его Афоня Холостяк с деланной неохотой вылез из кабины.

— Я думал, ты уже где-нибудь в Москве чаи распиваешь.

— Меньше думай. Как Косачев?

— Вроде бы ничего. Денька через два можно будет на самостоятельную переводить.

Думая о своем, Александр сказал:

— Послезавтра за горючим посылают. На базу в Средне-Игреньск. Два трактора пойдут.

— Я не поеду, отпрошусь. — Афоня похлопал затвердевшими рукавицами, посмотрел поверх головы Александра.

— Почему?

— Жинка опять с отчетом уехала. Малого не с кем оставить. Художника, может, возьмешь?

— Ладно, там посмотрим...

47

Вечером, возвращаясь с работы, Васильев долго наблюдал за игравшими ребятишками. Те сооружали снежную крепость.

Мальчики шмыгали носами, валили друг друга в снег. Проходившего мимо Александра атаковали градом снежков. Отбиваясь, Александр прокричал:

— Завтра уезжаю, Павлыч. В Средне-Игреньск, за горючим. Приходи, поужинаем вместе.

Его оборвал увесистый снежок, попавший в лоб. Васильев засмеялся:

— Как он тебя прицелил...

— Ловко. Пока, Павлыч, в контору заглянуть надо. Командировку получить.

Розовый закат охватывал горизонт. Мороз усиливался. Надвигался вечер.

Васильев проводил прямую высокую фигуру Александра взглядом. Ему не хотелось возвращаться в пустой, настывший за день дом. Ему представилось, как он будет чистить картошку, растапливать плиту, потом одиноко сидеть за столом.

По дороге начинали ползти белые змейки снега. Они причудливо переплетались, завивались в сложные, переливающиеся узоры. «Метель будет, — подумал Васильев, глубоко вдыхая сухой от мороза воздух. — Не сегодня и не завтра... Но долгая, затяжная...»

Вздохнул и тихонько пошел по самой середине улицы. Все куда-то спешат, все торопятся. И только в нем все то же чувство гнетущей неподвижности, безразличия. Было похоже на застоявшуюся годами воду перед плотиной. Ни шороха, ни дуновения ветерка. Безжизненная, застывшая поверхность. Ни птица на нее не опустится, ни рыба не шевельнет.

Он долго и недоверчиво разглядывал сжатый кулак.

Но так и не мог понять, откуда и почему ворвалось в него мучительное желание: ударить в эту тишь.

Прошедшая мимо женщина с ведрами на коромысле поздоровалась, но он не ответил и спохватился, когда она отошла.

48

Буря застала трактористов на обратном пути из Средне-Игреньска.

Встречные порывы ветра несли тучи снега. То и дело останавливая трактор, Александр счищал снег со стекол кабины ладонями. Косачев помогал.

По расчетам Александра, должны были вот-вот подъехать к Жохману — незамерзавшей речонке, на всем протяжении которой били горячие ключи. Там можно было остановиться. Выспаться и переждать, пока стихнет метель.

Второй трактор шел следом. Время от времени оборачиваясь, Александр видел свет его фонарей. Издали он казался светлым мокрым пятном, и на его фоне было особенно заметно, как сильна метель. Косачев дремал. Часы показывали одиннадцать. Значит, прошло семнадцать часов с тех пор, как выехали с базы. Александру иногда казалось, что неделя, а то и месяц. Метель, густая сетка мечущегося снега, придавала всему вокруг расплывчатость. Свет фар через силу отвоевывал три—четыре метра, он казался штопором, натужно ввинчивающимся в снежную замять. Дорога шла по густой тайге, и только это не позволяло сбиться в сторону. Часто на повороте величественная ель показывала иссиня-темную изнанку пригнувшихся под тяжестью снега лап. Иногда перед самым радиатором возникал облепленный снегом пень. Александр останавливал трактор, будил Косачева. Проваливаясь в сугробах, они с трудом нащупывали дорогу.

Александр считал, что давно пора бы уже подъехать к Жохману, но они по-прежнему петляли по тайге. Наконец, когда он потерял терпение и хотел остановиться, чтобы дождаться второго трактора, луч фары уперся в отвесную скалу.

«Ага... Жохман...» — с облегчением вздохнул он, расправляя затекшие плечи. Осторожно обогнув скалу, остановился, переключил двигатель на малые обороты. Косачев сразу проснулся:

— Приехали?

— Вылезай... Пойдем избушку отыскивать.

— Это где Сердечный ключ?

— Другого жилья здесь нет. Да ты, вероятно, и влюблен, полечим тебя маленько, — засмеялся Александр, вспоминая Галинку и защищая лицо от крутившего за скалой ветра. Косачев прокричал, что с больной головы всегда валят на здоровую.

Подъехал второй трактор. Чертыхаясь, из кабины вывалился Анищенко. Приблизив лицо к Александру, клацнул зубами.

— Есть хочу, старшой. Почему на обед не остановился? Или прикажешь мне питаться одними песнями?

— Ладно, прикрой сопло. Ты же знаешь, что в леспромхозе ни капли бензина не осталось, тебя бы заставить вручную пилить.

— Заливай. Кто в такую погоду работать будет?

Разминаясь, они увесисто потолкали друг друга в бока, проверили, опорожнились ли радиаторы, и всей гурьбой отправились отыскивать жилье. От ветра их защищала темная высокая, массивная скала, но снегу в затишь навалило чуть ли не в два метра. Пока добирались до избушки, Косачев ухитрился несколько раз провалиться с головой, и его извлекали из рыхлых наносов, как снежную куропатку. Освободив общими усилиями дверь избушки от наметенного сугроба, ввалились внутрь, в лицо сразу ударил теплый, серный запах. Как будто в избушке долго жгли спички, но это ощущение вскоре притупилось, а затем совсем исчезло.

Александр поднял над головой фонарь. Все в избушке было как неделю тому назад, во время их первой ночевки по пути на базу. Те же общие нары из жердей, тот же прокопченный дымом бревенчатый потолок. У печурки грудка дров, на столе старая консервная банка. Так же побулькивал за перегородкой источник; несмотря на шум ветра, журчание воды слышалось совершенно отчетливо. После непроглядной метели, холодного, сухого ветра, рева моторов, еще гудевшего в ушах, это нежное журчание казалось чудом. И трактористы долго прислушивались, стараясь не шевелиться.

Косачев думал о Москве, о своих поисках и спорах с друзьями. Его считали талантливым, но кто знает, что такое талант? Портреты, акварельки — душа требовала дру-

гого. А где его найти? И теперь нашел ли? Все равно ведь ничего не получается, все, что он пишет, — это временное, а он стремился к тому, что осталось бы. Может, и на этот раз он идет ложным путем? Все принесено в жертву, даже Москва, она так часто снится.

Прерывая его мысли, Александр с грохотом бросил мерзлую сумку с продуктами на сбитый из досок стол.

— Ладно, давай устраиваться. Выкупаемся, поедим и спать. Еще сто километров, изрядный кусочек. Не стесняйся, Мишка, зарази нас комсомольским примером. Без него холодновато.

— Нашел чучело, — проворчал Анищенко, стаскивая шапку и с нескрываемым наслаждением расчесывая свалявшиеся волосы.

49

Анищенко растопил печурку, поставил на огонь чайник. Избушка медленно нагревалась. Поеживаясь, все трое разделись догола и, прихватив фонарь, ушли за перегородку, где из-под большого камня выбивался горячий ключ. Сливаясь в естественное углубление в почве, вымощенное камнем, вода образовывала небольшое, дымящееся паром озерко. Излишек воды уходил в каменистую щель под стеной избушки.

Александр осторожно попробовал воду ногой, ахнул с наслаждением, попятился назад.

— Горяча... Смотри, Мишка, сваришься.

Тот с интересом, оценивающе оглядел Александра.

— Ерунда. У тебя и вариться нечему: кожа да кости. Вот уж не в коня корм.

Высоко поднимая ноги, шагнул в воду, присел, и, тотчас подскочив, плеснул на Александра. Вскоре они лежали в воде все трое, пыхтя, терли друг другу спины. Чувствовали, как уходит усталость, и только Косачева слегка замутило.

Ужинали оживленные, посвежевшие, ели много, и Александр стал с опаской посматривать на мешок с продуктами. Вместе с усталостью прошел и сон. Александр беспокоился: не случилось бы поломки. Помощи в таком случае ждать не приходится.

А дома больная мать. Перед отъездом она, конечно, уверяла: все обойдется, ей уже лучше. Ведь и при вверну-

ла всего денек. На его просьбу сходить в больницу все отговаривалась, и он под конец поверил. Но сейчас, неизвестно почему, шевельнулась тревога: Александр ясно представил лицо матери с запавшими глазами, с нездоровым румянцем. Нужно было отказаться, не ехать.

Рядом на нарах устраивался на ночь Анищенко, и Александр слегка отодвинулся. Тревога все увеличивалась. Вой ветра над избушкой стал громче. Теперь, когда в избушке слышался лишь плеск воды за перегородкой, особенно ощущалась сила разыгравшейся метели. Постепенно начинало казаться: нет ничего, кроме беспрерывно бушующего снежного океана. Снег. Ветер. И больше ничего. Ни земли. Ни людей. Снег и ветер.

Анищенко встал покурить, сел к столу, с удовольствием выпустил густую струю дыма и сказал:

— Знаете, ребята, почему ключ называется Сердечным?

Устраиваясь удобнее, Александр ответил:

— Чего тут знать... целительная вода для сердечников. Кажется, источник не совсем исследован.

— Ха! У тебя ни капли фантазии. Не обследован? — Анищенко говорил с превосходством взрослого человека над мальчишкой. — Ничего вы, ребята, не знаете. Хотите расскажу, история что надо, такую не сразу выдумаешь.

Не дожидаясь согласия, притушил папиросу, откинулся на спину, глядя в потолок, начал:

— В прошлом году встретился я с одним человеком, с охотником местным. В тайге, помню, осенью, уже снежок пропархивал.

Александр не слушал. Думал о своем. О разговоре с Головиным, о Галинке. Уехала, даже не попрощалась. Говорят, с дороги прислала письмо матери. Сложная все-таки штука — жизнь. Хочешь сделать что-нибудь — тысячи «нельзя». Может быть, подготовиться да рвануть в институт?

И Васильев то же говорит вон ведь, помощь предлагал... Если аккуратно вести — за глаза хватит. Да еще если со стипендией...

Обидел ведь старика тогда, пусть он виду не подал, а все равно обиделся. Вот Галинка уехала, и пусто, так пусто... Только об этом никто не узнает. К чему? Да и первая острота уже прошла. Если убедить Головина попробовать с участком, ребят подобрать: Мишка прямо-таки бре-

дит этой идеей. А потом... Нет, Васильев, может, и прав по-своему. Институт... Может, он останется всего-навсего простым рабочим, трактористом. А потом, попозже попробует учиться дальше.

Он поймал себя на мысли, что никогда об этом не задумывался серьезно. Интересно... Но опять же мать... Кому она нужна, кроме него, сына? Головин? Жена хороша здоровая. Вспомнился натужный кашель матери.

Косачев приподнялся с лежанки. Заинтересовался рассказом Анищенко. Тоже вот человек. Ничего не скажешь, талантлив. Александр видел его картины. И зачем его занесло сюда? Слушает... О чем Мишка рассказать может?

Но постепенно сам заслушался. Речь шла о любви, о снежной зиме. Ясно представилось, как белобородый январь свирепо тряс над тайгой метелями, как со звоном лопался от мороза голубой лед на Игрень-реке, а сонные медведи сердито поворачивались с боку на бок в своих берлогах, видели голодные сны и тихонько повизгивали. Пятьсот километров шел влюбленный юноша по тайге в метель совсем один — как далекий огонь влекла парня любовь. Но девушка уже полюбила другого, напрасно проделан бесконечный мучительный путь. А может, она испугалась его жаркой любви — огня, в котором непременно сгоришь. Или было у нее бедное сердце? Возможно, и это. Все возможно, только потом была минута тишины. Юноша повернулся и вышел, девушка побежала вслед за ним.

— Погоди! Куда ты в ночь? Не хочешь переночевать — возьми что-нибудь в дорогу. Погоди, я вынесу тебе хлеба!

Он не оглянулся. Любовь требует или все, или ничего. Она не терпит подачек. И когда в предвечерней мгле исчезла фигура юноши, сжалось девичье сердце в тяжелом предчувствии.

Но было поздно, ушел гость в метель, потонул в лохматых потоках снега.

50

Анищенко рассказывал неторопливо, весь преобразившись, — Александр не узнавал всегда тихого, часто застенчивого товарища. Мишка как-то хотел поговорить с ним о Галинке. Но с первых слов Александра сбился со строгого тона, с любопытством школьника спросил: «Зна-

чит, у вас все по-настоящему?» Он напоминал выросшего не по годам ребенка, и Александр не мог удержаться и не прихвастнуть. Сейчас Анищенко рассказывал легенду, но вой метели, черные стены избушки придавали ей достоверность. Косачев забыл о папиросе.

Если раньше вела юношу любовь, то теперь он не знал, куда идти и зачем? Час тянулся за часом, он все сильнее чувствовал: не утихает сердце и любит еще сильнее. Ему казалось теперь, что не сердце в груди, а жаркий костер. Он останавливался, глотал пригоршнями холодный хрустящий снег, подставлял обнаженную грудь ветру. Напрасно. Три дня хохотала над ним метель. «Теперь ты мой, никуда тебе не уйти, — слышалось ему в завывании вьюги. — Обовью тебя длинными косами. Мягка и пушиста моя постель — навею на тебя чудесные сны, никому тебя не отдам. Ты мой, влюбленный безумец, я твоя невеста и твоя госпожа! Ты — мо-о-ой!»

А юноша все шел и шел. Только на четвертые сутки остановился он у большой черной скалы. В лохмотья превратились его торбаса[1], он уже не чувствовал собственного тела. Когда перед ним выросла отвесная скала, даже не подумал достать кукуль[2]. Сел с наветренной стороны, тесно прижался к застывшему камню. Заплясали вокруг него снежные вихри, задрожала скала под ударами ветра, начал расти сугроб. Стих визг и грохот, где-то далеко зазвучала песня, и были ее слова нежны и непонятны. Зажал юноша уши. Знал, что нельзя слушать дурманящий мотив. Знал — нужно встать. Стряхнуть с себя оцепенение, закричать. Не смог. Не подчинялось измученное тело, ослаб разум, убаюканный песней. Увидел юноша: стоит перед ним длинноволосая девушка, тянется к нему белыми руками. Но холодны ее поцелуи, цепки объятия. «Ты мой, — уговаривает далекий и ясный голос. — От моей любви не уйдешь. Унесу тебя в свою страну. Там нет людей, там нет страданий. Мой! Мой!»

Снова попытался юноша встать. Возмутилось в нем уснувшее мужество, в последний раз прилила к сердцу сила.

«Нет, — сказал он, и скала отозвалась согласным эхом. — Нет. Ты — обман. Не хочу тебя, отстань, уйди».

---

[1] Торбаса — меховые сапоги.
[2] Кукуль — спальный мешок.

Но мраморные руки сжимались, сковывали его все сильнее. И тоскливо закричал юноша. Пошатнулась от его крика скала, отпрянула далеко в стороны вьюга, и долго звенела над тайгой внезапная тишина. А когда вновь закружилась вокруг скалы седая метель, человек исчез. На том месте, где он сидел, бил из скалы горячий ключ, разливалось голубым пламенем озеро. Хотела вьюга засыпать ключ, заковать в ледяное кольцо, но бессильной оказалась ее злоба. Падая в воду, каждая снежинка превращалась в крохотный багряный цветок, и там, где таял снег, начинала зеленеть трава.

Прошло несколько месяцев, и молва о горячем ключе у Медведь-скалы разнеслась далеко вокруг. Говорили, что его воды исцеляют неизлечимое: неразделенную любовь. Достаточно один раз искупаться в источнике, чтобы обновилась душа у человека: забывал он прошлое, и раскрывалось его сердце навстречу новой любви. Говорили еще о приходившей к Медведь-скале чернобровой девушке из Унгура. Два года она разыскивала любимого человека и нигде не могла найти. Когда подошла она к Медведь-скале и разделась, вода вдруг забурлила, взметнулась метра на два, и девушка в страхе вскрикнула. Говорили, что увидела она того, кого искала. Но в следующее мгновение окатило ее с головы до ног теплой водой, и опять спокойно заструился ключ, лишь цветы на дне его почернели и начали сворачивать свои листья. Девушка ушла успокоенная, с исцеленным сердцем. Но с тех пор не цветут цветы у Медведь-скалы, и каждый месяц, в тот самый день, когда у скалы появилась девушка из Унгура, ключ начинает бурлить, вода взлетает выше человеческого роста и в белых струях четко вырисовывается тонкая юношеская фигура. Люди прозвали ключ у Медведь-скалы Сердечным ключом. И стали приходить к нему из разных мест...

51

В избушке стояла тишина. Негромко журчала вода. Александр вздохнул.

— Ты, Мишка, поэт... А хорошо бы на самом деле — искупался и здоров. Красивая сказка, в жизни не так.

— Что ты понимаешь в жизни?

— Ничего, Мишка. Не больше тебя, не меньше. Признайся, о ком думал, когда рассказывал?

В его вопросе не было обидного, но Анищенко обозвал Александра пошляком.

— Я вижу в женщине не физику, а эстетику, — решительно сказал Анищенко, и Косачев, неловко затянувшись, закашлялся.

— Грамотный, — проронил Александр небрежно.

— Я не трачу свое время, как некоторые остальные, — спокойно возразил Анищенко.

«Остальные» поняли, кому адресовалось. Александр равнодушно перевернулся на другой бок.

Косачев ждал продолжения, его не последовало.

Художник устал за дорогу, одолевала дремота, но он долго не засыпал. Любовь всегда была предметом искусства, и как по-разному! Каждый из великих воплощал в теме любви свою боль и скорбь — получались шедевры. Вспомнилась «Вирсавия» Рубенса, «Влюбленные» Пикассо. Еще мальчишкой потряс его Пикассо беспощадным реализмом чувства и условностью формы. Собственно, с той поры, неосознанно, он стремился схватить в своих работах такое сочетание, и форма давалась. Вещи его броски. На выставках около них всегда толпа, всегда споры. Он быстро входил в моду, но сам чувствовал: в его работах не хватало живой страсти. Он злился, пренебрежительно поддакивал. Говорили о восходящем даровании, о новом направлении. «Ложь! Ложь!» — думал он и у себя в студии беспощадно сдирал начатые холсты.

Взвинченный, выходил на улицу, часто далеко за полночь. Бродил по пустынным гулким набережным Москвы-реки. Приходили рассветы. Первые лучи солнца золотили купола и бойницы Кремля. Оживали громады мостов, просторы улиц и площадей. Он любил не похожие ни на что другое зори Москвы. Забрел однажды на Казанский вокзал. Густой воздух огромных залов дрожал от гула голосов. Плакали дети. Морщинистый одноглазый старик с темным пятном кожаной повязки на лице азартно разрывал темными и сильными руками сухую воблу, и единственный его глаз смотрел весело, с добрецой. Мужчина лет сорока с растрепанной русой головой спал, склонившись на потрепанный чемодан. Чуть в стороне молоденькая лоточница заворачивала горячие пирожки в промасленную бумагу высокому, плутовато щурившемуся матросу. Но большинство спало. Ноги, руки, лица, полуоткрытые рты, где-то в далеком углу пиликала гармоника.

Косачев медленно шел по узкому проходу, и никто из многих сотен людей не обращал на него внимания. Здоровая баба с огромным чайником кипятка сильно толкнула его локтем вбок и недовольно обозвала растяпой. И Косачев растерянно остановился. Вот этой России он не знал. Она занималась своими неотложными делами, и ей не было никакого дела до метаний и поисков Косачева. В первый раз в жизни он смотрел на людей растерянно, и в голове назойливо вертелась мысль о России. Вот она — многоголосая, большая, близкая и незнакомая... Что он знает о ней, даже о такой, частицу которой увидел сейчас? Она и без него была и останется Россией.

Косачев лежал и думал. Над крышей — вьюга, после холода дороги было непривычно тепло. Конечно, сила идей и образов, сущность вещей — в ясности воплощения.

Повернувшись к стене, он толкнул коленом Александра. Тот слегка отодвинулся, что-то спросил, но художник уже не слышал. Александр поправил свернутую телогрейку под головой и закрыл глаза. Уставшему, промерзшему в дороге хорошо знать, что над ним надежная крыша. Вон как Анищенко рассопелся, прямо — самовар. А в углу — обросшая копотью борода из мха. Скажи ты, совсем как настоящая. И огарок свечи, маленький древний огонь.

Александр спал, легко и ровно дыша.

52

Бушевала метель и над Игреньском.

Как только Головин вышел, Нина Федоровна выключила свет. Домик вздрагивал под ударами бури.

Пятые сутки буря. Сегодня она достигла дикой силы. Недомогание не проходило: болела голова, ломило ноги — сказывался нажитый в годы войны ревматизм. Вторую неделю сына не было дома. Тоскливая пустота в квартире угнетала. На Севере можно ожидать чего угодно. Правда, за горючим ушло два трактора, но кто знает. Все, что оставалось у нее в жизни, — это сын.

Женщина присела у окна и, раздумывая над словами Головина, улыбнулась тихо и скорбно... Чудак... Можно ли в тридцать семь лет начинать все сызнова? Большой, добрый чудак... Пришло время, и она сказала себе: люблю. Но он не узнает.

Нина Федоровна сама не заметила, когда с ее души

начала слезать скверна прошлого. Она дорого заплатила за последнюю невольную радость — не приведи господь кому-нибудь так расплачиваться. Головин — хороший человек. Но он мужчина и не поймет. Она все равно не сможет рассказать всего. А расскажи, наверное, не простит. И к чему? Пусть думает о ней, как хочет. Солгать она не сможет, взвалить на него правду о себе — ненужная жестокость.

Ветер бросал в окна снежные комья, а тайга, начинавшаяся прямо у окна, трещала, стонала, охала.

Женщина была измучена бессонницей, недомоганием. Все чаще повторялись приступы кашля. Она подносила ко рту платок и долго рассматривала на нем густые пятна. Об этом тоже никто не знал. И сын не знал. Сыновья редко бывают внимательны. По крайней мере к матерям. Может быть, так лучше, так нужно...

Первые признаки кровохарканья появились полгода назад: еле заметные красноватые радужные нити. Она испуганно оглядывалась. Пройдет. И потом — не все ли равно? С каждым годом все сильнее охватывало безразличие ко всему на свете. И — усталость. Она уставала, едва-едва встав с постели. И сегодня, открыв глаза, она подумала, стоит ли вставать. Сына не было, на работу не идти, в постели так уютно слушать, как бьется в окна слепая вьюга. И утро слепое, и жизнь мутная, слепая, господи, как все быстро прошло, как нелепо все, непохоже на других!

Она лежала, зябко укутавшись до самого подбородка. В комнате медленно светало, тени отступали. Начинали яснее проступать предметы. Стол, шкаф, на стене единственная картина — репродукция Левитана «Над вечным покоем». За перегородкой у Александра невыключенное с вечера радио бодро приглашало на зарядку, обещая чуть ли не сотню лет жизни. «Хорошо бы плиту истопить...»— подумала Нина Федоровна и осталась лежать. К радио она привыкла и почти не слышала его. Встала ближе к обеду, весь день ходила неприкаянно. В комнате было жарко натоплено, но вой бури создавал ощущение холода. Женщине представлялась ночная тайга, снежное пространство, охваченное бурей. И не было людей, была одна тайга, глухая, холодная. И был один человек, а человек этот — она.

Потом она вспомнила, что еще не все сделала. Надо

доделать: уж слишком плохо она себя чувствовала. Хорошо, что не было сына, когда пришла эта посылка. Наследство... Мать выполнила обещание — ни разу не написала.

Нина Федоровна хрустнула пальцами. Она вычеркнула мать из жизни. По-своему та ведь хотела дочери счастья. «Нормальный человек разве враг себе? Все мы патриоты, пока выгодно». А ей самой было всего восемнадцать. Она прошла сквозь ад немецких концлагерей и еще больше ожесточилась. Об этом никто не знает. Даже сын, он так и родился бы в концлагере, если бы не партизаны, освободившие ее тогда вместе с другими заключенными. Головин как-то рассказывал о концлагере на Висле — она слушала со спокойным лицом. А было время — приходили мысли о смерти. Особенно сначала. Удерживал сын. Проклятье и оправдание ее жизни. Она сделала все, чтобы он стал человеком. Александр ничего не знал о своей бабке. Больше десяти лет и Нина Федоровна ничего о ней не знала. Не хотела знать. Нет, не было прощения. Не было жалости. Такие, как мать, не имеют права на жалость. Старуха так и не сумела ничего понять. Доказательство — ее неожиданная посылка, собранная перед смертью, жалкая, злобная месть, жестокое напоминание. И вложенное в посылку письмо оттуда, из Западной Германии. Никакие черти его не взяли, от суда своих увернулся и там прижился. Письмо пришло совсем недавно, всего полгода назад. Таких и земля не берет. Мерзавец, мерзавец... Ему интересно, кто родился, живы ли. Ах, какой мерзавец!..

Нина Федоровна выдвинула из-под кровати ящик. Отыскала небольшой сверток. Ей показалось, что в дверь постучали. Она сунула сверток за пузуху, выпрямилась, прислушалась. Никого.

Поглядела на чучело белки над дверью: Саша сделал его в шестом классе. Скорее бы он приезжал!

Она прошла в комнату сына и вернулась назад с книгой. Сергей Есенин в редком издании на тонкой папиросной бумаге — Васильев очень дорожил ею.

Нина Федоровна подвинула стул к дышавшей теплом плите, раскрыла книгу. Когда садилась, потемнело в глазах. Последние дни это случалось часто — она привыкла.

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем.

Женщина широко открыла глаза, беззвучно прошептала:

Жизнь не совсем обманула...

Нина Федоровна уронила книгу на колени. Ей было сейчас уютно и хорошо. Она вдруг увидела себя маленькой девочкой, с торчавшими в сторону косичками, в коротеньком платьице, с голыми чистыми коленками, и слабо улыбнулась.

Мало в жизни их было — счастливых дней. Кроме детства, нечего и вспомнить. Да еще Сашка.

Ей стало грустно. Она вспомнила беспредельный ночной океан — пришлось-таки увидеть. Она не любила ненастья и сжалась еще больше. Домик вздрагивал, его захлестывал ветер. Словно волны: одна за другой, одна за другой. Подымется с шуршанием, ударит глухо и отхлынет назад. Вот ведь дурацкая погода какая.

Жизнь не совсем обманула...

Потрескивал огонь в плите, жарко приплясывали языки пламени, они делали ее думы еще горше.

Начинало слегка покалывать в груди — первые слабые признаки кашля.

Женщина одернула платье на коленях, притихла, съежилась. Сын? Сын теперь вырос. Он на своих ногах. Она забыла, что он в дороге, ей показалось, что он рядом, — стоит позвать, и он войдет. Но не хотелось.

Она не заметила, как наступила полночь. Дрова прогорели, и красноватые угли медленно затягивались серым пеплом. Пришел сон. Она проснулась очень скоро — угли в плите еще не погасли. Она прислушалась к себе. И так ясно вдруг почувствовала, что именно должно произойти, неотвратимо должно произойти... сейчас... сейчас...

Холод сковал ноги — она их не чувствовала. Холод поднимался выше. Нина Федоровна застегнула ворот платья. Страха не было. Всей жизнью этот момент был подготовлен. Маленькая, растерянная, она торопливо покусывала губы и все поправляла на себе платье. Голоса, звуки, лица. Прошлое ожило, окружило, обступило ее со всех сторон, оно не было забыто, оно лишь дремало до поры, чтобы выплеснуться сейчас в вихре воспоминаний. Тяжелый и долгий приступ кашля словно взорвал память, и все ветры смешались, и все двери распахнулись.

«Суд идет! Суд идет! Суд идет!»

— Я не виновата,— прошептала она, хватаясь за больную грудь. — Не виновата.

Нина Федоровна глядела перед собой полными ужаса глазами, она пыталась сопротивляться и, сломленная силой, во много раз большей, затихла и ждала. О н о приближалось, и женщина собрала все свое мужество, чтобы встретить лицом к лицу и не показать страха, о н о приближалось — безжалостное и неотвратимое.

Суд начался, и никого не было в комнате, кроме нее. Она была одна — сама себе судья и обвиняемая. Нина Федоровна допрашивала и отвечала. Два дела совершила она за свои тридцать семь лет. Дала жизнь одному человеку, второго — пыталась убить.

«Суд идет!»

Нина Федоровна хотела сказать, что судить ее не за что — никому она не сделала зла. Она подняла руки, точно защищаясь.

Но он пришел к ней из тьмы. И Нина Федоровна поняла, что в жизни ничего не прощается. То, что она всегда стремилась вырвать из памяти, пришло, и Нина Федоровна еще раз пережила муку своей юности. Промозглую осень сорок первого года, недельные бомбежки, развалины города, неприбранные разбухшие трупы по сторонам дороги. Толпы немецких солдат, хмельных от успеха. Ночи, полные страха и обреченности, облавы, ругань с матерью — недалекой женщиной, знавшей толк в одежде и ничего не понимавшей в происходящем. Вот тогда и вломился в ее жизнь этот человек, самоуверенный с беззащитными, угодливый с сильными. Он не исчезал, не уходил.

— Господи, что за мука? — прошептала она почти бессознательно. — Оставь меня, проклятый, оставь...

Он глядел на нее остановившимися глазами, и она почувствовала, что должна убить его. Теперь она не промахнется, не ударит мимо. Тогда она испугалась крови и добить не смогла. И сколько мучалась потом и жалела, сколько выстрадала в концлагере, куда ее бросили! А он служил потом у немцев в полиции, бежал с ними и дослужился до офицера. Нет, теперь она не промахнется, она не может промахнуться. Ради сына. Нельзя чтобы он узнал. В ее руке оказалась та же его финка с наборной кос-

тяной ручкой. И тогда, в первый раз, он спал. Теперь смотрел прямо на нее — ей мешал этот пристальный взгляд. Может быть, он ее любил. В числе сотен, попавших в облаву, он спас именно ее, укрыл в своем доме. Но потом, когда она стала сопротивляться, он поступил так, как поступал всегда в таких случаях. Ведь он потратился из-за нее, такие, как он, не бросают денег на ветер. Задыхаясь от омерзения и боли, она навсегда возненавидела его. Он не отстал от нее и после. Невероятно цепкий, осторожный, как ласка, он сумел поставить себя так, что оказался где-то посредине между немцами и русскими, оказался вне борьбы. Мать настаивала: он умный человек, он умеет ладить со всеми, сумеет и защитить. И старше всего на десять лет, и никогда не впутывается в опасное дело. И фамилия хорошая — Котов, и звать — Степа. Открыл кафе и прав. Ей было все равно: привычные основы жизни рухнули.

Под тяжестью повешенных скрипели виселицы на площадях города. Листовки кровоточили ненавистью. По ночам, близкие и далекие, переглядывались зарева. Как-то, спасаясь от пьяного офицера, она заскочила в единственное в городе кафе, его кафе под дурацким названием «Идеал». Немец вошел за нею. И двадцативосьмилетний верзила с огромными ручищами, силу которых она отлично знала, угодливо сгибался перед офицером с бутылкой коньяку, что-то говорил, смеялся дребезжащим смешком, приказав ей сесть к немцу за столик, пригрозив биржей. «Не съест же он тебя», — запомнилось ей в тот момент.

Она села. Немец напился, заснул прямо за столом. Она вернулась домой затемно, прошла к кровати и легла навзничь, не раздеваясь. Подошедшая с расспросами мать попятилась от ее взгляда. «Какие же все вы подлые, — сказала она матери. — Вас надо просто убивать».

Мать отодвинулась, перекрестилась.

— Опомнись, сумасшедшая!

— Я опомнилась. Теперь я опомнилась...

Мать крестила ее, подавала воду, суетилась, но сама она больше не разжимала губ.

— Не подходи, — сказала она в ту ночь пьяному Котову, готовая умереть, но не допустить его к себе. И опять, как тогда, в первый раз, ее смяла животная сила. Потом он, не обращая на нее внимания, сыто шутил, а она тяжело лежала рядом и от ненависти не могла шевельнуться. Он

сопел, ворочался, бормотал и под конец заплакал пьяными слезами:

— Пропала Россия... Продали, сволочи, Россию...

«Мерзавец, мерзавец, — думала она. — И откуда ты взялся на мою голову?»

— Суд идет!

Кончалась последняя минута — дальше нельзя было оттягивать. Котов спал с открытыми глазами. «Скорее!» — приказала она себе и откинула одеяло. У него была обросшая рыжей шерстью ключица. Порыв бури заставил вздрогнуть дом — женщина кожей почувствовала ветер.

Торопясь, Нина Федоровна занесла руку.

«Скорее!»

У нее вырвался из горла хриплый и непонятный звук, но крика не получилось.

Забыла... Забыла... Нужно было еще что-то сделать.

Медленно приподнялась отекшая, в синих венах рука, нащупала, достала из-за пазухи сверток.

Угли еще не погасли.

Она успела положить сверток на угли, и потом все перед ней покачнулось, завертелось, поплыло, и незрячие большие глаза стали медленно тускнеть.

На нее хлынул удивительно ясный свет, и боль исчезла. Одним усилием она выскользнула из давящей оболочки. Стремительная и легкая, как в молодости, она шла цветущим весенним полем, и горы вдали синели, и небо голубело, и высокие травы холодили ноги росой. И потом вдали прокатился гул. Он был похож на раскат далекого грома. Она подняла голову, прислушалась. Гул замер.

«Сын!»

Она схватилась за грудь. Рванулась. Чернело, угасало небо.

«Сын!» — рухнуло на нее. Сама себя не помня, оседая на землю, она закричала:

— Саша-а!

Последним проблеском сознания она услышала свой голос. Ей показалось — порыв бури вынес окно; свет, тьма — все смешалось, вспыхнуло.

Она умерла в одиночестве, и некому было крикнуть: люди, умерла мать! У нее была тяжелая судьба и страшная ночь. В такие ночи нельзя оставаться одному. Люди, почему вас никого нет?

53

И прошла ночь. С прежней силой громыхала снежная буря, ослепшая земля неслась в бесконечность лет, и все на ней шло своим чередом.

Маленький, маленький поселок — Игреньск. На карте ни за что не отыщешь. Немногие знали о поселке Игреньск в большой тайге. В поселке жили охотники и лесорубы, они много работали и честно ели свой хлеб. Никого этим не удивишь — на земле многие едят хлеб честно. И поэтому им иногда бывает некогда. Никто в поселке Игреньск не заметил, что над домом Архиповых нет дыма. Ни утром, ни днем.

Прошел и короткий зимний день, как бессчетное число других.

Головин, зайдя вечером к соседке с твердым намерением довести разговор до конца и оборвав «можно?» в самом начале, отшатнулся, затем подошел ближе.

В комнате стыл вечерний сумрак, холодный январский, вползавший в дома с трех часов дня.

Головин упал на колени. Запрокинутое лицо Архиповой было спокойно и бледно. Он взял в руки ее ладони, прижал их к лицу. Застывшие, маленькие, они не хотели теплеть. Он глядел на них с отчаянием и надеждой. Ему казалось, что немного — и они шевельнутся.

Его внимание привлек остро выдвинутый вперед подбородок умершей. Не отрывая от него взгляда, он поднялся, слегка попятился. Наткнувшись спиной на стену, потер лоб рукой, чувствуя, что больше не может владеть собой.

Все прежнее в его жизни отступило, поблекло в сравнении с этой утратой. Он только теперь начинал понимать, как он любил. Но не верил по-прежнему. За что? Есть предел и человеческим силам.

Он заставил себя оторваться от стены. Перенес умершую на кровать, опустился рядом на стул. Подумал, что нужно прикрыть ей лицо, но только подумал. Не хватало сил двинуться с места. Вспомнился глуховатый кашель соседки. Вот и все. Вот и кончилось. Само собой — ничего не надо договаривать, объяснять.

Он грузно походил по комнате, сильнее обычного перекашивая плечи. Он не знал, что делать. Кричать? Звать на помощь? Вспомнилась война, трупы, погибшие друзья.

Окопы, блиндажи. Друзья и враги. Боль и ненависть. Лагерфюрер фон Зонненберг, Штиберг, Кранц, Кригер, особенно Кригер — помощник начальника концлагеря. У этого ангельской свежести лицо, ослепительная улыбка. Лагерь на Висле — два порядка дощатых приземистых бараков, осень сорок второго, мутные, сизые волны, уносящие трупы к последнему прибежищу — Балтийскому морю. Они проплывали мимо круглосуточно, и офицеры концлагеря тренировались на них в стрельбе из пистолетов.

Усилием воли Головин остановил себя — он умел не вспоминать. К чему? Ничего ведь общего с этой неожиданной смертью. Он взглянул на то, что от нее осталось. Не уберег... Нет, не уберег. Все могло быть иначе... Чуть-чуть внимания, и все могло быть иначе.

Не отрываясь, Головин смотрел на Архипову и опять видел осеннюю Вислу. Слышал ночной рев Рижского залива, по берегу которого они метались в поисках лодки после побега из концлагеря. Их было пятеро; трое, обессилев, остались среди ржавой осенней тьмы, они умерли на глазах, один за другим, едва успев хлебнуть неласкового ветра с моря.

Головин встал, опять сел. В окна хлестала вьюга. Суров, очень суров был новый шестидесятый год.

Пустота большой холодной комнаты. Неподвижность длинного, прикрытого простыней тела. Нужно растопить плиту, позвать людей. Александр приедет, а ее уже не будет.

Он вспомнил ее взгляд исподлобья, несмелую, точно гаснущую улыбку. Последнее время он часто говорил с ней о тайге, о своей работе, своих мечтах — слишком накипело за годы одиночества. Она тонко чувствовала и могла понять его настроение. Но всегда терялась и как-то сникала, когда он брал ее руку и начинал говорить о зеленых городах будущего. Вот только теперь до него дошел смысл сказанного ею однажды. Что мир — тоже тайга, только более дремучая. Что люди в ней как деревья. Одни развиваются в полную силу и гордо шумят под солнцем, здоровые, стойкие, другие гибнут в бурю в самом начале, третьи гниют на корню всю жизнь.

Он твердо знал, что человек живет по другим законам, и не обратил тогда внимания на ее слова.

Горькая улыбка тронула его губы.

Сейчас он подумал о жене, она родила ему дочь, но

его рано начала тяготить ее слепая привязанность, почти животная, — ведь понять его она так и не смогла. Не стала другом, отсюда и отчуждение, не раз доходившее до разрыва. Она никогда с ним не спорила, но в душе осуждала — он был уверен. И за то, что он, инженер-энергетик, похоронил себя в глуши, и за неумение ладить с начальством. Она болела за дела мужа, но по-своему, неслышно плакала, тихо сморкалась и, пряча мокрые глаза, виновато улыбалась. Не хочешь неприятностей, не лезь на рожон, все равно ничего не получится. Когда в пятьдесят первом провалился проект, она совсем опустила руки. Но и тогда ничего не сказала, хотя каждую минуту он ощущал на себе ее виноватый покорный взгляд.

Головин ты, Головин!

Он встал, большой и бессильный сейчас, и уставился в чистый, выскобленный пол. Его пугала неумолимость собственной мысли, он вспоминал то, чего не хотел. Он видел незамечаемое раньше. Обшарпанный обметок веника в углу. Вымытую, аккуратно расставленную посуду на полке. Прикрытую чистой салфеткой тарелку с хлебом — она прикрыла.

Головин прислушался, к нему словно вернулся пропавший слух. Кто-то пел низким страстным голосом. Головин медленно оглядел комнату, осторожно ступая, прошел за перегородку и в недоумении остановился перед репродуктором. Головин слышал, но не мог вникнуть в суть слов. Он их не понимал. Очевидно, передача местного радио — странная, непонятная песня:

У девушки с острова Пасхи
Съели любовника тигры.
Ах, съели любовника,
Злого чиновника
Тигры
В саду
Под бананом!

Головин никогда не слышал песни непонятнее и глупее. Нужно было выключить, но он дослушал до конца и только потом вынул вилку из штепселя.

Девушка стала мамашей,
И тигры давно облысели...

Какая-то чепуха, он, кажется, повторил назойливый мотив.

Головин судорожно сжал кулаки и с внезапной дикой яростью закричал:

— Чушь! Слышите, чушь! Тигры не могут лысеть, черт бы вас побрал!

А потом отупело сидел на кровати Александра.

54

Нину Федоровну Архипову похоронили только на четвертый день. Хотели дождаться Александра.

Васильев, заслоняясь от колючей поземки, поставил в изголовье что-то вроде невысокого обелиска из лиственницы — тяжелого крепкого дерева. И только благодаря этому Александр нашел через неделю заваленную снегом могилу матери.





Это небо — твое!
Это небо — мое!
Пусть недаром я гордым слыву!

А. Блок.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Прошлое уходит по-разному. Бывает, что с кровью и болью. Но чаще всего — незаметно. Как отживший лист дерева — сорвало, унесло безоглядно. Была грусть, и радость была... Бегут облака: они никогда не возвращаются на одно и то же место. Но будут проплывать другие, будет новая грусть, новые радости.

С необозримых океанских просторов дохнуло весной, заголубели сопки, завздыхали, сбрасывая лед, заворочались реки — весна! весна!

Рухнули дороги. Просыпаясь, дико ревели тощие медведи. Все ярче светило солнце.

2

У людей — хлопоты. Мефодий Раскладушкин был полон мрачных предчувствий, ходил хмурый, правда, пока ничего не произошло.

Иван Шамотько ремонтировал лесовоз и ждал дочь. Второго сына не хотел. Головин вылетел с последним самолетом в область. Добиваться новой техники. За зиму

у него прибавилось седых волос на голове и морщин на лице. Что ж... возвращаться ему придется по реке, на катере. Поселковые кумушки качали головами: пришло времечко. Оставил дочь-невесту вдвоем с чужим парнем и хоть бы в затылке почесал. Кто знает, что за человек этот художник? Да и чего знать? Ведь несколько месяцев двадцативосьмилетний парень, здоровый, живет в поселке и ни к одной девке не подходит. Дело ясное, чего тут...

Ирина, отмахиваясь от чересчур любопытных соседок, готовилась к выпускным экзаменам. Загромоздив комнату огромным холстом, Косачев все свободное от работы время писал. Галина Стрепетова жила где-то в Днепропетровске.

В начале апреля Александру стукнуло двадцать.

Это событие отметили. Пришли вечером свободные от работы молодые шоферы, трактористы, чокеровщики. Иван Шамотько — с гармошкой, с поллитровкой в кармане. Женщин не было, на двух столах, сдвинутых вместе, — графин с разведенным спиртом, стаканы, вскрытые консервы. Выпили по первой, стоя плотно вокруг стола.

— Жить тебе до ста десяти!

— Иметь двенадцать дочерей!

— Стать министром лесной промышленности!

Афоня деловито зацепил масло, придвинул к себе тарелку с мясом, задорно оглянулся.

— Любит попить да поесть рабочий человек в наш исторический век. Налегает понемножку на нож да на ложку, а тот, кто глуп, на собственный пуп.

— Хорош соловей...

— Этого песнями не прокормишь.

— За столом хорош, в работе пригож.

— Работник из тебя, как из меня музыкант, Афоня.

— Рубь длиннее — жизнь короче, — вскидывал Холостяк глаза. —А кто этого хочет?

— Хватит, Афоня! Надоел хуже гнуса. Був бы при начальстве такой речистый. Говорят, ты вчера с Роботом деляну обмеривал?

— Я? — Афоня подсунулся под самый локоть Шамотько. Тот скосил темный блестящий глаз.

— Ты... И еще с этим... Кузнецовым.

Александр, третий день стоявший на ремонте, переспросил:

— Кузнецов опять здесь?

— Туточки. Промеряют чего-сь. Робот кругом его вьется, директора немае...

— Это элементарно нечестно! — Анищенко с силой пригладил и без того послушные, мягкие волосы. — Ну Почкин недаром Роботом зовется, а от Кузнецова я не ждал: воспользоваться отсутствием Головина. Все равно Трофим Иванович свое докажет. Зря ты, Афоня, стараешься.

— А я что? Мне наряд в зубы — и давай. Кузнецов что-то насчет собрания говорил. Он меня выспрашивал. Вы, говорит, Афанасий Иванович, как думаете?

— Афанасий Иванович? — Шамотько прикрыл усы ладонью.

Большие уши Афони пылали.

— Хохол безмозглый! Кузнецов — культурный человек. Он любого уважит. А ты — дубина неотесанная. Знаешь свою баранку и верти.

— Хватит вам...

Но Афоня наступал:

— У тебя же практического смысла ни на грош. Дочку вон хочешь. А что девка? Дрожи потом, чтоб не притащила в подоле. Сын, если принесет, то в кармане.

Шамотько невозмутимо осведомился:

— И чего вы, Афанасий Иванович, теряетесь? Пора с Почкиным блат заиметь. У него, я бачу, давно думка — директором стать. А тебя в заместители. Так?

Афоня не успел огрызнуться — все засмеялись. Анищенко стукнул кружкой:

— К черту Робота. Новорожденному Александру, для девочек — Сашеньке, а для нас — примерному трактористу, кто что припас — выкладывай.

Освободили на столе место, раздвинули стаканы и банки. Галстук, бритва, связка детских сосок, книги, набор гаечных ключей и отверток, губная гармошка в инкрустированном футляре. Афоня Холостяк деловито отвернул полу пиджака, извлек килограммовый пакет, опрокинул его над столом. На кучу подарков, звеня и переливаясь, хлынула струя мелочи. Иван Шамотько попробовал одну из монет на зуб, шевеля ноздрями, свирепо уставился на Афоню.

— Ребята, фальшивки!

Афоню подхватили на руки и выставили за дверь.

Он тут же вернулся с таинственным видом:

— Хлопцы! Тш-ш! Есть сообщение. За нами слежка... Замечен неприятель...

— Ну...

— Бабы!

Заслоняясь от света, прильнули к окнам. Александр остался у стола, рядом с Шамотько и Косачевым. Пламя свечей гнулось, чадило, тени на стенах шевелились — уродливые и большие.

Кто-то предложил пригласить женщин. На него зашикали:

— Отставить!

Афоня стал деловито завешивать окна. Было весело и неуютно. Александра сейчас раздражал шум, наспех, неумело собранный стол. День рождения они всегда отмечали с матерью. С нею был дом, очаг, выходя на улицу, о нем не думаешь, но к нему всегда возвращаешься, чтобы согреться. Теперь Александра встречали пустые холодные стены.

Не раздеваясь, он садился на ее табурет в кухне, а потом уходил к ребятам в общежитие. На днях приснился незнакомый город, горбатые, мощенные булыжником улицы, развалины зданий, взрывы, искаженное болью лицо матери. Все мелькнуло и исчезло, — он проснулся, только часто билось сердце. Когда-то было — он не сомневался. Но когда? Где? Спросить было не у кого. После смерти матери он сразу почувствовал, что почти ничего не знает о ней.

Неожиданная смерть потрясла. Он вспомнил, как шел по глубокому снегу к кладбищу, вспомнил жестокий мороз, звонкое стеклянное небо и пустоту в голове. Деревянный памятник на могиле был занесен снегом — сиротливо чернела затесанная, залитая застывшей смолой верхушка. Александр долго глядел на нее. И это все, что осталось. Было странное чувство недоверия и нереальности. Незаметная, молчаливая женщина, мать, тепло ее рук, несмелые ласки, долгие зимние вечера, их чаепития втроем с Васильевым, и опять она. Но не лицо, а руки. Он не мог представить ее всю, не мог вспомнить самого главного. «За что? За что, мама?» И говорил себе, что он мерзавец, эгоист, ничего не замечал, был занят собой, а рядом угасал человек, самый дорогой и близкий. И угас.

Сейчас остроты уже не было, но чувство вины не проходило. Почему он не нашел дороги к ее сердцу? Почему

так и не узнал ничего об отце? Мама ты, мама, неужели бы он не понял? Что бы там ни было в твоей жизни — не ему, сыну, осуждать. Но как поздно... Слишком поздно. А теперь гадай, какой огонь сжег?

Александр окинул взглядом стол, лица друзей. Ему хотелось освободиться от своих мыслей. Хотелось стряхнуть с себя груз прошедшей зимы. Нужно жить проще. Разве только ты виноват в случившемся? Самое главное — не оставаться одному. Ты не один.

И ребята собрались ради него. Шамотько с Афоней хочется выпить. Косачев из любопытства. И все же получается ерунда. Свечи — затея Анищенко, словно хоронят кого.

Черти...

Но они шумели, не обращали на именинника никакого внимания. Шамотько доказывал Косачеву на клочке промасленной бумаги преимущество бензомоторных автомобилей перед газогенераторами. Анищенко пиликал на губной гармошке. Афоня озабоченно рылся в книжном шкафу.

Александр подошел к нему.

— Ты что?

— А вот...

Афоня подал Александру увесистую пачку:

— Читать буду.

Александр с трудом удержал улыбку. Среди книг — «Житие протопопа Аввакума», «Театральный Париж сегодня». Афоня серьезен. Александр спросил:

— Протопоп-то зачем тебе, Афоня? Да нет, я ничего, бери. Только не потеряй, книга не моя — Васильева.

В окошко постучали. Анищенко сдернул одеяло.

— Балуются девки.

3

Выпив по последней, отправились в клуб. Киносеанс уже начался. На экране красные банты, цемент, энтузиазм. Снова героизм первых пятилеток, снова пафос военных лет. Не одно поколение ими воспитано, а время не стоит на месте, вносит в жизнь все новое и новое. Хотелось разобраться в том, что происходит именно сейчас.

Александр выбрался из прокуренного зала на улицу, распахнул полушубок. С берега тянуло сыростью, слышался шум ледохода на Игрень-реке. Александр думал об уви-

денном фильме. Ровесники века. Головин... Васильев. Два человека, две судьбы, две разные дороги. Павлыч сегодня отказался прийти... «Не хочу среди молодежи трухлявым пнем сидеть. Сашка». Может, обиделся за отказ жить вместе у него после смерти матери? Сторонится, молчит... Ведь именно после смерти матери Васильев как-то особенно заметно постарел.

На деревьях набухали почки. Из них потом разнесутся по земле семена жизни. Жадные, они будут цепляться за каждый клочок земли. Неужели уже ничто не заинтересует Васильева, не заставит его светло улыбнуться? И последний спор... Не тронь, не тревожь, дай дожить по-своему, как сложилось. И себя ведь старается обмануть, говорит одно, а в глазах другое. И делает другое.

Из этого противоречия Александр пока не находил выхода. И злился то на себя, то на Васильева, много раз решал не думать больше и опять думал.

4

Александр вышел на берег. Нащупал камень и швырнул его в реку. Всплеска не услышал. Ветер стих, и тайга тяжело молчала. Река под скалой переливалась тусклой чешуей. Проплывавшие мимо редкие льдины были похожи на громадные подтаявшие сахарные головы.

Александр вздохнул, повел плечами и опять швырнул в реку камень. Эх, да ну его к черту! Все равно не заснуть.

Весна... Бурлили, спешили яркие весенние дни.

По северному таежному краю шла весна. Ярко сыпала цветами; светлели реки, разгорались сопки багульником. Случилось что-то и с Александром. Словно проснулась оцепеневшая за долгую зиму душа. Вздохнула радостно, недоуменно. Растяпа! Да что же ты спишь, когда все вокруг цветет и ликует?

Вздохнула душа, и отозвался мир. Светлый, радостный, чистый. Словно нет бесконечно усталых глаз Васильева, словно никогда не взрывались атомные бомбы и смерть никогда не уносила людей.

Жадно, по-звериному ноздри втянули смолистый воздух, ярко, по-молодому заиграли глаза.

5

И не думал, а встретил. Под вечер, возвращаясь с работы веселый и голодный. Вернее, она сама его встретила и сказала:

— Дома тебя не было — вот телеграмму принесли, я расписалась.

У Александра в глазах погас блеск, сдержанно протянул руку, сдержанно ответил:

— Спасибо. Интересно, откуда бы это?

Оказалось, от Генки Калинина, просил взаймы тысячу рублей.

Александр усмехнулся. Генка всегда отличался широкими запросами. Ясно, прогорел, придется с получки помочь.

Он поднял голову. Ирина стояла рядом. Не ушла почему-то, и Александр пробормотал:

— От Генки Калинина. Так, ерунда.

Он сунул телеграмму в верхний карман комбинезона, из которого торчал плоский гаечный ключ. Заметив ее взгляд, добавил:

— Все на ремонте стоим, запчастей нет. Что отец, скоро? Он там по этому вопросу должен хлопотать.

Александра подмывало спросить о многом. В конце концов, после того как он, пьяный, едва не замерз на дороге, а Ирина приволокла его домой, не мог же он не испытывать к ней просто чувства благодарности. Он посмотрел на свои руки. Грязные, в ссадинах. Глянул вдоль улицы. Несколько человек стояло у магазина, Гринцевич колол у своего домика дрова, высоко и сильно взмахивая топором. У конторы леспромхоза Раскладушкин копался у пожарного щита — летом пожарнику всегда прибавлялось работы. Увидел Александр тайгу, далекие сопки с белыми снежными вершинами. А мысленно увидел еще дальше — года два назад он проехал по Игрень-реке до самого устья, до океана. Тогда была осень — время бурь. На берег наползали огромные, как горы, волны, достающие до самых туч. Сейчас он представил другой океан. Залитый солнцем, ленивый. Тихий. Четыре долгих месяца после смерти матери юноша жил, ничем не интересуясь, ничему не радуясь. И вдруг проснулся. И солнце увидел, и океан, и неприступное высокомерие сопок. Увидел Ирину. Он знал работу, лесовоз, трактор, вывезенные стрелеванные кубометры, обеды у костров, не газетная романтика — труд.

Ирина все не уходила. Он поднял глаза, и неожиданная мысль заставила его сжать губы. Черт... Косачев-то... Вдвоем все время.

Он едва удержался, чтобы не спросить, и вовремя прикусил язык. Он волновался — Ирина видела. Вздрогнули ресницы. Если бы знать, к счастью или так, просто минута такая?

— Ну ладно, — сказала она тихо. — Пойду.

— Подожди, — остановил он, желая, чтобы она ушла, и боясь этого. — Как у тебя с экзаменами?

— Хорошо. Завтра последний.

— Поздравляю...

Он глядел так, что ей сделалось весело и страшно.

— Да, — отозвалась она и вдруг озорно прочитала:

Уж я не мальчик — уж над губой
Могу свой ус я защипнуть;
Я важен, как старик беззубый;
Вы слышите мой голос грубый,
Попробуй кто меня толкнуть.

Александр, любуясь ею, не находил слов и спросил:

— Пушкин?

— Он.

Проходивший мимо Анищенко взмахнул промасленной телогрейкой:

— Салют!

Они молча кивнули ему. Они не хотели, чтобы он подходил сейчас.

— Как ты теперь живешь? Трудно, поди, хозяйничать? — спросила она, отмечая про себя грязный ворот его рубахи, оторванную верхнюю пуговицу.

Он пренебрежительно отмахнулся:

— Ну, это ерунда... У меня железное расписание. По субботам — мытье полов, по воскресеньям — стирка.

— Бедный...

Они понимающе улыбнулись друг другу, посмотрели на Раскладушкина и опять улыбнулись, как заговорщики. И дальше, в продолжение всего разговора оставалось ощущение, что они двое знают такое, о чем другие даже не догадываются. Разошлись с твердой уверенностью в скорой встрече. Ничего не было сказано, ничего не произошло. Но позже, когда светло-лиловый вечер накрыл поселок и в таежных дебрях звонко отзывалось эхо, Александр пришел к Головиным. На нем был лучший костюм, серый, чис-

тая плохо выглаженная рубашка. Косачев и Ирина ужинали, и юноша почувствовал себя неловко. Вырядился...

Ирина пригласила его к столу. Сам себе удивляясь, он поблагодарил, отказался и попросил взаймы соли.

— Понимаешь, сварил суп, а посолить нечем.

Косачев придвинул к себе тарелку. Засмеялся:

— Куда это годится, старшой? Жениться надо. Пора.

— Бр-р...

Александр передернул плечами. Девушка молча протянула ему пакетик соли. В комнате, уютной и светлой, золотились слегка обои, в темных глазах Ирины, на смуглой коже играл тот же золотистый оттенок. Александр опустил пакетик в карман. Пахло гороховым супом, весело потрескивала печь, цветастый фартук туго обтягивал фигуру Ирины. Александру не хотелось уходить. Когда Ирина вторично пригласила к столу, он сел. Суп был вкусен. На второе Ирина подала жареную медвежатину с моченой черемшой. Придвинула к Александру черный хлеб, поймала его взгляд и сказала:

— Ешь... Ты же любишь.

Ловко действуя ножом и вилкой, Косачев положил кусок в рот, удивленно присвистнул:

— Не блюдо — азиатская фантазия.

Александр привык опекать его на работе, привык, несмотря на молодость, чувствовать себя старшим. Бывали минуты, когда юноша даже покрикивал на своего чокеровщика, тот ни разу не вспылил. Вначале Александр отнес это за счет характера, потом понял — выдержка. Увидел однажды, как сжались у художника кулаки — он неудачно зацепил лесину, — и услышал ядовитую ругань Афони Холостяка.

Их отношения строились трудно. Художник был человеком из другого мира, и прежде чем о нем сложилось мнение как о простом, свойском парне, Александр долго приглядывался. Все чаще завязывались между ними откровенные разговоры. Александр узнавал чужую жизнь. Он твердо стоял на своем: великие таланты не расцветают в глуши. И сейчас он доказывал, горячился.

— А Ломоносов, Саша, а Шевченко, а Есенин? — спросила Ирина.

— Ты берешь исключения из правила. И потом, Есенин объездил все европейские столицы, Шевченко жил в Петербурге. О Ломоносове и говорить нечего. Мало ли кто

откуда родом! Творец, художник должен много знать. К сожалению, ценности мировой культуры сосредоточены в немногих местах.

— Иначе, наверное, и нельзя. Но мне думается, в искусстве установленных канонов не бывает.

— Ты просто не понимаешь меня. Или я не могу выразить. Для таланта важен не местный колорит, не отдельно взятая область жизни, а концентрированный дух эпохи. Где сильнее всего кипение умов, борьба течений? Где? Не здесь же, среди лесорубов.

— Мне помнится, ты раньше думал иначе, — опять возразила Ирина.

— Я, я, — рассердился он. — Я просто человек, мы говорим о таланте.

— Когда талант существует отдельно от человека, — упрямо сдвинула брови Ирина, — он перестает быть талантом. И потом, ты нечестно споришь. Помнишь, схватку «физиков» и «лириков» в «Комсомолке»? Спорили вообще о поэзии, а подразумевалась, по-моему, плохая.

— Так, Ирина, умница, — Косачев легонько сжал смуглую кисть девушки. — Вы оба по-своему правы.

Александр насупился. Все время на протяжении разговора он чувствовал на себе темные глаза Ирины и слегка волновался. Сейчас она внимательно смотрела на художника, будто сравнивала. Александр резко поднялся и чуть не опрокинул стул. Он старался проследить за ходом мыслей Косачева. Вникнуть в их суть, что было не так просто. Косачев знал намного больше: Александр убедился в одном из разговоров о природе абстракционизма. Косачев начал с пещерных рисунков и дошел до самых модных западных течений в живописи.

Он объяснял их скудостью, растлением духа, неверием в человека, страхом перед будущим.

— Забросать грязью можно и «Сикстинскую мадонну», — сердито сказал он. — Мир искусства сложен, необъятен, Сашка, абстракционизм не сразу поймешь. Возможно, это распад во времени... и несомненно его корни глубже, чем ты думаешь. Я думаю, что это все-таки недоношенный ребенок.

6

Художник держался всегда просто, дружески, ничем не показывая своего превосходства. По ранее оброненным

Александром фразам Косачем догадывался, что Ирина небезразлична трактористу. И теперь он искоса наблюдал за ними.

Александр почувствовал это, недовольно шевельнул плечом, чуть повернул голову. Их взгляды встретились. И Александр вдруг ясно ощутил, что перед ним действительно человек открытой души, что он наблюдатель, не больше. Напряженность, ревность исчезли. Он сразу стал мягче. Про себя облегченно вздохнула Ирина. Косачев, поднявшись из-за стола, сказал:

— Спасибо, Ирина. Обед замечательный. Безоговорочно подписываю аттестат зрелости. Ты, бригадир, не против?

— Конечно нет. Что за разговор?

Она уловила его напряженный взгляд, беззлобную усмешку художника, сердито отмахнулась:

— Ну вас совсем, мне экзамен сдавать завтра...

7

Река играла белой пеной. Воскресенье. Солнце ласково пригревало лица. Косачев рисовал, низко склонившись над альбомом, и Александр с Ириной были одни во всем мире, совсем одни. По крайней мере им так казалось. Ее только что поздравляли с аттестатом зрелости. Александр заметил в ее глазах тревожную задумчивость. Будущее представлялось неопределенно. Как река. Куда унесет? Где прибьет к берегу?

По мальчишеской привычке Александр бросил камень. Всплеснулось далеко. Он откинулся на спину. Ирина видела его большие, сильные ноги в поношенных кирзовых сапогах, в лицо взглянуть не решалась.

Два дня назад все шло по-другому, и только небо было таким же ясным и безоблачным. Но Александр был для нее недосягаем, лишь издали она могла глядеть на него. Теперь он рядом. Его желание все время быть вместе ощутимо.

Не поворачивая головы, она чувствовала: Александр смотрит на нее.

Сдернув косынку — прямые волосы блестящей мягкой гривой упали на плечи, — она сбежала к самой воде, за скалу, туда, где не был виден художник.

Шумела река. Лилась широкой полосой к западу, в но-

знакомые дали. Крупная морская чайка стремительно и косо рассекала воздух. Сияющими глазами следила девушка за ее полетом, всем своим существом ощущая: он рядом. Она чувствовала его дыхание. Она медленно повернулась. Александр увидел ее лицо и глаза ее увидел, глаза, в которых отражались таинственные тени реки.

— Саша, Саша... — сказала она тихо.

Из поднебесья метнулась к воде чайка, и над рекой резко прозвучал ее гортанный крик.

8

В Игреньском леспромхозе, как и обычно весной, шли подготовительные работы. Очищались старые лесосеки, сжигались порубочные остатки. В тайге, сырой, ветреной, с густыми проплешинами ноздреватого снега, полыхали огромные костры. Готовились под рубку новые массивы, убирались зависшие деревья, прокладывались новые дороги — они уходили в тайгу все дальше и дальше от поселка. Шоферы и трактористы ремонтировали свои машины — готовились к летней трелевке и вывозке, ждали, пока просохнут дороги.

Подновлялись мосты и настилы, проложенные по топким местам.

Бригада Васильева, временно усиленная чекеровщиками, корчевала ус в глубь Чертова Языка. Этот узкий участок тайги с запасом в полмиллиона кубометров древесины глубоко вклинился в непролазные топи Гнилой тундры. Он намечался к зимней вырубке.

Бригада собиралась утром у гаража, возле диспетчерской. Ровно в семь выходили; Афоня Холостяк беззлобно переругивался напоследок с Александром, проходившим к этому времени в мастерские. Холостяк никак не мог привыкнуть к новой работе, возмущался густотой леса на Чертовом Языке. Догоняя Косачева и глядя в сутулую спину шагавшего впереди Васильева, он уныло разглагольствовал о человеческой несправедливости, о завышенной норме корчевки и грозился поднять этот вопрос на первом же рабочем собрании. При этом Афоня часто поддергивал спадавшие отвороты резиновых сапог — они были велики — и обиженно шмыгал носом.

До Чертова Языка было километров пять. Чтобы уменьшить расстояние, ходили напрямик. Через старые лесосе-

ки, мимо оставленных, гниющих на корню столетних лиственниц, и Холостяк, перешагивая через коряжины, скорбно изрекал, что дерево больное, как и человек, никому не нужно.

С непривычки для чокеровщиков работа была тяжелой, Афоня и Косачев быстро уставали. Афоня часто разгибался, смахивал с лица пот и, выждав, когда умолкала пила, кричал Васильеву:

— Бригадир, покурить пора!

Ответа, как правило, не было, пила начинала стрекотать вновь, и Афоня ворчал:

— Медведь чертов... И куда торопится? Все равно все деньги не загребет.

Как-то один из старых рабочих бригады Васильева возразил:

— Помолчал бы ты, болтун. Тебе деньги не нужны разве? У тебя вон семья. А ему зачем?

— К старости и начинают жадничать. Вторую неделю без перекуров жмет. По сто рублей поденка, не меньше, и все мало. Что ему? Тыркнул пилой — и дальше.

— Дубина. Привык мерять на свой аршин. А то не подумал, что скоро комар пойдет, будешь мокнуть в куртках. Давай тащи вагу, нечего размазывать.

Выигрывая время для отдыха, Афоня не сдавался. Вытягивая губы, посасывал быстро исчезавший окурок, продолжал ворчать — он любил настоять на своем.

— Что, Афоня, жила слаба? Так тебя не держат, катись из бригады. Старику только заикнись — рад будет.

— Знаю, с тех пор как я его из-за пьянства на собрании пропесочил, он меня терпеть не может.

— Старика мы лучше твоего знаем. Давай вагу, Афоня, а то и вправду наладим.

— Черти... Все вы тут куркули!

Афоня поднимал вагу и тащил ее к очередному дереву, не переставая ворчать и переругиваться. Иногда он переключался на Косачева, и тот с вежливым невозмутимым видом выслушивал до самого вечера пространные рассуждения о некоторых белоручках, похожих больше на барышень, чем на мужчин, которым от нечего делать приходит в голову разная блажь вроде поездки в тайгу или в иное какое место курам на смех.

9

Работа была однообразна и тяжела. Утром сбрасывали куртки, разбирали лопаты и топоры. К обеду все были оголены до пояса, голодны, молниеносно уничтожали копченую колбасу и хлеб. Насытившись, Афоня обычно добрел и просил у Васильева покурить. У того всегда был самый крепкий самосад. Александр рассказывал художнику о Васильеве и раньше, но Косачев не придал значения его словам. И только попав в бригаду Васильева, он сразу им заинтересовался. Крупные, резкие черты лица, густые седые волосы, сутулые плечи, скупые неторопливые движения. Васильев говорил мало; в минуты отдыха присаживался со всеми, но в разговоры не вмешивался, сосредоточенно разглядывал сизый махорочный дым. Что скрыто за этим молчанием? О чем он думает? Иногда Косачев ловил на себе короткие, оценивающие взгляды Васильева, иногда слышал спокойные замечания, как лучше держать топор или вагу.

Был солнечный, тихий день, когда бригада вышла на особенно трудный участок. Начинала зеленеть первая трава, но деревья вокруг еще не просыпались. Стояли в предвесеннем раздумье. Не было слышно птиц. Тайга полнилась тишиной. Люди сложили свертки и сумки с обедами в одно место и стали раздеваться. Афоня вздохнул:

— Да,..

Огромные лиственницы стояли почти вплотную, свежие затесы, по которым должна была пролечь дорога, терялись в их сутолоке. Косачев задрал голову, смерил взглядом ближайшее дерево.

— Хороша? — услышал он сзади веселый голос, оглянулся и увидел Васильева. Тот смотрел вверх с легкой улыбкой.

— Хороша, — ответил Косачев.

— Ничего, пойдет как миленькая. Видишь, с наклоном. И внезапно, не поворачивая головы, спросил:

— Скучно?

Косачев пожал плечами:

— Откуда вы взяли?

— Да вижу: глаза у тебя скучные. Давно заметил. А может, трудно?

И оттого что он угадал, Косачев промолчал, хотя почувствовал к Васильеву некоторую признательность.

Он действительно уставал на работе. По утрам ныла спина, болели руки, разминаясь, он морщился, через силу подсмеиваясь над собой.

Шевельнул ветерок, легонько прикоснулся к лицам.

— Ничего, привыкнешь, — сказал Васильев, не дождавшись ответа. — А я люблю... Потруднее, чтобы ничего больше не помнить, ни о чем не думать. Да и есть ли выше что-нибудь в жизни? Подумаешь и скажешь: нету. Лучше самому сделать кирпич, чем со стороны наблюдать. Ты вот художник, а почувствовал, наверное, иначе зачем тебя потянуло неизвестно куда?

Сзади звенели лопаты, переговаривались люди. Васильев взглянул на Косачева и отошел. Подкапывая потом корни лиственницы, художник думал о его словах. Афоня подрубал вслед за ним, брызгаясь щепками, шумно вздыхая при каждом взмахе. Он уже давно сбросил рубаху; когда он нагибался, на его худой узкой спине резко выступали позвонки.

Двойственное чувство владело Косачевым после неожиданного разговора с Васильевым. В словах бригадира не было теплоты, Васильев говорил так, словно проверял что-то свое, словно доказывал самому себе недостаточно проверенную истину. Но перед обедом, когда бригада собралась вокруг столетней лиственницы, художник забыл об этом разговоре. Все уже порядком устали, Косачев злился вместе со всеми. Обкопанное, обрубленное со всех сторон дерево не хотело умирать, стояло в яме, как в чаше, не шевелясь. Кто-то пошутил, кто-то предложил пообедать. Все смотрели на Васильева. Тот обошел кругом лиственницы.

— И ветра-то, как назло, нет. Давайте вилки... ваги, попробуем раскачать.

Когда дерево стало медленно крениться, потрескивая корнями, Косачев увидел вышедшего из кустов Афоню. На том самом месте, куда должна была рухнуть вершина. В первый момент Косачев забыл даже вскрикнуть — Афоня только что был рядом и, опасаясь Васильева, шепотком поругивался. Слизнув от волнения каплю пота с губы, Косачев совсем растерялся. Афоня деловито застегивал штаны.

— Беги! — закричал Косачев, выпуская вилку из рук, и сейчас же увидел перед собой мокро блеснувшую спину Васильева. Тот распрямился. Дерево, кренясь, подрагивало

в агонии, земля еще держала его. Но вместо того, чтобы отбежать в сторону, Афоня пригнулся, замер, по-прежнему не выпуская из рук штанов.

Только потом Косачев понял и оценил выдержку товарищей. Не успел он опомниться, как несколько рабочих с вилками уже поддерживали клонившуюся лиственницу. Косачеву бросились в глаза руки Васильева. Мертвая, судорожная хватка, вздулись, потемнели от напряжения мышцы. Бугры плеч, узловатость застывших пальцев. Это так и осталось в душе и долго уживалось рядом с чувством неловкости за свою растерянность.

Потом Афоню хотели побить.

Несмотря на сильную усталость, Косачев до поздней ночи писал. Он не мог успокоиться, пока не окончил. Ирина заглянула пожелать спокойной ночи и широко раскрыла глаза.

— Что это, Павел Андреевич?

— Руки... Похожи?

— Даже потрогать хочется. Никогда таких не видела... Кажется, они всю тяжесть на себя приняли. Вам чаю принести? — спросила она после небольшой паузы.

— Нет, спасибо, Ирина. Я спать буду. От отца сегодня ничего не было?

Не отрываясь от полотна, девушка покачала головой.

— По-моему, он бы это похвалил.

10

Головину повезло. После сравнительно небольших споров и не слишком длительной беготни по инстанциям и учреждениям ему удалось выхлопотать до срока пять трелевочных тракторов и четыре лесовоза с прицепами. Он вызвал телеграммой группу трактористов и шоферов во главе с начальником отдела снабжения Кочегаровым для приемки и транспортировки и, облегченно вздохнув, впервые за три с лишним недели неторопливо прошелся по городу, купил Ирине нарядные светлые туфли.

Он не был в городе больше года и теперь отмечал про себя, что стало многолюднее, ярче и беспокойнее. Шли работы по озеленению, то и дело встречались крикливые школьники с лопатами. Студенты развозили саженцы;

женщины вскапывали землю на клумбах, сажали цветы. Город прихорашивался к лету, и особенно бросался в глаза размах строительных работ. Десятки, сотни кранов возвышались в небе над городом, целые кварталы строящихся домов проглядывали свежими стенами сквозь решетки лесов. Стройки, стройки — примета времени. Недавно в совнархозе его резко критиковали. По правде говоря, он обиделся тогда. И напрасно. Хоть на немного, но план недовыполнен.

Леса требовалось все больше и больше. Страна набиралась сил, страна строила. Здесь, в городе, он видел другие масштабы, и применительно к ним по-другому просматривались судьбы людей, своя судьба.

11

Он встретил на совещании много знакомых — директора смежных леспромхозов, мастера, инженеры, партработники. В перерывах курили, спорили, обменивались впечатлениями. Ночевать Головин пошел к старому другу Дерибасову — одно время тот был директором соседнего Курайского леспромхоза, а теперь работал управляющим Северогорским трестом банно-прачечных заведений. По дороге, захватил две бутылки китайского коньяка, и вечер скоротали за столом. Пили коньяк, закусывали свежепросоленной кетовой икрой, вспоминали. Дерибасов был громадного роста, с неожиданно тонким, почти женским голосом. Жена его, раздобревшая в свои сорок лет от беспечальной жизни, говорила низким грудным контральто. Им не повезло с детьми, и это наложило на их отношения своеобразный отпечаток. Они были трогательно нежны друг к другу. Оба наперебой старались занять гостя, не забывая, однако, о своих тарелках.

— Ты грибков, Женечка, сегодня не пробовала. А хороши грибки, верно, Трофим Иванович? Сами за город выезжали. Так что докладчик?

Головин поначалу рассказывал охотно. Супруги все переглядывались, Дерибасов, наконец, не вытерпел — тоненько заливисто расхохотался.

— Ах, чудак, чудак ты, Трошка. Только подумай, Женечка, — тяжело заворочался Дерибасов на тесном для его фигуры стуле. — Опять старую песню вспомнил, мало, видать, утюжили тебя за проект.

— Другое время, другие темы, — миролюбиво заметил Головин. — Думаешь, сам ты лучше поступил? Пристроился пеленки стирать, тепло и сыро, нигде не поддувает, а живое дело бросил. Налей-ка лучше еще, Гордей. И давай нашу старинную:

> День-ночь, день-ночь
> Мы сидим над книгами.
> День-ночь, день-ночь
> Мы мозгами двигаем.
> Только стон, стон, стон...

Оборвал в тишине.

— Ты чего, Гордей, не подтягиваешь? Помнишь наш энергетический? Чего молчишь?

Дерибасов сидел, грузно привалившись к столу, размеренно и методично поворачивал гранями рюмку в широких ладонях...

— Пеленки тоже стирать надо, Трофим. И кальсоны, и прочее... Пей, пей. И я с тобой. — Он опрокинул рюмку, не закусывая. — Ты коммунист, и я коммунист. Ты одно дело делаешь, я — другое, и ты меня не трогай.

Он беззвучно поставил пустую рюмку, помолчал и неожиданно сорвался на высокий фальцет:

— Ты меня не задевай, Трофим, будь тоже человеком, не свиньей!

— А ты на меня не ори, Гордей!

Хозяйка невозмутимо сидела в уголке на кушетке, разглаживая скатерть пухлыми пальцами, спокойно и дружелюбно поглядывая на расходившихся мужчин. Она уже привыкла. Когда встречались эти двое, так бывало всегда.

Головин искал взглядом фуражку. Дерибасов брал его за плечи, сажал на стул.

— Нет, Трофим, ты от меня не уйдешь.

— Разрешение буду просить...

— И попросишь, Трофим.

Уже навеселе, не отрывая глаз друг от друга, оба присели к столу.

— Пей...

— Не хочу.

Головин положил руки на стол. На белой скатерти, среди хрусталя и фарфора, сильные, темные руки казались лишними, и он убрал их на колени. Если подумать, спорить ему с Гордеем нечего. Нельзя насильно заставить делать человека то, чего он не хочет. А если и заста-

вишь — толку мало. Пусть будет баня... Черт с ней, с баней. И хватит пить.

К столу подошла Евгения Матвеевна. Потерлась подбородком о затылок мужа, улыбнулась Головину:

— Ну, что надулись? Чаю, Трофим?

— Пожалуйста, Женя. Да заварки не жалейте, покрепче.

Головин покосился на хозяина. Проходил первый хмель. Дерибасов глядел в сторону, сбычив толстую шею. Головин усмехнулся.

— Смотри, переломишь.

— Чего?

— Шею, говорю, переломишь.

Дерибасов шумно вздохнул.

— Не сносить тебе головы, Трофим. Ну зачем тебе, скажи, опять эта возня? Проекты, проекты! Тебе ведь пятьдесят скоро, пора остепениться.

Добрея и как-то еще больше размякая, махнул рукой.

— А может, и прав ты. Гаранин — мужик дельный, он им мозги вправит. Если бы он был тогда, может, и со мной такого не получилось... А ты помнишь Светлякова? Самодур... Секретарь обкома — курам потеха. Помнишь, тридцатипятилетие советской власти в области праздновали? Приказал писателям в один месяц написать, напечатать и пустить в продажу роман о революции и гражданской войне в области? Тому главу, тому две. И написали ведь! А как оленей на вертолетах привозили детей катать?

Головин кивнул.

— Книгу списали в убытки — сгнила на складах, олени подохли в пути... Нет, брат, дела. Только вот непонятно мне, почему ты только сейчас спохватился? Светлякова, дай бог памяти, лет восемь, как убрали.

— Семь, — уточнила Евгения Матвеевна.

— Да, кажется, семь. Скажи, Трофим, главным инженером у тебя по-прежнему Почкин?

— Ты его знаешь?

— Ну, как же... Он тогда был самым яростным твоим противником. Терпение у тебя адское. Чего ты с ним до сих пор вожжаешься?

И вдруг Дерибасов умолк.

— Трофим...

— А?

— Ты что, не слушаешь?

— Нет, почему же...

Он перевел взгляд с Евгении Матвеевны на Дерибасова.

— Я просто старался подсчитать убыток... который наносится жизни такими людьми. Цифра с длинным хвостом нулей. Корни у них цепкие, у этих праведников в кавычках, сразу не выкорчуешь. А ведь надо, Гордей. Живешь и все сильнее чувствуешь — надо.

Потянулся к бутылке.

— По последней, что ли, Гордей? Давай помиримся, бросай свою прачечную и подавайся в тайгу.

Дерибасов с неожиданной добротой отозвался:

— Знаешь, Трофим, ты хороший мужик, а все-таки язва. Усядется у тебя в кишках без всякого разрешения и посасывает.

— Бедняга. У тебя из хирургов знакомых — никого?

12

Следующий день Головин бродил по городу. На том месте, где он родился и вырос, стояло новое шестиэтажное здание модернизированного облегченного стиля. Он долго сидел напротив него на скамье и вспоминал мать, отца, первые радости и горести далекой своей юности.

Шум города обострял внимание и память. Черноглазый мальчуган, игравший в песке, оценивающе откровенно оглядел его с головы до ног. Не найдя ничего достойного внимания, вновь занялся своим делом. Головин усмехнулся. Трудно поверить, когда-то и он был таким.

Прихватив полевую сумку, с которой редко расставался, Головин встал. По этой улице он впервые провожал девушку. Смешно, право... И грустно, и радостно.

Улицы... Проспекты. Потоки людей и автомобилей.

Головин вышел на площадь Северного сияния, постоял у памятника жертвам интервенции. Каменный обелиск, взметнувшийся вверх гигантским языком пламени. На мемориальной доске среди прочих имен:

«Головин Иван Васильевич — 1891—1921 гг.».

Снял фуражку. По небу бежали редкие облака. Из раскрытых окон ресторана доносилось дребезжание джаза. Головин недовольно сдвинул брови. Скульптура была легка и стремительна — в красноватом, искристом граните не чувствовалось холода камня. Слившись в каменном пла-

мени, рвались в небо давно отзвучавшие жизни, а город вокруг хлопотливо двигался, деловито шумел, зеленел деревьями. Головин вернулся к перекрестку, где он заметил старуху с цветами. Но цветов уже не было... Пустая корзина; старуха собиралась уходить и тщательно пересчитывала засаленные пятерки. Головин направился к реке. Бились о гранитный берег волны, катера и моторные лодки бороздили поверхность реки. Куда ни ступи, везде вспоминалась юность. Старина, старина, дряхлеешь, видать. Куда это годится?

Набережная пестрела отдыхающими. Было много мальчишек. Студенты готовились к экзаменам, дремали под весенним солнцем над раскрытыми учебниками, шутили, дурачились. Звонкий смех девушек, ломкий басок подростков. Головин отыскал свободную скамейку над самой водой. Опять пошли воспоминания. Обрывки мыслей, неясные образы, словно стертые медяшки. Детство, очень раннее детство. Выщербленный старый кувшин с неизменным квасом. Его разбила младшая сестренка, вскорости после этого умершая. Скарлатина. Потом — юность. Стройки. Войны. Годы.

Такое настроение у него редко бывало. Как будто взошел на гору — вся жизнь перед тобой. Как степь или тайга. С оврагами и ущельями, с болотами, буреломом. Там вот утопал, тут споткнулся, а здесь бежал во весь дух — в жизни решалось что-то важное. Головин покачал головой. Замыкался еще один круг в его жизни, он чувствовал. А вокруг между тем медленно вечерело. Солнце садилось, в реке дробилось и плавало золото заката. Становилось прохладнее, но Головин не уходил. Вскрикнул буксир. Люди рвутся к вершинам. В работе, в искусстве, в жизни. В любви. Но доходят немногие, очень немногие. И опять увидел Головин свою жизнь, всю, от начала и до конца. Все было: борьба, любовь, дочь, работа. Осталась неудовлетворенность. Как жажда: припал пересохшими губами, а воды — несколько капель. Воды нет, для него не хватило.

Нет, старина, нельзя позволить такую роскошь — жалеть себя. Легко искриться и подавать надежды в двадцать лет. Ты попробуй остаться сильным в пятьдесят. Имей мужество не жалеть себя, когда все кругом считают тебя неудачником. Уходит любовь, вырастают и уходят дети. Не может уйти любимое дело, оно придаст силу и веру.

смягчает самые жестокие удары. Кажется, человеку больше не встать. Но оно, дело, зовет дальше.

Заставив вздрогнуть, с проходившего катера прокричали:

— Эй-эй, на берегу! Васенкин! Отдавай концы! Чего рот раскрыл!

13

Люди для приема машин прибыли через неделю. Александр, Иван Шамотько, Анищенко, Афоня Холостяк, Косачев.

Последний — за свой счет, по разрешению мастера участка, питавшего слабость к художнику; Назаров давно высказывал желание иметь свой портрет. В Северогорске бывали все, кроме Александра, но и Анищенко и Косачев снова отметили про себя своеобразную красоту города. Они подъезжали к нему вечером; сумерки сгущались над широкой гладью реки, гирлянды огней рассыпались по сопке Безымянной, у подножия которой распластался Северогорск. Косачев ловил скупые и точные краски вечера и пытался представить их на холсте.

Катер шел ходко; обрывистый, скалистый правый берег убегал назад, в ночь. Завеса огней впереди все шире неуклонно охватывала местность. Казалось, гигантская птица, голова которой — острая темная вершина сопки, раскидывает крылья все шире.

— Красиво? — спросил Александр.

Не поворачивая головы, Косачев кивнул. На душе тревожно, как в предчувствии близких перемен. Порой казалось: стоит протянуть руку — и коснешься того, что очень долго ускользало. Косачев сознательно не делал такой попытки. Еще не созрело. Забрасывая краски и кисти, ходил по вечерам в клуб, бродил в тайге с ружьем один или с кем-нибудь из своих новых друзей. Чаще с Александром. Тот тоже не мог читать скоропалительных романов о перевоспитании, в которых современность подменялась злободневностью, в которых неповторимо сложный мир человеческих душ и страстей упрощался и часто совсем вытеснялся проблемами техники и хозяйства. Люди приходили на землю, чтобы увеличивать яйценоскость кур, усовершенствовать культиваторы и станки. Герои-роботы, они не знали слез, любви, страдания. Такие книги спорили с

«физиками» не образами, а словами и, не желая этого, намертво уничтожали «лириков». Косачев восхищался покорным тупоумием героев-роботов, Александр негодовал.

В спорах к ним часто присоединялась Ирина. Шагая рядом по таежным тропам или забравшись с ногами в отцовское кресло, девушка слушала их долгие вечерние беседы и чаще молчала, медленно наматывая на указательный палец густую прядь прямых тяжелых волос. Но по сдвинутым бровям, по острому блеску всегда непроницаемых темных глаз художник догадывался о большом внутреннем напряжении.

Косачев привязался к Ирине. Она кормила его, была всегда ровна, приветлива, умна, хотя Косачев никак не мог понять, чего хочет она в жизни. К его удивлению, Ирина признавала разумными последние, школьные реформы и трудовое воспитание, говорила о своем решении никуда не ехать и работать в поселке. Потом Косачев узнал, что она всего-навсего влюблена. Он был слегка разочарован. Ребенок... Все разрешалось крайне просто.

Вот Галинка — та сложнее. У той характер, темперамент. Только почему она так внезапно разорвала?

Все шире и ярче наплывали огни города. Стало совсем темно.

Александр пытался представить себе встречу с директором. Как-никак отец Ирины. Будь жива мать, неизвестно, как сложились бы их отношения. Жизнь рассудила посвоему. Конечно, Головин умный человек и не станет ворошить прошлое. Нужно держаться просто, утрата иногда связывает крепче, чем все приобретения. Недаром Головин часто приходил зимой, и они целыми вечерами сидели и разговаривали. И была так нужна по-мужски, поотцовски скупая сдержанность Головина.

Анищенко пел себе под нос тягучую грустную песню о девушке, которая пошла по грибы и встретила молодого охотника, тот обманул ее, и она повесилась в том же лесу, где он соблазнил ее.

Шамотько слушал, слушал, дергая себя за усы, потом не выдержал:

— Ну и воешь ты, Мишка, як волк! Аж сумно робыться. Смолкни, а то в ричку кинусь.

Все засмеялись.

14

У пристани их встретил Головин. Места в гостинице были заказаны, всех поместили в общий номер. В их распоряжении было два вечера. На второй день собрались в театр. Афоня Холостяк наотрез отказался.

— Стоило в город приезжать. Как хотите — я в ресторан. Кино у нас свое бывает, а вот ресторана...

— То ж театр, дурень, поисть-попыть и дома можно.

— Бросьте его уговаривать.

— Дубина...

— Та вин же недаром «Театральным Парижем» интересуется, то ж интеллигент!

— Но-но...

Разошлись, до начала оставалось много времени. Постриглись, побрились и, конечно, опоздали к началу. Места у них были в третьем ряду. Неловко протискиваясь между креслами и вызвав недовольное шиканье соседей, они пожалели, что велели Анищенко купить самые лучшие билеты.

— Устроились? — неожиданно обратился к ним с авансцены темноволосый мужчина в галстуке «бабочкой». — Ну и чудесно. Извините, что мы без вас начали, так вышло.

Под общее ликование зала он слегка поклонился в их сторону и, шагнув к микрофону, объявил первый номер.

Александр покосился на Косачева. Неприятно... Ему казалось, что все продолжают смотреть на них. Насколько позволило кресло, отодвинулся от соседки — девушки лет восемнадцати с бледным решительным лицом и короткими, будто нерасчесанными волосами. Девушка скользнула по его лицу отсутствующим взглядом. Александр, сердясь, насупился и отвернулся, стараясь незаметно затолкать под сиденье скрипевшие сапоги.

Косачев, напротив, чувствовал себя совершенно свободно. В небрежно сидевшей на нем коричневой куртке и неяркой ковбойке он выглядел почти элегантным.

На сцену вышла певица в пышном розовом платье, чем-то похожая на соседку Александра, на тонких-тонких каблуках, и начала петь. Голос у нее был глубокий, низкий, мелодия приятная, но певица как будто нарочно старалась петь безразлично и ровно, почти не меняя выражения лица. Временами ее заглушали резкие вскрики джаза,

в такие моменты она прикрывала глаза веками, густо намазанными чем-то синим, разводила вытянутыми пальцами вокруг пышной юбки и медленно покачивалась в такт музыке. Шамотько пристально глядел на ее длинные развитые ноги и довольно трогал усы.

— А то вона, як рыба, холодна... — шепнул он Анищенко. — Одни ноги... гарни...

Но во время исполнения песенки альпийского пастушка певица оживилась. Все увидели, что она молода и хороша собой. Развинченности в фигуре как не бывало — жест стал коротким и точным. Голос, приобретший в низах мягкую бархатистую окраску, лился легко и свободно. Казалось, ничто не мешает ему взлететь еще выше. И словно чистое горное небо вокруг и яркое солнце. Радуется маленький пастушок, приветствует новый день и свою свободу... Но кончилась песня, певица отошла к музыкантам и стала в небрежной позе в глубине сцены, вновь напуская на себя отсутствующий, безразличный вид.

15

В антракте Шамотько и Анищенко направились в буфет. Они выпили шампанского, и Шамотько поморщился:

— Кислятина. Це пить только с жиру. Грошам перевод. А в голове — ни-ни, панская бурда.

Задрав голову, он долго разглядывал огромную сверкающую хрусталем люстру, не обращая внимания на сдержанно переговаривающуюся разодетую публику.

— О це да! Мильён карбованцев... Мишка...

— Брось... Ерунду городишь... Тысяч триста — я читал где-то. Да и что тебе за дело?

— У нас на Дом культуры двисти тысяч нияк не найдуть.

Анищенко улыбнулся:

— С каких это пор таким рачительным стал? Наших не видел?

— Не... Видать, курить пишлы.

Размеренное, неторопливое движение в фойе втянуло их в свой круговорот. В противоположной стороне они увидели Александра, окликнули. Он не услышал. Они понимающе переглянулись: Александр стоял рядом со стайкой девушек. Но они ошибались. Александр напряженно следил за Косачевым. Он пытался уловить, в чем разница, неуловимо и отчетливо пролегшая между ними

в этот вечер. Несмотря на обычную сдержанность и молчаливость, мягкую, понимающую улыбку, которой Косачев обменялся с Александром во время первого отделения, художник был сродни праздничному, блестящему миру театра. И рядом с ним Александр видел себя со стороны. Сапоги, ярко-синий крепдешиновый галстук, который он долго выбирал сегодня. Черт... Уже несколько раз юноша незаметно пытался стащить галстук. Александру казалось, что Косачев в душе посмеивается над его дурацким видом, над нелепым голубем на галстуке, который нахально выставлялся напоказ.

А Косачев думал о другом. Певица напомнила о Москве. Но вспоминался поселок, тайга, ветер, дождь, грязь по колено, мокрые, вырывающиеся из рук бревна. Вспомнилась Галинка Стрепетова: были слухи, что она возвращается назад. Он представил ее рядом, увидел вдруг ее всю и слегка вздохнул. Проходившая мимо девушка улыбнулась ему. Он заметил — второй раз. Девушка была хорошо сложена. Одета вполне современно. Все это знакомо и скучно. Один танец Галинки неизмеримо выше всего, что он здесь увидит и услышит. Он жалел потерянное время, нужно было просто походить по городу, познакомиться с ним получше. Пробыв несколько месяцев среди лесорубов, в глуши, вдали от театров и музеев, он сейчас, к своему удивлению, воспринимал искусство значительно тоньше и острее. Всякая фальшивая нота, всякая чрезмерность, подчеркивание раздражали.

16

Объявили второе отделение. Взвился вверх тяжелый, в голубых блестках занавес. В зал хлынула бурная восточная мелодия. Высокий мужчина в блещущем лучами индусском костюме исполнял танец Солнца. Косачев приподнял брови. Он знал знаменитого танцовщика и его страстную танцевальную легенду, прославляющую радость и силу жизни. Она была эмоциональна и выразительна: зал замер и взорвался аплодисментами. Косачев увидел загоревшиеся глаза Александра, темные, гулко хлопающие ладони Шамотько.

— Знатно...

Менялись костюмы, менялся облик артистов, менялись танцы. Оставалось напряженное внимание зала. Точный

рисунок — зрители переносились из Индии в Аргентину, в Испанию, Мексику. Наконец конферансье объявил, что Махмут Эсамбаев закончит свое выступление танцем «Автомат». По залу прошел легкий шорох, когда из-за кулис показался тонкий элегантный мужчина во фраке, цилиндре, с лицом-маской. Сломившись надвое в поклоне, он гибкими, эластичными, точно рассчитанными движениями, острыми зигзагами заскользил по сцене. Косачев подался вперед. Кричащая пародия, созданная подлинным вдохновением: по сцене бескостно двигался двадцатый век Запада, вобравший в себя тысячелетнюю танцевальную культуру человечества и извративший ее. Из вольной радости— в скрупулезный механический расчет. Из прославления силы и здоровой красоты — в точную, бездушную автоматику. Артист физически передавал ощущение геометрических пропорций. Это шло в разрез с линиями человеческого тела, было талантливо и страшно. Ритм все нарастал. Барабан отбивал последние секунды. Вырождавшийся Запад кому-то грозил слабой, иссохшей рукой, и это выглядело отвратительно и жалко. Застывшее маской густо загримированное худое, бескровное лицо — весь в изломе патологии, бескостный, резиновый человек бессильным заученным жестом выбросил вперед руку в форме пистолета и внезапно окаменел.

— Ах, сукин сын, — мотнул головой Шамотько, приподнимаясь, и захлопал первым. За ним грохнул зал, на галерке завопили:

— Эсамбаев! Браво! Эсамбаев!

По дороге в гостиницу шумно спорили. Только Косачев молчал. Может, только он один понял, какое безжалостное и страшное обобщение удалось передать артисту в одном танце.

Дежурная вручила им ключ от комнаты.

— Загулял наш Афоня, — присвистнул Шамотько. Никто не обратил внимания на его слова.

17

Афоня вернулся на другой день утром. Александр видел: Холостяк прокрался к своей койке, разделся, заскрипел пружинами. Повернулся к стене и жалобно вздохнул. Днем, когда стали грузить тракторы на баржу, отмалчивался. Но под вечер, перед ужином, отвел Александра в сторону и попросил:

— Дай сотнягу, Сашка, выручи.
— Что?
— А то, что слышал.
— А свои?
Афоня сумрачно махнул рукой. Александр отсчитал три сотни.
— Возьми.
Афоня взорвался:
— Стерва! Ах, стерва!
— Кто?
— Не ты же!
Афоня взял деньги, разгладил их и скорбно покачал головой.
— Из-за бумажек потерять совесть... Ах, стерва!
Он распахнул ворот рубашки. Грудь была в синяках.
— Не говори ребятам, еле выбрался. Пойдем, говорит, ко мне — такая длинноногая, стерва!
Александр не удержался, губы растянулись в улыбке.
— Вчистую? — спросил он, имея в виду деньги.
— Хоть шаром покати, — вздохнул Афоня. — И это мои трудовые, горб за них гнул. Ну и несознательные элементы! Хоть бы десятку оставили.
— Ну уж — сознательный! Дома жинка, а ты юбку увидел и очумел. Дурак, такой концерт был.
Морщась, Афоня отвернулся.

18

На следующий день благополучно погрузились и утром отошли. Город спал, над водой стлался ядовито-белый туман. Александр купил Ирине подарок — пушистый вьетнамский джемпер. Он припрятал его подальше от друзей, от их острых языков. Узнают — засмеют.
Было прохладно. Путь предстоял долгий, почти двухнедельный. Хозяйственный Шамотько предложил столоваться вместе, устроить на одной из барж общую столовую. Афоня тут же вставил:
— А ты за повара. Хохлы вкусно готовят.
— Отощал? — Шамотько не остался в долгу. — Як мартовский кот?
Грохнул хохот.
Для большего веселья плыть решили на одной барже. Натянули между двумя тракторами брезент на случай

дождя и завалились досыпать в трюм, стащив в одно место найденные порожние мешки и брезенты. Подтолкнув засыпавшего Афоню, Анищенко невинно вздохнул:

— Кралю бы твою сюда, Афоня.

Тот сел и, уставившись на юношу злыми маленькими глазками, отчеканил по слогам:

— Ка-тись ты к чер-ту вместе с ней и с ее родней до двенадцатого колена. Ты еще сосунок и таких дел понять не можешь. Ясно?

— Ну как не понять...

Анищенко мирно улыбнулся и спросил:

— А ты чего злишься? Взорвешься — вся Северогорская область сгорит. Смотри, осторожнее. По теории Эйнштейна, в каждом грамме твоего тела запрятано двадцать восемь миллионов киловатт-часов энергии.

Афоня озадаченно выслушал, махнул рукой:

— Дурак твой Эйнштейн.

Анищенко засмеялся.

— Эйнштейн — великий физик, Афоня. Это его так называемая «полная энергия, связанная с массой покоя».

— Ну и что? Подумаешь, «великий», «энергия»! Ты меня не пугай, я и помудренее слова знаю. Великий... А я, может, великий лесоруб! Писатель великий, да ученый, да ще какая оса — ногу задерет повыше, а ей сейчас — бух! — премию в сто тысяч! Смотрел в кино, знаю. Небось никто не скажет: великий землекоп! Или там слесарь...

— Не туда гнешь, Афоня.

— Туда! — Афоня упрямо выставил подбородок. — Я — великий, вон он, он... ну и ты немножко. — Афоня оглядел Косачева. — И тот, кто землю пашет. Не будь нас, все бы они подохли, великие ваши.

— Понадобится, они твою работу сделают, а ты...

— Жилка слаба. Топором махать — не бумаги строчить. Будь я главный, всех бы заставил на земле работать. Я б старух бумаги писать сагитировал.

— А ты к Раскладушкину обратись, он тебя в Антарктиду президентом назначит. Там свободно пока, а пингвины народ такой — проголосуют. По Фомке и шляпа.

— Соглашайся, Афоня, — сказал Шамотько. — Опережу. Бачишь, чем пахнет? Во! Президент! Будут у тебя дети пингвины и жинка — пингвинка. Они желтые или черные? — простодушно спросил он у Александра.

Наговорились, насмеялись. Александр, засыпая, слышал, как шуршит за бортом вода и низко и часто постукивает мотор катера.

— Тише вы, — бухнул над самым ухом Шамотько. — Сцепились, як собаки. И ты, птичий царь, Пингвин Первый, кончай. Бо направлю тебе новое строгое предупреждение, тогда смотри.

19

Головин поднялся из душного кубрика. Разбудил шумно дышавший на соседней койке Кочегаров — Головин никогда раньше не слышал такого виртуозного храпа.

Головин прошел на нос. Встречный ветер был холодноват, гул дизелей катера возвращался отчетливым эхом от прибрежных скал. Вчера Головин не успел побриться и теперь время от времени потирал жесткий подбородок.

Солнце еще не взошло. По воде ворами ползли зеленоватые тени, река потемнела. Опять это воспоминание. Черная, черная Висла — ненасытная бездна. Текучая могила — братская могила. Черная река забвения. Война окончилась. Но почему жгут сердце воспоминания? Не потому ли, что, окончившись, война продолжает убивать? Головин вспомнил Архипову. Прошло несколько месяцев, и она понемногу стала забываться. Днями было легче. Обступали дела и заботы. Головин давно привык к своей занятости, к людям, которые его окружали. На работу стали приходить десятиклассники, а это обязывало ко многому. Попробуй докажи, например, истину Александру без определенных знаний, если он даже в чем-то неправ.

Скрылся за ближайшим кривуном город. Солнце всходило в рваном облаке огня. Оно все больше разрасталось над горизонтом и на глазах меняло оттенок, из бледно-огненного становилось розовым. Свет от солнца еще не дошел до реки, вода была серого, мрачного цвета. Сквозь клочья тумана нежно зеленели молодым мхом скалы, в небе играла прозелень, стоило присмотреться к реке, и становилось ясно: серый цвет — от тумана. А на самом деле вода была зеленой.

Своеобразие северных рек всегда радовало Головина. Они не походят на своих степных сестер. Питаемые ледниками, они разливаются к осени, и тогда их воды особенно холодны. Правда, разлившись, они становятся спокой-

нее, но только чужак может обмануться. Мели, водовороты, неизмеренные глубины, подводные заломы... Не просто понять характер горной реки: он напоминает судьбу человека, прожившего долгую и трудную жизнь и не желающего о ней рассказывать.

Неразрешимая загадка, уйдя из жизни, стала для Головина душевной болью. Что было скрыто ею? От него, от сына? В чем заключалась трагедия, затянувшаяся на два десятка лет? Какие люди в ней участвовали? И о мертвой Головин хотел знать все: и страшное, и горькое. Он не знал — зачем. Это была страсть, он ничего не мог поделать с собой. Вот и сейчас. Он думал и думал. Возможно, он столкнулся с тяжелой судьбой, прошедшей через муки, потерявшей всякую веру и надежду. Пожалуй, в свое время она кричала, просила помочь. И потом — смирилась.

Он покачал головой.

Его позвали завтракать. Он был бледнее обычного, и Кочегаров, приглядываясь, спросил:

— Вы здоровы, Трофим Иванович?

— Вполне.

Начальник снабжения поморгал безволосыми веками, потер руки, сострил что-то насчет города, холостяцкой жизни и добавил, что машины получены первоклассные и план теперь пойдет вверх.

— Да-да... — сказал Головин, думая о своем.

20

Против течения шли тяжело, дни коротали за книгами и рыбной ловлей. Отсыпались на будущее.

Косачев зарисовывал берега. Ночевали в удобных для стоянок местах; разводили костры, — несмотря на ночные заморозки, было тепло и весело. В одну из ночей, на рассвете, проснулись от медвежьего рева. Не успели очухаться, как рухнула палатка, прикрыв спящих и вставших. Афоня позднее убеждал всех, что медведь навалился именно на него. Выстрелом в упор свалил медведя капитан катера, спавший в отдельной палатке. Афоню извлекли полумертвого и, приведя в чувство, предложили пойти вымыться, чтобы свежий таежный воздух остался по-прежнему чистым. Неожиданное происшествие скрасило дорогу; правда, после Афоня с неделю страдал животом.

Теперь и днем приходилось двигаться с осторожностью: шел сплав. Река несла сотни тысяч бревен. Все думали о завершении пути, когда случилось несчастье.

21

Дело шло к вечеру. Рулевой стотонной баржи «Курилы» почувствовал толчок. От него вздрогнул весь корпус баржи, но рулевой не обратил внимания. Когда баржа начала тяжело оседать, он выскочил из рубки и стал звать на помощь.

Расталкивая лес, капитан повел катер к отлогому берегу. Он сообразил, что баржа пробита — такие дела были не в диковину на Йгрень-реке. Капитан торопился вытянуть баржу на мелководье. Головин, игравший с начальником снабжения в шахматы, почувствовал неладное по топоту ног над головой. Выбежав наверх, Кочегаров простонал:

— Два дизеля... Новеньких, Трофим Иванович!

— Не суетись, вижу.

— Ах, черт! — вырвалось у капитана. Метрах в двадцати от берега баржа покачнулась и стала погружаться.

Рулевой и его помощник Федька цеплялись за рубку. Но она медленно, у всех на виду скрылась под водой. Люди вынырнули и поплыли к берегу.

Начальник снабжения изумленно поморгал и сплюнул.

Головин сквозь зубы выругался. Шутка ли, два новеньких дизеля. Бледный капитан — рыжеватый парень лет двадцати восьми — подошел к Головину. Официально тронул короткими пальцами козырек фуражки:

— Что теперь делать, товарищ директор?

Головина, расстроенного сверх всякой меры, разозлил еще больше подчеркнуто казенный тон испуганного капитана. Глядя в сторону, Головин буркнул:

— Попробуем вытащить. Хотя бы машины. К берегу, Петренко.

За поворотом показался дымок второго катера с двумя баржами на буксире.

— Интересно узнать глубину...

— Узнаем.

— Не должно быть глубоко.

А река продолжала бежать. Все так же засматривали в воду молчаливые дикие берега.

Вечером состоялся совет. Полыхал костер.

22

Разгораясь, костер отпугивал темноту. Она снова кралась к людям. Столбом вилось комарье.

Совещались старшие. Директор, начальник снабжения, пожилой капитан второго катера. Изредка вставлял слово Шамотько. Одни предлагали вызвать спасательную команду, другие возражали. Глубина оказалась небольшой. Семь—восемь метров. По мнению рыжеватого капитана, нужно было попробовать вытащить своими силами хотя бы тракторы. Водолазов можно ожидать месяца полтора, а то и два. Спор разгорался. Ближние ели тянули лапы к свету костра — словно озябшие люди. Афоня покосился на них злым глазом; он вместе с Александром, Анищенко, с Косачевым не принимал участия в разговоре. Что могло случиться с баржей? Наскочила на топляк или от старости? А может, недосмотрели?

— Виноватого найдут, — авторитетно заявил Афоня. — За милую душу влепят.

На Холостяка испуганно глядел рулевой затонувшей посудины.

— А что может быть, хлопцы? — спросил он, понижая голос.

— Тише, — прервал Александр, вслушиваясь в слова Головина. Взвесив все предложения, директор решил вызвать водолазов.

Александр не удержался.

— Неправильно, Трофим Иванович, — сказал он, почему-то краснея. — Пока то да се, части заржавеют, песком занесет.

— У тебя есть другой выход?

— Вытащить.

— Как?

— Просто. У нас еще два дизеля. Сгрузить на берег, зацепить тросами и вытащить.

Афоня недоверчиво хмыкнул.

— Зацепить... А ты полезешь?

— Говорю — значит, полезу.

Наступило молчание. Головин встал. Щурясь на костер, помолчал.

— Возможно, ты и прав. Вот, черт возьми, незадача... Все-таки река. Трактор трактором, а человек человеком.

Александр поднял голову.

— Можно расписку дать. Сами...

— Брось, — Головин встал, отряхнул брюки. — Кому нужна твоя расписка. Ты всегда что-нибудь придумаешь, — сердито прибавил он, глядя на реку поверх головы Александра.

Афоня подбросил в костер сухих веток. Взметнувшись, пламя отбросило тьму, ярко высветлило лица сидящих вокруг костра людей.

Немного погодя из-за цепи сопок бесшумно выкатилась луна, и костер показался лишним. Лунный свет пролился на тайгу мягким покоем, река тускло засеребрилась, гребни сопок проступили в небе отчетливее.

Разговор у костра на время умолк. По фарватеру реки густо шел лес. Десятки тысяч бревен сливались в одну сплошную темную полосу.

— Наш лесок подваливает, — сказал Афоня довольно.

— Место красивое...

— Черт бы его побрал, — возразил рулевой затонувшей баржи, шумно заворочавшись.

Потом все услышали доносившуюся издали песню. Пели, вероятно, сплавщики, пели что-то очень русское, широкое и сильное. Когда песню подхватывал десяток голосов, все отчетливо слышали слова.

Магадан, Магадан —
Столица Колымского края...

Над хором свободно поднимался высокий молодой голос. Косачев подошел к берегу. В той стороне, откуда лилась песня, плясал слабый отблеск костра, а дальше, где-то на самом краю ночи, огненное дыхание невидимого отсюда вулкана гасило слабый блеск звезд.

23

Утром на берегу валили лиственницы, устанавливали лебедки, обкатывали сгруженные дизели. С двух лодок промеряли глубину. Головин искоса следил за Александром. Вчера во время спора, подергивая себя за ус, Шамотько пошутил насчет тестя с зятем: с самого начала не ладят, мол, и Головин даже при свете костра заметил, как вспыхнуло лицо юноши. Головину стало понятно настороженность Александра. Он и сам был озадачен. Переплетет иногда жизнь, и опытный глаз не всегда разберется. Александр дружил с Ириной, их дружба оборва-

лась, кажется, в самом начале. Головин любил дочь. Уважал за серьезность, за характер. Обрадовался ее решению поработать год-другой до института. Пусть подумает, выберет, дело серьезное, на всю жизнь. А если полюбит, то не так скоро.

И вдруг... Ну Ирина, вот уж эта Ирина! А он-то думал... Старость, что ли, в самом деле?

— Есть! — закричал Александр. — Слушайте.

Он дернул погруженную в воду веревку с железной болванкой на конце. Все услышали — стукнуло. Глухо, но отчетливо звякнул под водой металл.

— Есть! — повторил Александр и быстро разделся. Афоня Холостяк взглянул на зеленоватую морщинистую воду и поежился.

— Не куксись, — Шамотько протянул Александру флягу со спиртом. — Глотни.

До самого вечера продолжались промеры, до самого вечера четыре человека, глотая спирт, ныряли то с одним, то с другим инструментом, пытаясь освободить дизеля от креплений. Ныряли в нижнем белье — не так обжигала ледяная вода. Только к заходу солнца с тракторов сняли крепления.

Вечерняя заря была ветреной, холодной, ночной сон глубок и беспробуден.

Утром подождали, пока солнце поднимется выше, и стали цеплять тросы. Первым опустился под воду Александр. От холода перехватило горло, холод цепко впился в тело миллионами игл. Действовать приходилось на глубине пяти—шести метров, и если бы не груз на поясном ремне, вода вытолкнула бы обратно. Но сильнее всего мешало течение. Александр открыл глаза и увидел зеленоватые потоки, штопором крутящиеся вокруг затонувшей баржи. Течение слепило. Александр не выдержал, отцепил пояс и всплыл, едва-едва нащупав буксирный крюк. С наслаждением задохнулся сырым, холодным воздухом, уперся взглядом в бледное утреннее небо. Вслед за ним ныряли Анищенко, Афоня, Косачев. Расхрабрился и Шамотько. Он дольше других пробыл под водой, но бесплодно. Вынырнул, отфыркнулся, точно морж, выматерился и, шевеля ноздрями, выдохнул:

— Рвет, чертяка, як клещами рвет, затягивает.

Тяжело перевалился через борт лодки и жадно припал к горлышку фляги.

24

Наступил полдень. Небо очистилось совершенно. Ветер стих, и река успокоилась. Работы продолжались. Опять наступила очередь Александра.

— Может прекратим? — спросил Головин.

Зашумели.

— Чего там, сколько труда потратили.

— Кончать нужно.

— Трудно начать, а там — будешь плакать да кончать.

Анищенко вспомнил известную истину о героизме и трусости, бытующую со времен Суворова: герой умирает один раз.

— Герой с тебя, — дернул усами Шамотько.

Зеленела гладь реки. Чернел далекий левый берег. Влажно синело высокое небо. Как там Ирина?

Александр шагнул через борт, придерживая тяжелую железную болванку на поясе одной рукой и конец троса другой. Сравнительно скоро он добрался до буксирного крюка и схватился за него. Подводная струя рвала в сторону, и Александр боялся отпустить крюк. Юноша стал подтягивать трос — тот не поддавался. Освобождая вторую руку, Александр зацепился за что-то ногами. Подтянул трос, закрепил и сам удивился легкости, с которой все удалось сделать. «Ну вот...» — радостно подумал он, торопливо отстегивая пояс с грузом — запас воздуха в легких кончался, и начинало звенеть в ушах. А потом вдруг тяжелая и зеленая толща воды вскипела белой пеной, и Александр почувствовал ее непомерную тяжесть. Он почувствовал, что его правая нога зажата, зажата накрепко, намертво, зажата чем-то твердым, холодным. Извиваясь, он попытался дотянуться до нее руками. Он коснулся скользкого, холодного бревна, но пальцы сорвались, и река легко и насмешливо оттолкнула его в сторону, ударила о гусеницу, заломила, перегнула в поясе, прижала лицом к тракам. Холодея от догадки, обо всем забывая, он изо всех сил ринулся вверх и закричал от резкой боли в хрустнувшей щиколотке. В горло ему хлынула река, и он зажал рот последним бессознательным усилием. Река рвала его тело на куски дико, остервенело. Росла пустота в груди, резало глаза. Еще раз ощутил он нестерпимую, немыслимую тяжесть реки. Не было больше сил держать

на себе такую тяжесть. Слепящим пламенем вспыхнули воспоминания, он почувствовал горячий язык смерти — она лизнула его прямо в губы, в душу. И тогда он опять закричал.

Иван Шамотько с нетерпением дернул веревку, привязанную к поясу с грузом, — она неожиданно легко подалась и пошла вверх. Головин нервно сорвал сапоги и бултыхнулся за борт. Никто не успел опомниться. Пока Афоня приходил в себя, кувыркнулся в воду Шамотько, прыгнул, почти не шевельнув лодки, Косачев.

Всколыхнулась вода, пошла кругами.

Афоня перегнулся через борт и замер, глядя в зеленоватую воду. Шли секунды. Ему показалось — часы. Он позвал шепотом:

— Сашка...

И не в силах выносить больше томительного ожидания, заставив вздрогнуть гребцов, простуженно прохрипел:

— Са-ашка!..

С проходившего мимо сплавного катера в рупор крикнули:

— Что там у вас случилось, эй, водолазы?

25

Впервые за последние годы Васильев блаженствовал. Прищурившись, подставлял морщинистое лицо заходящему солнцу.

Он сидел на поленнице дров у своего домика, скрытой со стороны улицы невысоким забором. Раньше он неохотно возвращался домой, теперь с нетерпением ждал конца работы, чтобы сесть к столу. А при первой возможности взял отпуск. Росла стопка исписанной бумаги.

В поселке посмеялись над его новым чудачеством и забыли. Только женщины, обсуждая у колодца поселковые новости, вспоминали иногда о Васильеве и сокрушенно качали головами: пропащая жизнь. Сам он ни на кого не обращал внимания. Рождавшееся в нем требовало молчания. Васильев боялся новых разговоров. Посмеиваясь, люди могли растоптать первые слабые ростки. Когда-нибудь он распахнется перед всеми, но не теперь. Он не обижался, сам во многом виноват.

Вчера заходил Косачев. Рассказал о поездке.

Услышав о случае с Александром, Васильев невольно вскочил, схватился за фуражку. Косачев остановил:

— Вы не волнуйтесь. Он сегодня к вечеру из больницы выпишется. Ничего страшного.

Васильев походил по комнате. Положил фуражку на место и сказал:

— Нет, каков? Даже известить не подумал. А ведь ничего серьезного и не было, назвал его перед отъездом молочным телком. Мол, бегать да бегать за маткой. И то — довел он меня.

Косачев с некоторым любопытством осматривал жилище «отшельника», как он называл про себя Васильева. Все вокруг не вязалось с обликом хозяина. Грубая сутулая фигура, широкие ладони рабочего — на столе россыпь ручек и карандашей. На полках, приделанных в самых неожиданных местах, прямо на полу в одном из углов — груды книг. У двери, непонятно почему не на кухне, рабочие брюки с неумело наложенными заплатами. Из-под брюк высовывались стволы ружья, чуть посеревшие от пыли. Удивлял выбор книг. С большинством из них Косачев был незнаком. История, философия, политика. Сочинения Ленина, Мирабо, из-за индийских «Вед» выглядывал голубой корешок Станислава Лема, Шолохов взгромоздился на увесистый том «Истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», «Золотой осел», «Крушение», Лукреций и Фрейд... Этого Косачев знал. Одно время художника интересовала теория подсознания, фрейдовское объяснение истоков творчества.

Васильев продолжал мерить тесную комнату. Из угла в угол.

— Ну, ладно, — сказал он наконец. — Я схожу к нему завтра. А теперь... ты меня прости, пожалуйста.

Он с непонятной торопливостью протянул руку; на мгновение взгляд Косачева задержался на беловатой впадине чуть выше кисти.

— Сорок третий год. Белгород, — угадал Васильев его мысль. — Ничего, заросло.

— Что только не зарастает... Вы бы зашли, Иван Павлович, посмотрели.

Быстрый внимательный взгляд Васильева прервал его. Незаметный, ускользающий момент, когда люди становятся ближе. Но сейчас его почувствовали и тот и другой. И чуть помолчали, словно проверяя, примериваясь друг к другу.

— Зайти можно. Только я плохой знаток живописи.

Куинджи — люблю. Ярко писал, с настроением. И еще — Левитана... Будто и людей нет, а все человеком дышит. А так... Стоит ли?

Косачев усмехнулся.

— Я серьезно. Искусство, впрочем, никогда не рассчитывало на знатоков.

— Не спорю. Но ты можешь и сюда заходить почаще, как-никак я у себя дома, а ты на квартире, да еще у директора.

Он проводил Косачева, было уже поздно. Темнело. Выйдя покурить, Васильев так и сидел с незаженной цигаркой, не замечая ни комаров, ни криков соседских ребятишек.

26

Пришли с работы. На другом конце поселка поскандалили бабы. Вечер подкрался незаметно, домик смотрел темными окнами. Васильев прислушался. Далеко в тайге рокотала машина, а над домиком — тихо, словно вымерло все кругом. Васильев потрогал подбородок. Наверное, с неделю не брился.

Опять прислушался и с облегчением вздохнул. Недалеко послышались голоса. Неясно — ничего не разобрать. Потом шаги: кто-то легко и быстро шел мимо, напевая песенку без слов. Голос, незнакомый и приятный, принадлежал женщине. Васильев напряг память — напрасно. Шаги оборвались как раз напротив него. Молчание, и потом Васильев неодобрительно сжал губы: «Ишь, обормот...»

— Здравствуй. Давно ждешь? — спросил художник.

— С тех пор как приехала. Здравствуй, Павел.

Звук поцелуя раздался неожиданно громко.

— Ты получал мои письма?

— Ты писала о замужестве...

В ответ — тихий, грустный смех. Теперь Васильев узнал Галинку Стрепетову.

— Нет, неправда, Павел! Так, ездила, ездила, а толку — никакого.

Пауза.

— От самой себя хотела уехать, дура. Зря все, ничего не получилось. И — назад. Тянет... Помнишь, клуб, как познакомились? Часто вспоминала. Наверное, ты смеешься про себя? Молчи... молчи...

— Я молчу.
— Мне показалось...
— Сядем?

По ту сторону заборчика стояла скамья. Васильев хотел уйти, но при первом его движении поленница зашаталась, и он остался сидеть. В его одиночество врывалась жизнь, давно им забытая. Он слушал, пригнув голову, пытаясь нащупать ногой землю и не зашуметь дровами.

— У меня много всего было — всегда несчастливо складывалось, я и внимания не обращала. А тут не смогла, заронил ты в меня что-то. Уезжала — не думала. Только потом оно пришло, себе не рада. Ну зачем, думаю, я ему такая? Неинтересно со мной, ничего я не знаю, и прошлое у меня. Сколько раз зарекалась — забуду...

— Зачем ты так, Галинка? К чему... Давай пойдем погуляем.

— Посидим еще.

Голос, неуверенный, усталый.

Потом она спросила:

— А у тебя как дела? Ты картину собирался писать.

Вздох. Негромкий смешок.

— Не выходит, все бросил. Видно, нет у меня таланта, Галинка.

Она промолчала.

— Работаю пока. Вчера только вернулся из Северогорска. За тракторами ездили.

Васильев неловко повернулся, скрипнул дровами и замер.

— Слышишь?
— Кошки небось.

Было что-то сокровенное в этом разговоре, недосказанное.

Васильеву стало жалко Галинку. В голосе Косачева сквозила сдержанность. Вот художник упомянул об Александре. Мимоходом. Несчастный случай. Едва спасли, придется посидеть с неделю дома.

Галинка слушала молча, не прерывая, затем осторожно спросила:

— Говоришь, ничего серьезного?
— Не беспокойся, растяжение сухожилий.
— А я и не беспокоюсь. Вот пойду к вам в бригаду чокеровщицей, я уже с мастером договорилась. Что мне беспокоиться? Буду коммунизм строить да вас любить.

— Галинка...

— Ну что Галинка, что Галинка?

— Дай же сказать...

— Сказать! Что ты можешь сказать? Сидишь — хоть бы нарочно обнял, как каменный, сидишь.

Васильев, приловчившись, сполз на землю. Помедлил и, ступая на носках, полусогнувшись, тихонько отошел от забора, скрылся в дверях.

27

На первый взгляд ничего серьезного не произошло. Все честь честью, успели вовремя, откачали, и — порядок. Но это казалось со стороны, другим, посторонним, только не ему самому.

Потолок в мелких-мелких трещинах, из распахнутого, затянутого марлей окна доносились шумы улицы. Стук топора, гудки машин, детские голоса. Все как прежде. Руки, спина, ноги. Нога заживает, опухоль спала. Но странное дело: не возвращалось ясное, безмятежное настроение, оно владело им со времени объяснения с Ириной и теперь сразу исчезло. Он очнулся на берегу, пришел в себя и стал бояться. Он не мог спокойно смотреть на воду. Впервые он подумал о смерти. Мучительное, неприятное чувство, не исчезавшее и во сне. Снилась Игрень, яростные волны. Они мчали его, как щепку, неудержимо затягивали вглубь, в непроходимые подводные заросли.

К нему заходили ребята. Афоня, Анищенко, Косачев, Ирина. Александр ждал ее прихода, ждал сильнее, чем прежде. Она приходила, тормошила его, много смеялась, а он не находил слов и смущался и, вероятно поэтому, с облегчением встречал ее короткое:

— До завтра, Саша.

Впрочем, у Ирины всегда находился предлог остаться. Он не прекословил, брал палку и выходил с девушкой на улицу. Ирина смотрела на него влюбленными глазами. Теперь она работала в столовой — возила на лесосеки обед и приходила или до обеда, или после, вечером. И сегодня она забежала к нему с утра, принесла пирожков, роман Олдриджа, зачитанный, залитый чернилами.

Она негромко рассказывала новости. Занятый своими мыслями, Александр почти не слушал, только поддакивал машинально, ворошил палочкой песок у ног.

Ирина оборвал на полуслове:

— Я тебе мешаю, Саша?

— Как?

— Ты не обижайся, я давно хотела сказать. Ты не слушаешь, о чем я говорю. Неприятно тебе — скажи. Сама не буду навязываться.

Он поднял голову, взглянул с недоумением. Ресницы ее чуть вздрагивали. Он хотел обнять ее и не смог. Опоздай Головин на несколько минут — и не видать бы ему темных вздрагивающих ресниц, не слышать голоса Ирины. Глупая, он же любит.

Она увидела нежность в его глазах.

— Ты слышал, Галинка Стрепетова вернулась, — сказала она небрежно, напряженно глядя перед собой, туда, где тайга подпирала небо.

— Да?

— Говорят, будет здесь жить.

Разговор оборвался. Галинка — прошлое, больное, но прошлое.

Галинка ушла из его жизни, ничего не оставив. Теперь он сам видел, что их свел случай и настоящей близости между ними не было.

Он обнял Ирину за плечи. Хотелось сказать многое. О себе, о прошлом. Не поворачивался язык. Да и не это — он чувствовал — главное. Она ждала не этого.

— Скучаю без тебя, — сказал Александр.

Ирина ответила не сразу.

— А ты не скучай.

Он хотел сказать о своей любви, о том, что им нужно пожениться.

— Господи, Сашка, я так тебя люблю, так люблю. Мне даже страшно становится — вдруг исчезнет?

— Глупая, я люблю тебя. Ничего не может исчезнуть без причины.

— А вдруг?

— Трусиха ты, Ирка.

Вечерело. Горизонт замыкали цепи сопок, с наступлением вечера они словно приближались. Дымил далекий двуголовый вулкан. Они видели его чуть ли не каждый день, — картина, которая никогда им не надоедала. Ирина думала о другом, чуть сдвинув густые тонкие брови. Александр слегка горбился и потирал нывшую щиколотку.

— Ты очень изменился после поездки, Саша, — ска-

зала наконец девушка. — Если бы я тебя не знала раньше... Странно, в самом деле. Словно другой человек.

— Не обращай внимания. Пройдет.

— Ты иногда кажешься мне старым-старым.

— Не убивай, пожалуйста, — Александр невольно рассмеялся и, сгоняя улыбку, умолк. — Знаешь, мне думается, человек — действительно странная штука. Он вынужден порой сталкиваться с необъяснимым. И стараться понять не стоит. Нельзя.

— Что же это? — негромко спросила Ирина, притрагиваясь к его руке.

— Ты только не смейся, — попросил он, пристально рассматривая ее пальцы. — Простая и дикая вещь... Смерть.

Сказал и почувствовал легкое, теплое движение ее руки.

— Я понимаю, — не вдруг отозвалась Ирина.

Они сидели в тенистой части двора: скамью густо укрывал разросшийся шиповник.

Ирина смотрела на Александра пристальным, долгим взглядом. О многом говорили ее глаза, и он забыл себя, реку, свой страх.

28

В сумерки пришел Васильев, весь пропахший махоркой, неторопливый, помолодевший. Александр никого больше не ждал, готовил ужин. В темном прямоугольнике двери фигура Васильева выросла бесшумно. Юноша выпрямился и запрыгал к нему на одной ноге.

— Старик... Пришел? А я думал — сердишься. Словно колдун: раз — из ничего и явился. Проходи, ужинать будем. Честно говоря, соскучился по тебе. Ну, здорово.

— Здравствуй, Сашка, здравствуй. Хромаешь, чертушка?

— Ерунда. Страху я, правда, натерпелся. Под водой-то схватило за ногу... Корягу притащило невесть откуда. Жуть... Садись, старина. Да что с тобой?

— Ничего, не обращай внимания.

Васильев тронул порезанный во время бритья подбородок. Давно он здесь не был. При жизни Архиповой он приходил сюда часто. Та жалела его по-женски незаметно, необидно. Здесь он находил некоторое облегчение.

Затаенно следил за неслышными хлопотами женщины, за ее неторопливой гибкой походкой. Иногда чувствуя его взгляд, она оборачивалась, улыбалась серыми глазами. Если он являлся пьяный, женщина сердилась. Не разговаривала, плотнее куталась в пуховый платок и уходила из комнаты. Он пьяно посмеивался и глядел поверх двери, на чучело белки. Чучело находилось там и теперь.

Васильев кашлянул. Он никогда не отличался робостью, но сейчас колебался. Александр вырос у него на глазах. А последние месяцы между ними не раз разгорались довольно принципиальные споры, и оба расставались порой насмерть обиженные. И может быть, их сводила потом только давняя привычка. Кто знает, не хохотнет ли некстати этот длинный худой парень и теперь, не станет ли со свойственной ему прямотой оспаривать выстраданное всей жизнью? Стойкое поколение — Васильев не раз чувствовал его непонятную силу.

И Александр из таких. Иногда Васильева забавляла его бесцеремонная уверенность, но чаще сердила и настораживала. Откуда у них уверенность? Опыт жизни? Нет. Знания? Тоже не очень. Воспитание, окружающая среда?

Все, конечно, было намного сложнее, умом Васильев понимал, в душе становился на дыбы. Особенно слыша поучения. К ним последнее время он стал нетерпимым.

Васильев сунул руку в карман, помедлил.

— Сашка, ты можешь уделить мне немного времени? — спросил он.

— О чем разговор? И с такой торжественностью... Минутку, картошку солью. Что-нибудь важное?

Александр не услышал ответа, посмотрел. Васильев сидел у окна, шуршал листками бумаги. Александр сдвинул кастрюльку с огня. В отверстие вырвалось пламя. Александр накрыл его кружком, отряхнул руки и подошел к столу.

Васильев выпрямился, понаблюдал за хлопотами хозяина.

Белка с лихо задранным хвостом бежала и никак не могла добежать до потолка. И это — с тех пор, как помнит Васильев.

Александр принес миску с огурцами. Потом, стараясь не шуметь, осторожно вытягивая больную ногу, опустился на стул и стал чистить селедку.

29

Они ели дымящуюся картошку. Александр подкладывал.

Васильев был возбужден. Он то и дело пытливо вглядывался в лицо Александра. Перекладывал с места на место густо и неразборчиво исписанные листки. Находил нужное, читал, объяснял. Александр никогда не видел его таким. Александр подумал о вулкане. Еще тихо кругом, но приложи ухо — и услышишь грозное ворчание; приглядись — и увидишь, как осыпаются почти незаметные струйки земли — слабое дыхание будущей лавы, которая многое сметет на пути. Пример не совсем подходил, но Александру понравилось. Он открыл рот и, взглянув на Васильева, промолчал.

— Я не знаю, откуда пришло. Или спасение, или конец.

Васильев помедлил, представил то, о чем говорил.

— Многие прощают или оправдывают. Я не могу. Сейчас не исправить прошлого. Лично мне необходимо осмыслить этот рубеж. О всей стране говорить не стоит. Перешагнув, она лишь окрепла. Раньше становилось страшно. Тут, очевидно, возраст: ребенку страшно, взрослого не пугает. Жил я, Сашка, жил, и захотелось мне подумать о своем времени, решил я написать, вспомнить. На наших глазах были взлеты и падения таких деятелей, перед которыми склонялась эпоха. Все мы свидетели, но относимся по-разному. Помнишь наш разговор о культе? Думаешь, у меня личное? Обида, так сказать, и прочее?

— Постой, Павлыч, я же слушаю.

— Послушай. Вам, Сашка, идти дальше, вам нужно знать всю правду. Нет такой правды, которая не касалась бы народа. Иное все — крючкотворство законников, юристов. В чем сила Маркса, Ленина? Почему их учение проходит через все испытания и побеждает опять и опять? Его пытаются извратить, очернить, ан нет. Не получается, и никогда не получится. Удивляются иные, а взгляни поглубже. Правда Ленина — правда народа, Сашка. Твоя, моя, тысяч, миллионов, всей земли. Поэтому она всемогуща, нет силы выше. А разве Ильич хоть однажды что-либо пытался скрывать? Горькое — вот вам горькое, только от вас зависит, вы хозяева, и вам нужно знать, что и как. Неприятности — вот они, подумайте и делайте, у вас

здравый смысл вы поймете. Только сумасшедший может пожелать камня вместо хлеба. Ты прости, может быть, я утрирую, но суть не меняется. И вот теперь еще раз подтверждается: правда Ленина бессмертна. Громкие слова, Сашка, он и сам их не любил, да мы не виноваты, что хорошие слова засалили своими руками мерзавцы. Теперь вот культ. Помнишь Островского? «На нашем знамени не должно быть ни одного пятнышка». А человек, выдвинутый народом руководить? Он может и должен, в случае, быть беспощадным, но он не имеет права быть грязным. Ты молодой, Сашка, послушай начало, вроде бы вступление.

Он отыскал нужную страницу. И долго не решался. Ну что же...

Васильев кашлянул, поиграл скулами.

— «Я буду говорить правду, и только правду. Как под присягой. Я расскажу о людях — моих современниках. Я ничего не скрою: ни хорошего, ни плохого. Чтобы жить, мне нужно высказаться. Я расскажу, как искали правду времени мои товарищи, как мучительно, тяжко ворошили самих себя и понукали к действию и борьбе. Я расскажу о себе. Я небольшой человек, живу у черта на куличках, работаю. Я стар и некрасив, люблю пофилософствовать. Но найдите хоть одну русскую деревню без собственного философа. Это служит мне оправданием. Мой отец был простым мужиком. Он погиб, сражаясь с Юденичем. Наверное, он и не представлял толком, что такое коммунизм.

А я — лесоруб. В то время когда я подношу пилу к дереву, где-то, вероятно, взрывают атомную бомбу. Тень новой войны. Чтобы ненавидеть войну, о ней нужно говорить правду. Я шел от Москвы до Берлина. Можно, отвернувшись, пройти мимо убитого солдата — на войне привыкают. Но убитые дети и женщины... Кто осмелится сказать, что и к этому можно привыкнуть?

Я взмахиваю топором, где-то вырастает гриб атомного взрыва. Люди! Не смейте молчать!»

Васильев оборвал. Потянулся к тарелке, раздумал и стал собирать разбросанные по столу листки. Свернул их, вздрагивающими слегка пальцами сунул во внутренний карман пиджака.

— Вот... Теперь и картошки можно. Как думаешь, не остыла?

Но Александр понял, что Васильев ждет.

Юноше хотелось спросить о многом.

— Книга только о прошлом, Павлыч?

— Пока — да. Мы вынесли на плечах одну из самых жестоких войн. Ты знаешь, меня давно интересовала история. Судьбы двух народов — немцев и русских. На примере этой войны я хочу проследить и судьбы людей, и то новое, что появилось в характере войн после Октябрьской революции. И потом... Да, я хочу связать и с настоящим. Пытаюсь осмыслить связи, но...

— Трудно?

— Оказалось, я плохо знаю происходящее. Задача. Например, Головин, десять лет бок о бок. Когда он стал захаживать к вам... к матери, я на него разозлился. До этого просто не замечал. А он не раз заговаривал со мной. Он что-то делал. Слышал смутно, что у него есть какие-то брошюры. И ты... Со своими идеями. Ты говорил, а мне было тошно. А когда стал писать, вижу: чего-то не хватает. Прошлое — оно и есть прошлое. И знаешь, Сашка, в башке много еще мути, но одно, кажется, я понял. Само по себе прошлое никому не нужно. Ни для чего, никому. А вот если оно поддерживает настоящее...

У Александра блестели глаза. Из сказанного Васильевым он почти ничего не помнил. Он радовался другому: самой перемене. Прорвалось все-таки... Ах, черт возьми, хорошо-то! Он забыл о больной ноге.

«Старик! Старик! Разве дело в том, верю я или нет? Пусть ты сейчас католичнее папы римского и говоришь трескучими фразами. Пусть ты далек от маленьких человеческих забот и горестей. Пусть все это мне нисколько не нравится, но я тебе не скажу — мне нравится другое».

Нескладный, в накинутом на нижнюю рубашку пиджаке, он задумался. На столе остывала, начинала темнеть недоеденная картошка. Александр не замечал чуть насмешливого, доброго и ждущего взгляда Васильева.

— Что же ты молчишь, Сашка?

Александр встряхнулся.

— Прости, Павлыч. Я думал о стихах. Недавно прочитал, забыл автора. Не то башкирский, не то татарский поэт. Он там пишет о человеке, который шагает по звездам, и они похрустывают под его ногами, как галька. Правда, здорово?

— Правда, — согласился Васильев.

— Я думал о тебе, о себе...

— Учиться тебе надо, Сашка.

— Да. Но я сейчас не о том. Когда ты это задумал? Нет, если не хочешь, не говори.

— Ишь ты... Скажи на милость, какой деликатный. Словно первый раз видимся. Чего уж... Этого, пожалуй, не расскажешь. Помнишь, когда я тебе о своей жизни поведал, так сказать? Тогда мне все равно было. А потом я чуть язык себе не вырвал. Я же помню твои глаза. А я к тебе привязался, еще к мальцу. Мне хотелось счастливой жизни для тебя. И вдруг — яд. Я — одно дело. После увидел, что опасаться мне нечего, но тут началось другое. Ты понимал меня, старался что-то сделать... и жалел.

— Брось, Павлыч.

— Подожди. Давай начистоту, Сашка. Жалел, и я чувствовал: ты уходишь, тебе со мной тягостно. Ты начинал все больше говорить о Головине, о Косачеве. Нет, пожалуй, тебе не понять, когда вот так: уходит последний близкий человек. Он и рядом, и нет его.

— Но ведь я...

— Не надо, Сашка. Ничего не надо говорить. Бури — они разные бывают. Но вот невидимые в душе подчас разыгрываются... Может, было вначале криком отчаяния, попыткой удержать, доказать тебе: стою, мол, и внимания и дружбы. И могу что-то дать... А потом переросло в большее. Ведь не одному тебе, и мне, и другим, возможно, чуть-чуть пригодится... Ты только скажи, ты веришь?

Движением плеч юноша сбросил с себя пиджак, похромал по комнате и наконец остановился, привалясь спиной к стене.

— Если человек захочет, он может все, — услышал Васильев.

Он хотел пошутить, улыбнулся, но задумчиво сказал:

— Дай бог, Сашка.

Потом они разговаривали и старались говорить о другом, спокойно, но про себя Александр не переставал удивляться. Васильев долго допытывался у Александра о его предложении насчет самоуправляющегося участка.

Александр пробовал отшутиться. Не вышло. Поглаживая больную ногу, он сказал:

— Зачем, спрашиваешь, нужно? Мне нужно, чтобы жить. Пусть я не вижу пока ясно, чего хочу. Чувствую — хочу большого. Стать инженером? И это — все? На всю

жизнь? Мало. Вот Косачев хочет картину написать такую, чтобы ахнули. Конкретное дело. Мне тоже нужно такое, конкретное. Мне мало того, что я работаю. Может, это и есть вера моя. Можно лучше — нужно, значит, добиваться.

— А тебя не страшит такой долгий путь?

Александр не ответил. Завозился, устраиваясь удобнее.

— Вчера Головин заходил, опять разговаривали.

— Об участке?

— Угу.

— Интересно... И как?

— Пока не соглашается. Рано, говорит, не продумал полностью. Хочешь, старина, подключиться к этому делу? Интересно ведь. Как, Павлыч?

— Размышляю, не окажется ли палка о двух концах.

Они проговорили всю ночь. Александр проводил Васильева до калитки.

— До свидания, Павлыч, — сказал он. — Напечатают тебя, станешь не пильщиком, а писателем... Не зазнавайся, смотри, старик.

Васильев засмеялся.

— Не сглазь.

— Я сплюну.

Проходя темным коридором назад, Александр, прежде чем войти в комнату, остановился. Бросилась в лицо кровь. Показалось, что за ним кто-то следит. Минута — и произойдет страшное, непоправимое.

Он рывком распахнул дверь. Постоял, сдерживая дыхание, и начал раздеваться. Но долго не спал. Возможно, и его подстерегала своя буря. Как-то он выйдет из нее? Каким?

Комната полнилась шорохами. Он засыпал, просыпался, опять начинал дремать. Ему приснилась Ирина, затем Васильев, затем никогда не виданная, залитая солнцем Москва, над которой на широких самодельных крыльях летал почему-то Афоня Холостяк.

30

Нога зажила через неделю.

Похудевший, побледневший, он теперь много ходил, слегка прихрамывая.

Кончался июнь. За два дня юношу спалило летнее солнце.

Жизнь в поселке шла своим чередом. Пылили по дорогам лесовозы.

В первый же день Александр встретил Галинку. Они поздоровались сдержанно, прошли мимо друг друга и даже не оглянулись. Ирина, видевшая это из окна столовой, облегченно вздохнула про себя и не заметила старшего повара Дарьи Поликарповны, заглянувшей в судомойку.

— Господи Исусе, и что это ты делаешь, милая?

Поджав губы, Дарья Поликарповна выплыла из кухни. Девушка перемывала вытертые насухо тарелки.

31

В последний июньский день в Игреньске состоялось рабочее собрание. Здание клуба было переполнено. Окна распахнуты настежь, двери — тоже. В президиуме — Головин, бригадир конной трелевки Гринцевич, мастер Центрального лесоучастка Назаров. Сбоку примостился Кузнецов. Он только что выступил с прочувствованной, зажигательной речью об увеличении плана лесозаготовок, мягко прошелся по недостаткам, взволнованно и ярко рассказал о начавшемся движении бригад коммунистического труда. Светлея глазами и улыбкой, он с воодушевлением призвал игреньцев поддержать славный почин страны и закончил под одобрительные, дружные хлопки. Довольный удачным выступлением, он обтирал вспотевшую лысину клетчатым платком и скромно косился на густо дымящий зал. Кроме того, ему удалось виртуозно обойти стороной все вопросы, касающиеся мероприятий по лесовосстановлению.

Головин насторожился. Он не знал о договоренности Кузнецова и Почкина не затрагивать на собрании спорных вопросов. Кузнецов не был уверен в поддержке обкома, и Почкин обещал уклониться от выступления.

Вел собрание Гринцевич. Александр сидел в третьем ряду. Вопрос обсуждался серьезный: увеличение лесозаготовок чуть ли не вдвое. Афоня Холостяк, ерзая рядом, мешал сосредоточиться.

— Не-ет, ты подумай! Бригаду назови как хочешь — коммунистической, социалистической... Но два кубометра — это два, а четыре — четыре. Дать вдвое больше! Нет, ты подумай!

Зал гудел множеством голосов. Обдумывали услышан-

ное. Обсуждали. Никогда еще не было такого бурного собрания. Пришел Васильев. Александр видел его сбоку — жесткий худой профиль. Павлыч сидел молча, слушал, временами поворачивал голову, окидывая взглядом зал, президиум, пристально всматривался в лица, точно видел их впервые.

Александр ясно понимал теперь — Васильев не тот. Человек ожил неожиданно для себя, открыл новый мир, в котором маленькие заботы людей уже не кажутся никчемными, в котором все связано. Он незаметно осматривал людей, следил за Головиным, за парторгом. Головин, чуть наклонив голову, хмурился. За спиной у Васильева перешептывались, вполголоса обменивались мыслями.

Сменялись выступающие. На трибуну вышел Глушко. Парторг начал издали, обрисовал настоящее положение дел и перешел к возможностям леспромхоза. Его речь изобиловала шутками, и в зале то и дело вспыхивал смешок. Глушко отметил несколько случаев пьянства на работе, уже известных всем по последнему приказу директора, назвал ряд фамилий, и кто-то из женщин отчетливо проговорил:

— Им бы покрепче всыпать. А то что это — выговор. Рублем надо.

— Ишь, ретива! Сама...

Гринцевич побарабанил по графину карандашом. Глушко оглянулся и продолжал:

— Коммунистическое движение имеет глубокие корни. Некоторые думают — скоропалительная выдумка. — Парторг взглянул в сторону Афони Холостяка, тот сосредоточенно рассматривал потертый лацкан пиджака. — В настоящее время коммунистическое движение приобрело новые качества. Но вспомните первые коммунистические субботники, вспомните стахановцев. Там корни нынешних бригад коммунистического труда. Это — необходимость нашей жизни. Я вот расскажу сейчас один довольно любопытный случай. Все вы знаете Александра Архипова. Молодой рабочий, вырос у нас.

Александр приподнял голову. На него оглядывались. Чего это Глушко выдумал?

Но Глушко уже рассказывал о предложении Александра насчет самоуправляющихся участков, рассказывал с мельчайшими подробностями. Александр удивился. С парт-

оргом он ни разу не разговаривал. Александр посмотрел на Головина.

В зале примолкли. Откуда-то сзади донеслось:

— Ишь куда хватил!

На него шикнули.

— Идея такова, — продолжал Глушко, — рабочие должны управлять сами. То есть рабочие должны быть и техниками, и инженерами: сама по себе идея большая и важная, и то, что ее выдвинул один из рабочих, говорит о многом. Кто знает, не является ли движение коммунистических бригад подступом, своеобразным переходом именно к такой форме трудовой жизни, к коллективному управлению предприятиями, а потом и всей промышленностью? Архипов не учел главного: его предложение осуществимо только в определенных условиях. Рабочие таких предприятий должны быть технически очень образованными, с высокой сознательностью. Должны уметь мыслить широко, иметь государственный подход ко всему. Я не говорю о неосуществимости предложения Архипова. Оно заслуживает пристального внимания. Это поиск, а поиск сам по себе уже ценен. Но не лучше ли начать с азов? Все вы знаете, полгода тому назад у нас появилась бригада коммунистического труда Иванова Григория Петровича. Грузчики с тридцать седьмого участка. Их здесь нет. Сегодня они в ночной смене, но все вы знаете — эта бригада лучшая в нашем леспромхозе, пожалуй, и в области. Почему бы Архипову не пойти таким путем? Архипов, Косачев, Анищенко, Красиков, Холостяк... Молодежь... Бригада механизированной трелевки. Отсюда и начать.

— А что? — Афоня Холостяк одернул пиджак. — Если взяться, нос ивановцам утрем запросто.

— Вот возьмитесь.

— Возьмемся, не из пугливых. Как, Сашка?

Афоня, привлекший к себе внимание всего зала, поднялся и, жестикулируя, пустился в рассуждения. Но ему не повезло. Его прервал возмущенный женский голос, едва-едва вошел он во вкус и стал говорить о пользе учебы. Афоня безошибочно узнал жену. Маленькая, остроносая, она встала и, адресуясь к мужу, спросила нарочито добреньким, сладким голосом:

— Афанасий Демидыч, я не ослышалась? Это тебя в коммунистическую бригаду?

— А что, я у бога теленка съел?

Женщина не выдержала роли, всплеснула руками:

— Люди добрые... вы послушайте! Да тебя не в бригаду, а в каталажку, сукиного сына!

— Мария!

Холостяк возвысил голос, но точас понял, что совершил грубую ошибку. Он хотел добавить примиряющее словцо, постарался улыбнуться, но поздно. Мария, всегда незаметная, немногословная, тихая Мария, рыбкооповский бухгалтер, окончательно взбеленилась. Не обращая внимания на позвякивание председательского карандаша, она пробралась вперед и оказалась рядом с мужем.

— Мария! — проговорил Афоня просительно и тихо.

Мария — руки в бока — глядела на него в упор.

— Что Мария? Я уже двадцать пять лет Мария. Ты лучше расскажи, куда три тысячи дел. Нет, ты не уходи, ты всем расскажи. Пропил. Прогулял... Три тысячи за два дня!

Ложь! — Афоня глядел на Александра, с трудом сдерживающего смех. — Обман! Кто угодно подтвердит — ограбили! Впрочем, я потом с тобой поговорю, пошли, хватит. Голову дома забыла, что ли? Очумела баба.

— Погоди, Холостяк, — прервал его Головин. — Ты чего расходился? Сам виноват, а Мария правильно говорит. Миллионер какой нашелся. Жене небось и на платье поскупился?

Афоня с достоинством обернулся.

— Разговор семейный, прошу, товарищ директор, не вмешиваться. Пошли, Мария.

Мария не подчинилась. Из дальнего угла донесся голос Мефодия Раскладушкина:

— Бабы теперь больно грамотные стали...

Ему не дали договорить. Головин рассмеялся.

— Видишь, во всяком деле нужна честность. Никто насильно не неволит, а живешь — не скрывай, не лги. А ты как думал?

— Ты его крой, Трофим Иванович!

— Попался, Афоня!

— Удружила жинка, ничего не скажешь. Ай да жинка! С такой не пропадешь.

— А чего ты скалишься? По-твоему — как? В зубы вам глядеть? Наблудил, а потом в кусты?

— Товарищи! Давайте соблюдать порядок! — могучий бас Гринцевича перекрыл веселый гвалт.

— Хватит, ребята, гоните Афоню со сцены. К делу.

— Интересный разговор на пустяки сошел.

— Не пустяки это.

— Гринцевич, разреши мне, — попросил Анищенко. — Вношу предложение: не уводить собрание в сторону. Что за ерунда? Афоню потом обсудим, не последние три тысячи в его жизни. О деле нужно говорить. Чего ржете? Ты чего, Сашка, молчишь? Или у тебя другое на уме, не дождешься, пока говорильня кончится?

Гринцевич звякнул карандашом.

— Полегче...

Анищенко вскинулся.

— Прошу рта не зажимать.

Гринцевич усмехнулся, но промолчал.

— Поступок Холостяка, чего тут... Но это еще не предмет серьезного обсуждения.

— Ближе к делу, Анищенко, не умничай. Мы и без того знаем, что ты десятилетку окончил.

— Довольно воду толочь, двенадцать скоро.

Отмахиваясь от назойливых голосов, Анищенко спросил, поворачиваясь к президиуму.

— Тут времени жалеть нечего. О деле говорю. Например, экономия. На заводе материал экономят, а наш материал — тайга. А как мы с ней обращаемся? Взгляните после рубки на лесосеку... Что? Старые лесосеки зарастают осиной — никому не нужным деревом. А ценные породы, растущие медленно, исчезают. Ждите теперь два столетия, пока они возобновятся. Два столетия! После себя, как варвары, мы оставляем разрушение. Лес принадлежит будущим поколениям так же, как и нам.

В президиуме оживились, в зале зашумели.

— Разве не нужно с этим бороться? Разве не можем мы брать от тайги все, что она дает? Все отходы сжигаем, пни гниют, заражают молодую поросль болезнями и насекомыми. С этим надо кончать. Давно назрело. В колхозе, снимая урожай, тут же начинают готовить поле под новый посев, у нас должно быть так же. Такой вопрос нужно ставить перед обкомом, если надо. Мне хотелось бы услышать мнение главного инженера товарища Почкина. Очень жаль, что на собрании его нет. Многим из нас очень хотелось услышать товарища Почкина и узнать, чем именно ему не нравятся опытные участки и почему он так успешно с ними борется. Губить будущее мы не имеем права. Не знаю, как

в других леспромхозах... А у нас возможности для этого есть.

— Для чего? — подбросил кто-то вроде бы ненароком. — Губить будущее?

Анищенко зло повел глазами.

— Нет... Сберечь его. Бестолковому нечего переспрашивать, все равно не поймет.

— Ого! Взъерошился ты, брат.

32

Головин переглянулся с парторгом. Он никак не ожидал того, что началось после выступления Анищенко.

Опять взял слово Кузнецов. Но своим вторичным выступлением лишь подлил масла в огонь. Не опровергая главной мысли Анищенко, он указал на неограниченные запасы леса в нашей стране, на его ежегодный прирост, всегда превышающий заготовки, и говорил о более медленной, безболезненной перестройке леспромхоза.

Чей-то совсем мальчишеский голос прервал его словами Хрущева, что расточительность никогда не была признаком ума и богатства, и Кузнецов смешался. Гринцевич в который раз уже тщетно призывал к порядку. Головин хмурился. Ловил на себе взгляды Глушко. Все, о чем говорил инспектор, и директору и парторгу было знакомо. Точно такими доводами в пятьдесят первом году разгромили в Северогорске проект Головина. Невозможно соединить лесохозяйственные и лесопромышленные функции без ущерба для роста производства. Нехватка людей и средств. Ведомственные препятствия.

Кузнецов в более мягкой форме повторял доводы почти дословно. Опускаясь на стул, он взглянул на часы и с огорчением подумал, что пропустил время, когда нужно было выкурить очередную папиросу. Чтобы не ломать распорядка, придется полчаса ждать.

Нарушив его мысли, встал Головин. Попросил слова. Гринцевич кивнул. И Головин заговорил. Он один за другим разбивал положения Кузнецова. Не глядя в его сторону, бросал в зал отрывистые, резкие слова. Сказал о запасах промышленного леса в крае, о том, что этих запасов хватит на пятьдесят лет при любом росте заготовок, но потом лесную промышленность в долине Игрень-реки придется свертывать и завозить древесину из других районов страны. Но это в том случае, подчеркнул он, если

лесовосстановление будет двигаться прежними темпами, если положиться только на природу.

— На месте ели и лиственницы — ценных промышленных пород, — если не вмешается человек, вырастет сосна, береза, ольха. Вот что мы будем иметь через пятьдесят лет. Уже сейчас необходимо бить в набат. Финансовые затраты невелики, со временем они окупятся. Я лично считаю, что рабочие, поднимающие вопрос о более бережном отношении к тайге, честные люди, они совершенно правы. На территории нашего леспромхоза можно провести первые опыты в этом отношении. Я уверен — рабочие поддержат. У нас много молодежи, грамотной, жаждущей интересных дел. Мы при желании горы сдвинем! Наступает время, когда любая работа переходит в творчество. Старожилы знают, что такой вопрос ставился нами лет десять тому назад.

Он назвал несколько фамилий, мало кому известных. Одни уехали, других не было в живых. Андрей Кортаков...

Головин помедлил.

Лучший друг, инженер по лесоустройству — в сущности, это была его идея... Бессонные ночи. Споры.

Головин обвел взглядом притихший зал. Сотни глаз. Ирина сидела недалеко — он неприметно ей улыбнулся. Дочь пойдет по его дороге. Она любит тайгу, знает, что лес — тот же хлеб. Это его заслуга. Когда она узнавала первые тайны леса, то, удивленная, совсем по-детски спрашивала: «Папка, ведь деревья тоже люди, только заколдованные, правда?» Недавно она упомянула о кружке молодежи, который будет изучать тайгу и делать первые практические шаги по осуществлению его проекта.

— Да... Леспромхоз примерно на территории десяти тысяч квадратных километров может работать вечно. Очень крупный леспромхоз. Но для этого нужна лесохозяйственная революция. Леса нужно все больше. Ерунда, его запасы далеко не безграничны. Тайга отступает в труднодоступные места. Человек должен прийти на помощь природе. Нужно установить строжайший контроль государства, связать вырубку и восстановление. Передать в одни руки. Может быть, лесхозам, усилия которых главным образом должны быть направлены на восстановление гарей и старых вырубок. Сейчас через каждые двадцать пять—тридцать лет леспромхоз вынужден перекочевывать

на новое место. Опять требуются новые дороги, новые поселки — все старое летит псу под хвост. Для лесопромышленности нужно составлять планы не на пять, не на десять лет, а на столетие. Представьте себе, товарищи, леспромхоз, работающий на той же территории сто лет. Постоянные лесные городки, сеть постоянных дорог, окультуренные таежные массивы без гнуса и комаров — бича наших дней. Комбинаты по переработке древесины не только деловой, но веток и корней. Ткани, одежда, корм для скота — все что нужно человеку. Зеленые города будущего. Химера? Утопия? Нет. За нами первые шаги. Бригады коммунистического труда в лесной промышленности должны положить начало.

Головин оглянулся. Гринцевич пододвинул ему стакан с водой. Глотнув, Головин поглядел в зал, развел руками.

— Простите, товарищи. Мое выступление затянулось, может показаться не по существу. Но вопрос важный, и я, как говорят ораторы, закругляюсь. Тут выступал Анищенко. Он прав. Пора подойти к делу посерьезнее. Главного инженера, к сожалению, нет, я посылал узнать перед началом. Говорят, не вернулся из тайги. Можете мне поверить, я разговаривал с Вениамином Петровичем не раз и не два. Но доказать не смог. Ему это почему-то кажется лично моей причудой. Может быть, здесь все сложнее, чем я думаю, но это вопрос другой, из области психологии и человеческих отношений. Не здесь разбирать. Сейчас мне хотелось бы сказать одно: рожденное жизнью очень скоро становится необходимостью и законом. Тут не отмахнешься, не повоюешь. Рано, поздно ли — необходимость свое докажет.

Головин все время чувствовал на себе взгляд Кузнецова, сидевшего напротив в первом ряду. Ему показалось, что тот вполголоса возразил. Он слегка покосился в его сторону.

Тот больше не улыбался. Хранил молчание. Из глубины зала послышалось:

— Хватили, Трофим Иванович... На сто лет. У нас рукавицами никак не обеспечат.

Головин по голосу узнал длинного Федьку-матроса.

— Радио нет на четырнадцатом!

— А столовой?

— Кончай! Не скулите! Вопрос особый. И верно, кому-то надо начинать.

— Это же интересно! Тебе бы, Федька, только ню-нить.

— Человек дело говорит...

Александр вслушивался в хлесткие выкрики. В помещении душно, накурили, надышали. Окна настежь, время от времени по залу прогуливались ветерки. Дело принимало неожиданный оборот, и нужно было выступить. Александр долго оттягивал, мысленно проверял себя снова и снова. Так и с ребятами договорился: попробовать. Момент удобнее вряд ли повторится.

Александр не предполагал, что главная трудность окажется в нем самом. А вдруг — осмеют? А вдруг потом не получится?

Собрание шло к концу. Анищенко посмотрел на него вторично и довольно выразительно. Один из рабочих, навалившись на трибуну, подняв темный кулак и потрясая им над головой, говорил о внимании к людям. Александр решился.

Но в тот самый момент, когда опустился темный кулак и оратор, покашливая, отошел от трибуны, появился главный инженер. Чуть опередив Александра, он еще в дверях поднял руку:

— Председатель, прошу слова!

В президиуме зашевелились. Головин чуть поднял голову, но остался сидеть с тем же выражением лица, только слегка посуровел глазами. Он вдруг понял, почему прошел по залу шорох и говорок, почему до сих пор он и сам нет-нет да чувствовал беспокойство. Словно потерял привычную вещь. Несколько раз он даже похлопал по карманам. Портсигар был при нем, автоматическая ручка тоже. Но чувство беспокойства не проходило. При появлении главного инженера все стало на свои места. Собрание без Почкина? Ведь это его стихия!

Председательствование, речи, непрерывные реплики... Не успел он появиться и взяться за края трибуны, выставив острые локти, как и Головину и многим другим показалось, что собрание вот именно теперь только началось.

У Вениамина Петровича ко лбу прилип завиток волос.

Извинившись за опоздание, Почкин оглядел зал, встретился с пристальным взглядом Ирины. Отметил про себя выжидающую тишину и понял, что до этого говорили о нем. Покосился на президиум.

Он устал за день. Только час назад удалось ликвидировать неожиданно вспыхнувший на дальних лесосеках пожар. Он даже не имел возможности сообщить по телефону. А раньше — осмотр машин на Центральном участке, бесконечные разговоры. Он попросту устал. А здесь, несомненно, беспочвенные проекты, отвлекающие от главного дела, здесь ожесточенные дебаты и на все лады склоняется его имя. Нет, Головин не тот человек, не ему стоять во главе современного производства.

Почкин вторично окинул зал глазами. Сдержанно и спокойно. На минуту ему захотелось махнуть рукой, отойти от трибуны. Делайте, что хотите... Но потом...

Никогда ни раньше, ни после игреньские лесорубы не слышали такой речи. Вениамин Петрович объяснил вначале причину своего опоздания, сказал о недостаточном соблюдении правил пожарной безопасности многими рабочими, взглянув в сторону Александра Архипова, назвал его имя — трактор при последнем осмотре оказался без искроулавливателя. Главный инженер не называл Головина, но все поняли: речь пошла о нем. То, о чем рассуждали не вполне ясно, о чем говорили не совсем уверенно, выплеснулось открыто, прямо. Сонливости, усталости как не бывало. Удивленно вытягивались шеи, озадаченно поблескивали глаза. Маленький человек, плечи и голова которого еле виднелись из-за обитой кумачом трибуны, бросал в зал фразу за фразой, факт за фактом своим удивительно звучным и глубоким голосом. Все или почти все перестали замечать его маленький рост.

Александр вытянул шею. Ему не нравилось выступление, но он завидовал умению Почкина убеждать, его самообладанию, его манере держаться.

Главный инженер не упомянул о проекте и планах Головина. Он разгромил их прежде, чем многие поняли.

В отличие от Головина, главный инженер говорил о простых, до зарезу нужных вещах. О необходимости повышения заработков, о недостатке запасных частей для машин, о ремонте бани, об изношенности машинного парка, о необходимости замены старых машин новыми.

В зале нарастало одобрение. Понимали и в президиуме, чувствовал и Почкин. В конце концов, все знали, сколько сил отдает главный инженер делу, не виноват же он, что в некоторых вопросах расходится с директором. Он не пытался свалить на кого-нибудь ответственность за

неурядицы, он лишь указывал на недостатки и призывал подумать в первую очередь именно о них.

— Правильно, Вениамин Петрович! — раздалось из глубины зала. — Здесь уже говорили — из мечты супа не сварить.

— Тише!

— Чего там! Правильно говорит! Что мы — леспромхоз или институт? И своих дел по горло!

Главный инженер поднял руку.

— Тише, товарищи! И то нужно, и другое. Но, отправляясь в дорогу, человек должен хорошо снарядиться. И вот тут-то...

Он разделил людей на реалистов и утопистов, сказал, что мир подчинялся и подчиняется законам реальности и без реального, трезвого взгляда на вещи можно завалить выполнение плана и потерять знамя обкома и облисполкома.

— Вместо совершенствования своих трудовых навыков, некоторые молодые рабочие начинают искать пути полегче. Нужно серьезно разобраться, что за этим стоит. Группа трактористов во главе с тем же Архиповым носится с новой и, по-моему, слишком преждевременной утопией о чем-то вроде самоуправляющегося участка. Протягивая руку к логарифмической линейке, нужно выучить хотя бы таблицу умножения. Давно ли тот же самый Архипов чуть не угробил лесовозную машину? И все по одной причине — обратить на себя внимание. Я не говорю...

— Ерунда! — раздался глуховатый голос Глушко. — Я, например, думаю иначе, Вениамин Петрович.

Почкин, не поворачивая головы, выслушал и отрубил:

— Я кончаю. И остаюсь при своем мнении. Все наши силы должны быть брошены в данный момент на выполнение плана. Все...

Александр, давно сжимавший кулаки в карманах, вскочил на ноги.

— Гринцевич — дай пару минут!

— Хватит!

— Час ночи — с ума сойти.

— Да пусть скажет.

— Хватит! Наговорили сорок коробов. Завтра не отдыхать, работать.

— Я не буду говорить длинных речей. Две—три минуты. Я только хочу сказать: мы настаиваем на своем пред-

ложении. Пусть рассмотрит партком — собрание действительно пора кончать. Вениамин Петрович говорил много... Приведенные им факты только оболочка правды. Есть правда, а есть видимость правды. Пусть бригада, но такая, где мы сами все... Нам не надо учетчиков, механиков и прочих. Людям верить надо. Мы требуем, чтобы нам верили.

— Правильно-о! — прозвенел Афоня Холостяк. — Пусть в парткоме обмозгуют, а потом решим на другом собрании.

— Товарищи!

— Что? Опять сначала?

— Вношу предложение. Нерешенные вопросы перенести на очередное собрание.

Почкин стоял у трибуны и, склонив голову, слушал. Александр вдруг впервые почувствовал холодную и расчетливую силу этого человека. Он требует план. Формально он прав Против этого трудно возразить. И Александр растерялся перед спокойной и уверенной позой главного инженера. Они остались как бы один на один. Никто, кроме Ирины, не обратил внимания на их молчаливый поединок. Но и она не могла представить себе всей сложности охватившего Александра чувства.

Почкин — низенький, стареющий и бодрый человек — был хорошо знаком и раньше. Всегда собранный, подвижный, утомительный в своей педантичности. Но сейчас из-за его знакомого облика проглянуло другое, гораздо большее. Оно не умещалось в обычные представления о Почкине. Оно было незнакомым. Оно было враждебным и скользким — нельзя схватить, выдернуть и выставить перед всеми.

«Вот леший», — подумал Александр с некоторой растерянностью и, опускаясь на место, обругал елозившего рядом Афоню. Собрание кончилось далеко за полночь. Его решили отложить до следующего выходного. Но расходились неохотно, и в темных улицах поселка долго слышались голоса.

33

Александр не стал задерживаться. Он успел перекипеть. Через несколько минут после своего выступления он посмеивался над своей горячностью. Мало ли было и будет подобных стычек? Ну что Почкин? Не могут все

думать одинаково. Его право. В таких случаях нельзя давать волю фантазии — додумаешься черт знает до чего. Скороспелые выводы к добру не приводят. Да и не мог он сейчас думать обстоятельнее.

Его ждали. Вчера и сегодня днем они виделись с Ириной лишь мельком. Но он уже не мог без нее, он думал о предстоящей встрече весь день и забыл только под конец собрания, во время выступления главного инженера.

Александр постоял с Косачевым и Афоней, сильно сконфуженным выступлением жены.

Афоня был возбужден. Он долго и горячо советовал Александру не связывать себя семейной обузой. Александр почти не слушал. Косачев молчал. Собрание он воспринял по-своему. Он и к Афоне прислушивался сейчас внимательнее, чем раньше. Он хорошо знал Анищенко, еще лучше Головина. Временами они вызывали в нем усмешку. Они слишком много говорили о плане, о кубометрах и машинах; просмотрев недавно его рисунки, Васильев нахмурился.

— Ты не обижайся, Павел, но мне кажется, ты ошибаешься. У тебя не хватает главного. Я их всех знаю. Как тебе сказать... Они совсем не боговы работнички, напрасно ты их такими видишь. Многие из них мечтатели.

— Мечтатели? — недоверчиво переспросил Косачев.

— Помнишь Уэллса? Он тоже не понял тогда Ленина.

— Ленин... Вы, Иван Павлович, слишком высоко берете.

— Нет. Я сам недавно с этим столкнулся. Ни один народ не может столько терпеть и так мечтать. Бури, грозы, моря страданий и крови... Ты не задумывался, как должны быть глубоки здесь корни?

У Косачева не выходил из головы этот разговор.

Поселок успокаивался. Как всегда, по ночам становилось прохладнее. У склада брехали собаки.

Обиженный невниманием Александра и Косачева, Афоня буркнул:

— Конечно, разве к старшим теперь будут прислушиваться.

— В старики записался?

— Постарше тебя, побольше видел белого света.

— Ладно, не злись.

Мимо прошли Головин с парторгом и Кузнецовым. Подошел Васильев.

— Пойдем?

По пути закурили и некоторое время шли молча. Александр чуть прихрамывал.

— Дождя бы надо. Даже комары подохли.

Александр не поддержал разговора. Дождь? Комары? Александр улыбнулся. Затер ногой недокуренную папиросу.

— А ты выступал толково, — сказал Васильев.

— Да что... Такой вопрос одним выступлением не решишь.

— Все же... И Анищенко расходился. Молодцы.

— У него другое дело.

Помолчав, Александр добавил:

— Умный парень. Я как-то не задумывался раньше. Тайга и тайга. Но Почкин-то... Вот не ожидал.

— Тут ясно. В опыте ему не откажешь, но он из породы Беликовых. Только на современный лад. Лишь бы с виду чисто и гладко.

— Как сказать... Не похож Почкин на человека в футляре.

Александр взглянул на часы и заторопился:

— Спокойной ночи, Павлыч. До свидания, ребята. Мне сюда.

— В больницу?

— Нет. Просто дело одно есть.

— А...

Васильев, вспоминая о Галинке, спросил:

— Опять?

Александр понял.

Небо скатывалось за тайгу в блеске звезд. Рядом светился гнилой пень. Голубоватый таинственный свет. Вверху — огонь звезд.

— Нет, Павлыч. С тем покончено.

Они разошлись. Александр прибавил шаг. Да, покончено. То было больше страданием, чем радостью. Сама не знает, чего хочет. Здесь другое.

Он приостановился. Ирина обещала ждать на утесе. Над Игрень-рекой. Волны, темная холодная вода.

Вдруг оступится?

Еще издали увидел белое платье и облегченно перевел дух. Платье, то белое платье, в котором она была на выпускном вечере. Она услышала хруст песка под его ногами, повернулась, залитая звездным сумраком, и побежала навстречу. Светлая, теплая. Сжимая руками ее плечи, он

поцеловал ее. Бережно и нежно. Она открыла глаза — два огромных мира. Молча и доверчиво прижалась к нему.

— Как у тебя сердце стучит...

— Живое...

— Да... Оно — хорошее. Оно — мое. Ты слышишь?

Она подняла голову. В глазах — ожидание. Она вспомнила о Галинке, и ее тело передало тревогу ему.

— Никому тебя не отдам...

— Ирина...

— Как я тебя люблю... Слышишь, это река, а это я и ты. Нас двое... Я могу касаться тебя. Губ... плеч... И ты — рядом, ты не уходишь.

— Ирина...

Угадывая его желание, она откинула голову, подставляя губы.

Под ногой у Александра скрипнула галька. Прижавшись друг к другу, они замерли. Красота ночи растворила их в себе, и они стали ее частью.

Далекие, недосягаемые, темнели вершины сопок. Тайга — лунная постель — широкая и необъятная. Река — лунная дорога — живая и прохладная.

И они вдруг поняли, почувствовали все по-другому. Они подумали об одном. Все, что было с ними до сих пор, только начало. Они едва-едва перевернули первую страницу.

Отступило все, о чем он думал сказать. Заботы и планы. Прошлое и настоящее.

И захлестнуло безумное торжество ночи. Ирина не отстранилась, когда юноша опустился на колени, прижался к ее ногам лицом. Она ждала этой минуты. Она думала о ней. Исчезли слова и мысли. И вскоре ночь опрокинулась, частым ливнем скользнули по небу звезды, поплыла в сторону луна, и над рекой, сонной, оцепенелой, раздался не то вздох, не то слабый вскрик.

И где-то недалеко подала голос, потревожила ночь гагара.

— Сашка, я умираю, — прошептала Ирина.

34

Просторное, как дыхание океана, утро застало их на том же каменистом уступе над рекой, посредине тайги, подступавшей со всех сторон мощными темными волнами.

Александра разбудила чайка. Он открыл глаза и увидел у себя на плече голову Ирины. Теплое дыхание касалось его щеки, и он замер. Вчера она была иной — Ирина. То лицо и не то. Те губы и не те. Высвобождая руку, он приподнялся. Вот-вот должно было показаться солнце.

— Ты не спишь? — услышал он голос Ирины и склонился к ее лицу.

— Здравствуй.

— Доброе утро, Саша.

— Ирина... Самая родная... Жена.

— Сашка, болтун.

Стремительными кругами над ними носилась чайка. Она была с ослепительно белой грудью и узкими длинными крыльями. В них тоненько посвистывал ветер. Обнявшись, они следили за ее полетом и молчали.

В этот день Александр не вышел на работу, и его не смогли найти. Не смогли, потому что бывают дни, не уступающие ночам, и таким днем стал для Ирины и Александра день в начале июля — жаркого месяца, когда начинают созревать на земле посевы отгремевшей весны, когда утихомириваются буйные страсти и юность, оглядывая себя, начинает замечать новые черты — черты зрелости, дары беспокойного бега времен. Но юность редко оглядывается. Ее удел — стремиться вперед.

35

— Папа...

Головин поднял тяжелую голову.

— Папа, прости меня... Я так счастлива. Не ругай меня, папа, я люблю его, я не могу без него.

Она стояла перед ним понятная, своя, очень близкая, но уже чужая. И он не сказал того, что хотел сказать.

— Ты была у него? — спросил он, не глядя, потирая рукой шрам на подбородке.

— С ним, — Ирина не опустила глаза.

— Смотри, дочка... Парень он неплохой, но молод, впереди — армия, институт.

Головин оборвал на полуслове. Есть вещи, в которых не убедишь.

— Когда же свадьба? — спросил он, стараясь улыбнуться.

Комары тихо гудели за распахнутым, затянутым марлей окном.

Ирина шагнула к отцу, прижалась к его груди головой. Он осторожно провел ладонью по ее волосам. По смуглым щекам Ирины бежали слезы. Он достал платок и вытер их.

— Не надо... Вы будете счастливее.

— Он какой-то необыкновенный, я иногда боюсь. Он, как ручей, весь в движении.

— Чего же ты боишься? И пусть никогда не останавливается. Чего тут бояться?

— Не знаю...

— Ты ошибаешься... Необыкновенный... И не страх это. — Он был серьезен сейчас, почти суров. — Люди называют это любовью и никогда не могут понять. Встречаются два человека, незнакомые, чужие, и становятся самыми близкими. Почему? Ты не думай, Иринка, я не сержусь. Вам обоим предстоит бороться за счастье, вот от этого никогда не уходи. Не надо.

Ирина не могла рассказать всего. Как боялась идти домой, как ждала вечера, возвращения отца с работы, и придумывала объяснения, готовилась отчаянно защищаться. И теперь, глядя в добрые, грустные, понимающие глаза, растерялась. Она увидела не отца, она увидела еще не старого человека, и увидела, что он одинок.

— Папка, родной. Мы будем всегда вместе, мы говорили с Сашей. Ты не против?

Она заглянула ему снизу в глаза и сделала это, как в детстве. Он вспомнил, как носил ее на руках и покупал плюшевых зверей, книжки с картинками.

— Давай ужинать, — сказал он, стараясь отвлечься. — Что у нас на ужин? По такому случаю можно бутылочку поставить, его пригласить. Как-никак он сторона заинтересованная.

Она смотрела большими глазами.

— Что ты, маленькая... С матерью мы всегда тебя так звали. Годы летят безбожно.

Он замолчал.

— Папа...

— Ладно, иди, Ирина. Все в порядке вещей. Сейчас нам нужно собраться и поговорить. А я пока за вином схожу — не будем нарушать обычая. Иди...

36

Через час он возвращался назад. По дороге встретился механик, потом мастер, — пришлось на ходу решать хозяйственные вопросы.

Темнело.

Пьяная Марфа Раскладушкина беседовала сама с собой. Головин хотел обойти стороной — прилипчивая баба. Но она уже заметила и подкатилась ближе.

— Мое почтеньице, товарищ директор, Трофим Иванович... да-ра-а-гой человек.

Головин слегка отстранился.

— Что тебе, Марфа? Ты короче, некогда мне сейчас...

Она икнула.

— Я не умею короче. Всем вам короче! А если вы моего выродка не... если вы — советская и партийная власть... вы его...

— Говори яснее.

— Бил сегодня. Вот я пошла, напилась. С горя, Трофим Иванович, утробой своей поклянусь, с горя. Не виновата я, что родить не могу. Не семенная я... Да я бы... А он... — Марфа всхлипнула, повысила голос. — Выгнал, оскорбил. Ты такая и сякая, говорит. Я тебе, немазаная...

— Марфа...

— Вот я и говорю... Подам на тебя, проклятого, в суд. А он — бац! Видишь?

Она приподняла подол кофты, и Головин невольно оглянулся.

— Ну и бесстыжая ты баба!

— Нет, ты посмотри, куда бьет, подлец!

— Марфа, я тебе не врач... Да и темно уже, закройся, все равно не видно. И неприлично. Сходи к врачу, попроси, если хочешь, он выдаст справку.

Женщина пьяно расхохоталась, обложив крепким матом всю вселенную.

— Все вы...

Она пропела в лицо Головину:

— Проститутки в шта-нах!

— Дура! — пробормотал Головин, глядя, как она удалялась, припадая к изгороди. — Черт те что... Придется говорить с Мефодием. Вот еще наказание.

Он подошел к дому, когда совсем стемнело, радуясь, что отделался от липкого и тягучего разговора с пьяной

Марфой. Он уже вытирал ноги у крыльца... Наверно, давно ждут. Торопил Ирину, а сам... Подвернуло черта в юбке.

Он поднял глаза. Кто-то словно толкнул его. На освещенной занавеске две тени. Лицом к лицу. Слишком близко друг к другу. Головин мог представить дальнейшее и знал: нужно отвернуться и, прежде чем войти, помедлить. Все идет как надо. Две тени на занавеске слились в одну. Он осторожно поставил принесенные бутылки на крыльцо, вытер лоб и медленно, твердо ступая, повернул обратно.

Потом кругом шумела тайга — он шел по неровной дороге, ни о чем не думая, просто шел, шел, словно погружался в непрерывный, монотонный, успокаивающий шум тайги. Минут через пятнадцать свернул в сторону и лег под широкую громаду старой ели. Было свежо и сухо. Головин ощупью вытащил из-под себя несколько шишек и отбросил в сторону.

Тишина и темень.

Тишь в тайге. Странное ощущение покоя. Может, только сейчас он почувствовал в полную меру, какой большой и трудный путь позади. Но это была не усталость. Может быть, ее предчувствие.

Сейчас он не думал о тайге, о выступлении главного инженера, в котором прозвучал чуть ли не открытый вызов, о своем проекте, отправленном неделю назад в Североморск. Думал о простейших вещах. О том, что он уже пожилой человек. Об Ирине, ей надо шить осеннее пальто — старое стало коротко. Давно пора заняться ремонтом — полы совсем рассохлись. Головин старался не думать об Александре. Но это не получалось.

Головин перевернулся на спину. Только в одном месте проглядывало небо. Крохотный светлый клочок.

Головин торопливо выбрался из-под ели, вышел на дорогу и зашагал к поселку.

37

Ни капли дождя с весны — немыслимая сушь сожгла июнь. Его младший брат июль появился на свет с пересохшими губами, с палящим дыханием. Желтели, опадали лиственницы, сохли на скалах мхи, почти исчезли комары. Сушь, сушь...

Люди покачивали головами:

— Не жди добра...

Поглядывали вечерами на тайгу, напоминающую теперь бочку с порохом, которой достаточно одной искры. Тракторы работали с искроулавливателями, свежие дощечки на всех дорогах кричали об осторожности в обращении с огнем. Охотники не осмеливались пользоваться бумажными пыжами, лесорубы тщательно затаптывали окурки. Запах гари стоял над тайгой. Он упорно просачивался в дома, и хозяйки выбегали поглядеть: не горит ли?

Видели чистое небо над тайгой. Ни ветра, ни тучки — только запах гари. Но в остальном все было в порядке. По сводкам скоро должны начаться дожди. Но в ночь на десятое июля дежурный пожарник Раскладушкин поднял поселок. Перед этим у него опять сбежала жена, и всю ярость обманутого мужчины он вкладывал в ожесточенный трезвон.

— Проклятая баба... ах, стерва, — шептал он в промежутках между ударами. — Дай только разыскать... И зачем заявление о разводе назад взял? Подлая шкура, анафема, христопродавка! Ах, чтоб ты лопнула, непутевая, чтоб у тебя...

Безумел все больше, на глазах сохли злые слезы, железное било в руках взлетало все резче, дикий звон будоражил тайгу.

Полураздетые выскакивали на улицу люди. Осматривались. На западе бухло, кровянело небо.

Посылали детишек за папиросами.

— Не было печали...

Кто-то радостным альтом:

— Хлопцы! Раскладушкин с глузду зъихав, ратуйте!

Александр узнал голос Шамотько, и сейчас же оборвался звон.

В наступившей тишине все услышали: шумит ветер.

— Эх, разлюли-малина, — протянул Афоня Холостяк не то с сожалением, не то с восторгом. — Вот тебе и бригада! Только-только завертелось... Дела!

К Александру подошел Васильев, мимо пробежал Шамотько. За ним, размахивая билом, прихрамывая, промчался Раскладушкин. Шамотько нырнул кому-то за спину. Раскладушкин с разбегу остановился, нелепо взмахнул руками и прохрипел:

— Не позволю оскорблять! Стерва!

И неожиданно, снизу вверх, хлопнул себя железякой по лбу. К нему подбежали, он лежал без памяти. Увидев вынырнувшего из темноты Шамотько, Александр бросил в сердцах:

— Нужно очень?

— Черт его знал... Сказывся, бисова душа...

Шамотько смущенно поскреб в затылке.

— И ничего вроде бы не сказал. Спросил о здоровье супружницы...

Видимое за многие десятки километров, пламенело зарево, облака дыма ходили в нем темными волнами. Охваченный неожиданной тревогой, Александр повернулся к Васильеву. У того тускло светились глаза.

— Знакомая картина. Я помню такие ночи в сорок первом. Все горит кругом, земля и небо. Ад. Не знаешь, куда бежать. Тяжелое время, и вспоминать тяжело.

— Такого больше не повторится.

— В любом случае Западную Германию нельзя недооценивать. Ты, Сашка, судишь иногда по-детски. Она опять упорно наращивает военный потенциал. В Англию проникла, во Францию. Борется за глубокий тыл. И нельзя сказать, что безуспешно.

— Ну что ты, Павлыч. При данном соотношении сил... Ведь это мелочь.

Васильев неодобрительно покачал головой, и было непонятно, то ли это к зареву относится, то ли к словам Александра.

— Мелочь... Генеральный штаб Германии... Знаешь, ни одна организация не стоила человечеству столько крови. И потом, большую драку почти всегда начинает мелочь... Я слежу: они там откалывают все более вызывающие штучки. Ты думаешь, они остановятся перед гибелью нации? Черта с два! Здесь они следуют Гитлеру, будь покоен.

— А сама нация? Дураков на земле все меньше.

— Дай бог, — проворчал Васильев, недовольно прислушиваясь к высокому, почти бабьему голосу очнувшегося Раскладушкина. — Вот еще заноза... Чего, спрашивается, его разбирает?

38

Днями было спокойно. Но с каждым вечером зарево на западе расползалось все шире. С верховьев доходили зловещие слухи. Говорили, что пожар охватил огромную тер-

риторию и для его ликвидации вызваны войсковые части. Ветер с той стороны, где полыхало зарево, усиливался. Из Северогорска пришла телеграмма: выделить для борьбы с огнем нужное количество людей. Головин созвал совещание. Утвердил штаб по борьбе с огнем во главе с Почкиным. Позабыв о разногласиях, уткнув головы в карту, Головин с главным инженером и с парторгом долго обсуждали создавшееся положение. Было решено приостановить валку: сто пятьдесят рабочих были отозваны с лесосек. Шесть бригад, по двадцать пять человек, ушли в тайгу. Бить просеки. Одну из них увел Васильев. Его неожиданно назначили бригадиром. Он удивился, взглянул на Головина. Хмурясь, тот рассматривал карту и ни на кого не обращал внимания. Остальные толпились около.

Васильев пожал плечами. Вышел из конторы. Он не заметил, как Глушко поднял голову и проводил его внимательным взглядом. Потом парторг видел из окна: Васильев остановился недалеко от крыльца, постоял минуты две и размашисто зашагал к месту, где собиралась бригада.

К полудню бригады были в тайге, далеко от поселка, в назначенных местах.

Забелели палатки, люди должны были дневать и ночевать в тайге.

После обеда зарокотали пилы. Широкие просеки стали разрезать тайгу. Они должны были преградить путь огню. Головин и часть технических работников делали затесы. От бригады — к бригаде. Просекой нужно было прорезать почти сорок километров — от подножия Арак-Убустских сопок до Игрень-реки. Головин шел вслед за геодезистом-техником. Белые затесы тянулись за ним ровной линией. Не в пример открытым местам, здесь допекали комары и мелкий гнус.

Головин курил сквозь накомарник и высчитывал. На километр нужно не меньше двадцати человек. Пятьдесят метров на человека. Если не будет дождя, придется приостановить все. И трелевку, и вывозку. Вот тебе и план Еще раз и который! — подтверждается правильность его мыслей. А ведь можно было сделать основательно, не спеша, без ущерба для производства. Теперь приходилось рвать и метать, все на скорую руку. А столько погибнет леса!

В раздражении Головин отбросил папиросу, но тут же нашел ее и притушил. Как свои пять пальцев он знал

долину Игрень-реки — единственный лесной массив огромного края, удобный для эксплуатации... Головотяпы... Какие головотяпы... Нет, не прошла обида, несмотря на десять лет. Он прав... Если бы не так, разве отправил бы недавно в обком вновь пересмотренный проект? А если опять разгром?

У толстой столетней лиственницы Головин остановился. Поднял голову. Высоко в ярком небе шумела вершина. Ровный, как свеча, ствол. Кубометров восемь, не меньше. Сто лет... Может, и больше... Не лучше ли сохранять разумно то, что потом придется столетиями растить? Не лучше ли заранее разрубить просеками ценные промышленные массивы и усилить их охрану? Там, где увеличивается население, исчезают леса. Закономерность? Или недомыслие? Конечно, последнее. Япония, истребившая свои леса, теперь усиленно их восстанавливает.

Пахло гарью. Тяжелые клубы дыма ползли над тайгой. Головину вспомнилась рощица под Смоленском. В далеком сорок первом. Черные огарки берез. Уцелела, кажется, одна, закопченная, с бессильно обвисшей темной листвой. Копоть под его пальцами размазывалась — он так и не увидел белой коры.

Да, все связано на земле. Ни на одну секунду не разрывается течение времени.

Головин оглянулся на техника и взмахнул топором.

Брызнула свежая кора.

39

Галинка Стрепетова вышла на улицу. Дома не сиделось. На западе — облака в пламени. Она оперлась о частокол. Ох, горюшко... Где оно ходило, неведомое, где бродило, незваное, не видеть бы его, не слышать.

На людях ходила Галинка с гордо поднятой головой, а в душе у Галинки сумятица. Много у нее бессонных ночей, не раз плакала она в подушку. И подслушай кто мысли Галинки, взглянул бы на нее по-другому.

Тягучие, долгие цеплялись думы одна за другую.

«Как птица была ты вольна, весела и дерзка, как ветер, весенний ветер, проказник веселый. Никогда никого не любила — теперь поняла. Смеялась... Помнишь? Любовь? Когда говорили, смеялась: а что это такое? Гордилась: живу как хочу, какое мне дело до людей, до их раз-

говоров. Вернуть бы назад те годы, любой ценой заплатить! Стать бы воздухом, которым ты дышишь, упасть под ноги тебе широкой дорогой — иди, топчи, не больно, не жалко. Твое, все твое, до конца твое... Никто не был для меня так необходим. Когда ты проходишь мимо, хочется закричать: оглянись, остановись, неужели я хуже другой, если она есть у тебя, неужели не смогу для тебя стать всем, чем хочешь? Тысячи книг прочитаю, мир твой постигну, не бойся — ты еще не знаешь, как я смогу... Только не сторонись, не будь скупым — не в долг бери, бери без отдачи, бери сколько хочешь, я все равно не оплачу того, что ты мне принес, это я — неоплатная должница, это я в долгах, и все мое богатство в тебе. Я богата, и страшно и одиноко мне оттого, что я неимоверно богата, и мир рядом — нищий в рубище. Не удивляйся. Вчера я достала свой аттестат зрелости и вспомнила себя девчонкой, вчера я поняла, что ничто в жизни не проходит бесследно. Ты непонятен мне, я могла и должна была знать не меньше твоего. Вчера был тяжкий день — на меня пахнуло полынью. Я поняла тебя. И простила...

Жизнь — река... Только тот пловец оставляет след, кто не отдается слепому течению... Неважно, достигнет ли он своего берега. Я отдалась течению... Расплескивала себя... Зачем? Не знаю. Узнала теперь и пожалела. Если бы ты понял, что это значит. Разгорелось из пепла, и теперь оно — во мне. Отними — погибну».

Утро уносило клочья ненаписанного письма.

40

С тех пор как Галинка вернулась в Игреньск, прошло немного. Месяц.

Она глядела на окрашенные пламенем облака. Сегодня вечером она впервые боялась. Боялась себя и предстоящего, боялась огненного мерцания облаков, боялась всего. Что-то должно случиться.

Она работала бок о бок с Косачевым, она ждала. Но была лишь его неторопливая усмешка и осторожная нежность. Она держалась хорошо. Если бы он любил, он заметил бы в смехе напряженность, в улыбке — страдание. Он не такой, как все. Он может час и больше смотреть на шумящую крону или плывущее облако. Как-то, готовая взорваться, она по одному движению бровей поняла, что

он целый час ее не слушал. Она горько над собой засмеялась.

Он спросил, встряхиваясь:

— А? Что?

Сжимая зубы, чтобы не разреветься, пошла от него быстро, не оглядываясь. Он догнал ее, схватил за руки, остановил:

— Галинка, я видел необычное. Представь себе: идут люди. Двое взрослых и мальчик. Мальчик впереди, бежит в гору, взрослые смеются. Никто из них не видит наползающую тучу. Вся она в молниях. Доползла до солнца, и к земле устремилась тень, люди внезапно замерли. Мальчик оглянулся назад — увидел. Очень интересный момент. Игра света и тени, оборвавшееся движение людей, остановились, но не совсем еще... Нет... Опять не то... Ускользнуло.

Он приподнял брови, глянул поверх ее головы. Снова ускользнуло. Никак не дается внезапный яркий мазок, превращающий мертвое изображение в живую плоть, в движение, порыв.

Она опять простила. Растерянность, почти отчаяние в лице, замерший острый взгляд. Но только одна мысль утешала. Любая другая на ее месте оказалась бы в том же положении. Это она знала.

Сегодня Галинка решила, что пойдет к нему. Видеть... Просто — видеть. Он рад ей, всегда приглашает, но сам встреч не ищет. И это ты, Галинка?

Она сорвала с головы косынку.

Пусть думает что хочет. Она должна его видеть. Сегодня, сейчас. В последний раз.

Она распахнула калитку и пошла прямо, не останавливаясь, ничего не замечая. Кто-то поздоровался, кто-то молча посторонился.

Сгущалась ночь. Кровавые сполохи резвились в облаках — неземные дети-великаны забавлялись игрой огня.

41

Ирина причесывалась, когда пришла Галинка. Густые волосы с тяжелым отливом потрескивали под гребенкой. Ирина думала, что вернулся отец. Скрывая удивление, сдержанно поздоровалась.

— Проходи.

— Павел дома? Я к нему.

— Да...

Ирина смотрела молча и пристально.

— Проходи, — тихо повторила Ирина. — Он один... Весь вечер не выходил, пишет, наверно. Да ты иди, иди...

В голосе девушки прозвучало сочувствие. Галинка поняла, что скрывать незачем. Опять эта нотка. Сочувствуют ей... Спокойно. Спокойно... Дрогнули ноздри, улыбка заиграла на ярких губах.

— Что, Иринка, на свадьбу позовешь — подарок тебе готовить?

И прошла мимо, не ожидая ответа.

На мгновение Ирина увидела прежнюю Галинку, которой она так боялась. Но только на мгновение. Вся сникнув, Галинка подошла к двери. Ирина видела, как она подняла руку постучать и, подержав на весу, уронила. Когда ее рука вновь поднялась, Ирина тихонько шагнула в свою комнату и прикрыла за собой дверь.

42

— Не ждал?

Он стоял перед полотном, испачканный красками. Пятисотсильная лампочка заливала комнату невероятно ярким светом. Входя она видела: он резко повернул голову, очевидно, недовольный неожиданной помехой. Лицо залито неестественным белым светом, волосы упали на лоб, серые глаза казались совсем темными, глубокими. Они смотрели сквозь нее на стену, может, еще дальше — она пожалела, что пришла. Он улыбнулся, кивнул:

— Посиди... Я сейчас.

Она присела на краешек стула. Глядела ему в спину, в затылок. Шли минуты. Он тут же забыл о ее присутствии. Становилось невыносимо, она глядела ему в спину уже с ненавистью, но подняться и уйти не было сил.

— Ну ладно... Прости, не вовремя... помешала.

— Что ты... Постой... Галинка!

Она обернулась у самого порога.

— Смотри...

На полотне—неясные контуры трех человек: двух взрослых и мальчика. Угадывалась сопка. Угадывался ветер, и наползавшая на сопку хорошо выписанная грозовая туча.

Косачев бросил кисть, потер руки, словно возвратился с мороза после долгой дороги.

— Видишь, пишу... Ты не смотри сейчас, еще рано.

Он повернул холст к стене.

— При искусственном освещении писать плохо, а другого времени почти нет.

И спохватился:

— Да что ты стоишь? Проходи, снимай плащ. Разреши. У меня — беспорядок — не обращай внимания, некогда сегодня было.

Она оказалась в темно-фиолетовом плотно облегавшем платье. Оно оттеняло бронзовую от загара кожу рук, шеи, подчеркивало женственные мягкие линии тела. Косачев помедлил и сказал:

— Вчера я посылку получил из Москвы. Есть хорошее вино. Венгерское... Хочешь?

— Радушный хозяин не спрашивает.

— О!..

Галинка засмеялась.

— Хотел выпить на Сашкиной свадьбе, но теперь выпьем с тобой. — Он пристально и долго глядел на нее и неожиданно спросил: — Скажи мне, кто ты?

Она пожала плечами:

— Женщина.

Он глядел на нее, словно впервые увидел. Поставил на стол бутылку, принес стаканы, продолжая думать о ней.

— Жаль, бокалов нет. Такое вино — и стаканы.

— Разве это важно? Не форма — суть...

Он опять приподнял ломкие брови.

— Скажи, пожалуйста... что сегодня с тобой? — спросил он удивленно, с легким оттенком иронии. Он не видел ее больше недели — она болела. Не видел и не помнил о ней, как не помнил о многих других. Его и раньше любили женщины. А впрочем, для истинной любви они слишком быстро смирялись с его уходом. Вначале он обижался. Ведь он всегда старался быть внимательным, милым и, главное, старался не стеснять ничьей свободы. Так же с Галинкой. Почти не раздумывая, он проводил с нею все свободные вечера, шутил, старался быть веселым и спокойным. Всегдашняя привычка к осторожности удерживала его от самых безудержных, неожиданных признаний. Неожиданных для него самого. Потому что ни одна женщина не волновала его так остро и мучительно. О своей жестокости он не думал. Он просто не знал, что может

быть жестоким. Он и сейчас этого не думал. Но нет-нет вскидывал на нее глаза, словно проверял.

Он принес коробку конфет. Налил вина. Галинка, слегка запрокинув голову, щурилась от слепящего света.

— Неприятно как, — произнесла она медленно. — Кажется, ты насквозь виден... как стеклянный.

Он только теперь заметил, что комната освещена немыслимо ярко, и переключил свет. Зажглась зеленая лампа на столе, и стены сразу буднично потемнели.

Они молча взяли стаканы.

— За что? — спросила она, и ему послышалось в ее голосе напряжение. Раньше он ответил бы просто. Теперь задумался.

— Давай выпьем за нашу первую встречу.

— Хорошо...

От вина — запах незнакомых цветов.

Он развернул конфету. Галинка улыбнулась:

— Спасибо.

Косачеву казалось: он хорошо понимает Галинку, знает, зачем она пришла. Он не давал никаких обязательств — Галинка не требовала. Но он ошибся, думая так.

Он встал, подошел к ней и положил руки на ее плечи. Галинка подняла голову с холодной яростью в зеленых узких глазах, и Косачев изменился в лице, словно его ударили. Медленно отошел и сел. Разлил остаток вина.

— Я слышала, ты комнату ищешь?

— Приходится. В следующее воскресенье свадьба. Сашка здесь будет жить. Они пока ничего не говорят, но и так видно. Вот беда, нет подходящей. А почему ты спросила?

— Так... У меня есть свободная комната, чуть побольше. Могу сдать.

От неожиданности он резко откинул голову, скрывая замешательство, засмеялся. Плеснулось на скатерть вино. Допив свой стакан до дна, Галинка взглянула на художника из-под приспущенных ресниц — там опять плясали зеленые черти.

— Боишься?

— Я?

— Не я же. Ну, ладно.

Галинка встала, небрежно окинула взглядом сохнущие холсты.

— Подожди...

Она шла к двери.

— Слышишь, подожди.

Она взяла плащ, Косачев почти грубо рванул его и отшвырнул в дальний угол.

— Останься.

— Нет. Не трогай. Тебе все равно кто, а мне нет, понимаешь — нет! Я люблю, мне не все равно. Люби ты кого, я бы не пришла. С тобой страшно... Я могу сдать комнату... Но только комнату. Слышишь?

— А если я соглашусь?

Она стояла гневная и, внезапно сникнув, устало проговорила:

— Ты даже этого испугался.

Повернулась и вышла. Косачев догнал ее на улице.

— Плащ возьми. Откуда ты взяла, что я испугался? У тебя мать, подумать надо. И потом... ты сама. Ты знаешь меня, знаешь, чем может кончиться.

Она остановилась, и он замолчал. Она ждала. И, подчиняясь этому ожиданию, он обнял ее.

Усилившийся ветер подхватил упавший на землю плащ и поволок его в темноту.

В эту ночь Головин не вернулся. Не вернулся он и на следующий день. Косачев перебрался к Галинке, не дожидаясь его. Когда он переносил холсты, женщины провожали его многозначительными взглядами.

43

Набат ударил под утро. Игреньск спал. В окнах плясали отблески пламени. Пал широким барьером подступал к поселку. Именно его грозное звучание, а не ветер и не набат заставляло прислушиваться.

Во всех концах поселка выли собаки с тоской и яростью. Выбежав на улицу, где уже стояла Галинка, Косачев даже не поздоровался. Такого он еще не видел. Полнеба — иссиня-черное, вторая половина — в пламени. Прямо над поселком, от горизонта до горизонта протянулась светлая полоса.

Галинка следила, как неохотно отступала темнота. Стояла спиной к Косачеву, забыв о нем и о себе. Ее фигура светлела на темной стене дома.

«Как пятно», — подумал Косачев и спросил:

— Тебе все это ничего не напоминает?
— Напоминает... Но что — не пойму.
— Войну?
— Я была слишком маленькой, шесть лет.
— Боги гневаются...
— Что?
— А эти треснутые резкие звуки набата — крики встревоженной ночи. Ты куда?

Она нырнула в дверь и выбежала через минуту в брезентовой куртке. Бросила такую же Косачеву.

Раздавался говор проходивших мимо людей.

— Где?
— Прорвало где-то...
— Директор только оттуда.
— Что говорит?
— Всех в тайгу.
— Я близорукий — какого черта увижу? И грыжа у меня.
— Всех без исключения. Там залечишь. Лопнет от жары — и порядок.
— Пошел ты куда подальше...
— Ночью...
— Сам сгоришь...
— Кончай. Люди третьи сутки там, совесть надо иметь, Федька.

Федька ответил хриплым басом, что там, где совесть была, мох вырос.

44

Перед конторой темнела толпа людей. Головин с помощью двух мастеров разбивал рабочих на группы. Трактористы Центрального участка стояли отдельно.

По земле метались уродливые тени.

Косачев с Галинкой присоединились к трактористам. В последнюю минуту мастер отозвал Галинку.

— Пойдешь в женскую бригаду. Эти — к Васильеву, там нечего бабам делать.

Галинка запротестовала, но мастер, всегда спокойный, пришел в ярость, и она подчинилась.

Звон набата усиливался. Кричали люди. Тени, отбрасываемые ими, двигались, скрещивались, пересекались. Рычали машины, и все это — землю и небо — заполнял далекий гул взбесившегося огня.

45

Отброшенный в одном месте, огонь прорывался в другом. Люди отступали, и вновь начиналась борьба.

Группа оборудованных канавокопателями тракторов, на одном из которых работал Александр, еле-еле вырвалась. Если бы не просека, задержавшая огонь, машины погибли бы.

— Как на фронте, — сказал устало один из пожилых трактористов. — На вторую линию отошли.

— Толку с этого.

— Что-то о солдатах говорили...

— Говорили, жди.

Закуривая, Анищенко кивнул на Александра:

— Нам что... У человека вон суббота проходит напрасно. Свадьба — фю-ють! — поминай как звали.

— Брось трепаться!

Вытирая руки ветошью, Александр выпрямился, весь в копоти, худой, и Анищенко не удержался:

— Взглянула бы на тебя невеста.

— Брось ты, Мишка, не до шуток.

— Невежа... На, докури. Тоже мне — жених.

— Ладно... Давай.

46

Васильев выключил пилу. Отступил назад. Лиственница падала, величественно и спокойно уступая силе человека. Ее тяжелый удар о землю отозвался стоном. Васильев с трудом поднял затекшую руку, отер грязное лицо рукавом. Посмотрел вверх. По небу низко и густо бежали тучи. «Не успеть», — подумал он с тяжелым отупением и, волоча пилу по земле, направился к следующему дереву. «Не успеть...» Давала себя знать недельная усталость. Почти неделю без сна и отдыха. Черт знает что... Говорят, вызваны войсковые части.

Васильев оглянулся. Встретил лихорадочный взгляд Косачева. Эге, брат...

Косачев шел спотыкаясь. Вилка в руках казалась немыслимой тяжестью. Они били просеку. Три пилы. Чуть глубже рыли канаву. Васильев знал: если просека не удержит — канава не поможет. Нужно бы дать встречный... Ничего не выйдет — ветер.

Следующая лиственница была в два обхвата, с гнилой сердцевиной. Вырастет же такая дубина. Васильев сплюнул, подрезал слегка и стал валить. Чувствовалось, как пружинит дерево. Ветер. Не отрываясь от пилы, Васильев оглянулся, и Косачев сильнее приналег на вилку. Ствол лиственницы в сизом мареве дергался, мутнел, расплывался в глазах.

Пора бы обедать... Это от слабости... Почему не везут обед?

Не выключая пилы, Васильев оглянулся по сторонам, в одно мгновение охватывая наметанным взглядом и место, куда должна была рухнуть лиственница, и затянутое дымными тучами небо, и Косачева, и траву, и деревья, и мелькавших между ними людей.

— О-о-о! — закричал, почти простонал Косачев, налегая на вилку всем телом и багровея от натуги. — Береги-ись!

Васильев разогнулся, не спеша отошел, не упуская из виду вершины падающего дерева. Вздохнул с облегчением. Ну и громадина... Могла так зажать пилу, что и сам черт бы ее не вытащил.

Лиственница рухнула. Комель дерева чуть ниже человеческого роста. Посреди — огромное дупло.

— Хороша дура...

В голосе Косачева усталость и раздражение. Васильев заметил, что руки у него крупно вздрагивают.

— Перекурим, Павлыч, сил больше нет.

Васильев стоял у очередного дерева. Надо спешить, иначе не успеть. Он понимал, каково приходится Косачеву. Сам он еще мог держаться, хотя порой темнело в глазах. Последнее время он находился в приподнятом состоянии. С тех пор, как начал свои записи. Сейчас совсем некстати он вспомнил об этом.

Шум. Рев. Стоны умирающих деревьев. Яростное сопротивление. Такова она — жизнь.

Устал, старик?

47

«Я не хочу молчать!»

Эта фраза жила в сознании, она зазвучала именно сейчас, и зазвучала отдельно от происходившего. Потом пришли воспоминания, отдельные фразы, целые куски из того, что он написал в последние недели.

Вокруг слышались голоса. И приглушенный расстоянием — гул огня. Он был низок.

Васильеву казалось теперь: не пила стрекочет, а звенит у него в голове, давно звенит, неделю и больше. Тайгу на глазах прорезала широкая, в двести метров, просека. О ее пустоту должна разбиться стена огня. Оставалось пройти метров триста — дальше прогал в тайге, там работают другие бригады. Васильев следил за впивавшейся в дерево пильной цепью.

— Давай, — бросил он Косачеву, не оглядываясь, и повернул голову. — Ну?

Позади никого не было. Сиротливо серела брошенная вилка. Спиленная наполовину ель осела назад, и Васильев выключил пилу. Обругал Косачева. Хоть бы слово сказал. Попытался справиться сам, на руках и на лбу вздулись вены.

Ветер помешал. Васильев опустил вилку, закурил. Затянувшись, он затушил папиросу и крикнул соседу-пильщику:

— Николай! Иди помоги, пожалуй.

По небу бежали тучи, бесплодные тучи — без дождя. И Васильев вдруг почувствовал, что он спокоен, странно спокоен. Он огляделся. Люди продолжали работу — они были злы.

Ожидая, пока Николай придет помочь, Васильев прислонился к стволу недопиленной ели. Падали обгоревшие деревья. Умирала жизнь, умирали мириады жизней, чтобы возродиться в новом могучем всплеске. И Васильеву представился другой смысл пожара. Очищение.

Васильев сел на срезанный пень. Припухшие слегка руки отдыхали на коленях. Он позволил себе несколько минут передышки, да и пила совсем перегрелась и плохо тянула.

Васильев не винил Косачева — художник нравился ему упорным стремлением проникнуть в душу человека. Сделанные художником уже после собрания беглые наброски говорили о большом ищущем таланте. Васильев действительно плохо знал живопись и не умел ее читать. Но он отлично схватывал настроение. Парень в траве, раскинув руки широченными ладонями вверх, глядел в небо. В глазах — уверенность, мысль и беспокойство. Размер ладоней вносил дисгармонию, но стоило задержать

на них внимание, чуть отступить, и как бы открывалась суть времени — труд и мысль.

Мечется свет костра, гнется под ветром береза — на заднем фоне вспыхивают, гаснут, сверкающей пылью рассыпаются звезды. Они усиливают и дополняют ветер, раздвигают пространство, и коренастая береза становится вдруг символом земли и жизни.

Подошел сосед.

— Сбежал помощник?

— Тут сбежишь. Дошел парень — я его сам отправил. Привычному и то впору ноги протянуть.

48

Как в полусне, спотыкаясь и падая, Косачев шел наугад. Все было в один цвет. Серый. Земля горбилась под ногами, деревья цеплялись обнаженными корнями. Глаза застилало мутной сеткой, ноги подкашивались. Упасть бы в сухой мох на одну минуту...

Он почти не сознавал, что делает. Он только помнил: где-то поселок. Нужно попасть в поселок. И еще он знал, что болен. Со вчерашнего дня, с тех пор как, разгоряченный, напился из ледяного источника припахивающей серой воды.

Он пощупал влажный лоб. Ерунда. Надо двигаться дальше.

Тайга без конца и края.

Одинаковые деревья. Совершенно одинаковые деревья. С ума сойти можно. Непрерывное мелькание стволов по сторонам — оказывается, он идет быстро. Он остановился и вдруг понял, что кружит на одном месте. Он прислонился к дереву и тотчас стал падать. Под руки подвернулся ствол березы, он бессильно повис на нем, чувствуя подступавшую тошноту. Нехорошо, черт возьми, так нехорошо... Скверно — какое там нехорошо.

Он поднял голову и отпрянул. Мимо, чуть не сбив его, лошадиным галопом промчались два медведя, между деревьями мелькнули их крупные бугристые спины. Косачев растерянно оглядывался. Небо раздиралось в реве, ходуном ходят вершины лиственниц. Ветер хлестал в лицо гарью. Опять закружилась голова. Косачев сжал зубы и удержался на ногах. Очевидно, это усилие привело в себя окончательно. Сознание прояснилось. Ему предста-

вилась обнаженная истина происшедшего, беспощадная истина, обжегшая сердце. Ведь он просто сбежал. Теперь он вспомнил. Как посмотрел с ненавистью в расплывающуюся спину Васильева, как положил шест и, пошатываясь, пошел прочь. Трус. Случилось самое страшное, и он никогда себе не простит. Трус... Не выдержал... Разве поверят?

Припадая к земле, пробежала мимо огнистая лисица, за нею прошмыгнуло несколько незнакомых Косачеву пушистых зверьков, ловких и сильных. И потом он задрожал, забыл все на свете. Любой, увидевший его в эту минуту, сказал бы непременно: с ума сошел человек.

Черное обросшее лицо Косачева утратило измученное выражение. Осветилось изнутри, взгляд обрел осмысленность и остроту.

Один миг, за него не жалко полжизни, — он увидел картину, с в о ю картину, ту, ради которой стоило жить, он увидел ее и чуть не закричал от радости и восторга. Он поднял руку, как бы защищаясь, прикрыл глаза. Картина вырисовывалась все четче, сильнее загудел ветер в вершинах.

В смятении огня и ветра, в хаосе чувств и мыслей, в дыму и реве Косачев видел с в о ю картину, вершину жизни, ее цель и смысл.

Она была проста и неожиданна по композиции. Несколько человек на огненном летящем фоне. Они долго были в пути и смертельно устали и, главное, никак не могли увидеть конца пути. И самый молодой из них, в котором зримо проступили черты Александра, окликнул товарищей. Он уже видел то, чего не видели остальные, кроме одного, шедшего вторым. Простоволосый, седой и сутулый, он услышал зов, заметил в тот же момент вскинутую руку, поворот головы идущего следом товарища. Шум ветра, треск огня отодвинулись, померкли. Вернее, они обрели поразительную стройность, слились в одну мелодию, и ее аккорды гремели в душе художника. Они были сродни его видению. Он знал, что в этой картине он напишет Головина, и Александра, и Васильева — его сутулые плечи и седую голову ни с чем не спутаешь. Васильев недоверчиво глядит на вскинутую руку Головина.

Впервые в жизни у Косачева щемило сердце. У тех, кого он видел, было свое прошлое — Косачев знал его. У них было настоящее, оно — перед ним. Мысленный

взор художника засек их в самый напряженный момент пути. Теперь... Теперь...

Менялись цвета и краски. Художник задыхался. Он искал необычного, а все оказалось очень просто. Истоки искусства, самого высокого и страстного. Мудрость простоты. Он подумал, что нет философии выше и все прошлое искусства, с которым он познакомился, сотни полотен и книг ожили для него, зазвучали жизнью именно в эти минуты.

Косачев не мог понять, движется он или мчится его видение. Он не мог уловить отдельных деталей — в мозг впечаталось целое. Необычный ракурс фигур, скупой, лаконичный штрих, неяркие краски. Все спаяно одним — движением, мыслью о его цели. Сквозь бушующий распад материи люди несли бессмертие, бесстрашие разума.

С поднятыми к лицу руками Косачев пошел наугад. плутая между деревьями. Люди с его картины вырастали в великанов, они закрывали собой тайгу и небо. Потом его словно встряхнуло, он опять вспомнил о работе, о товарищах.

Косачев подошел к плотному таежному массиву. Навстречу ему ползли клубы дыма. Неожиданно из них вырвались легкие языки пламени.

Косачев застыл. Пламя двигалось прямо на него. Оно прыгало с дерева на дерево, в одно мгновение превращая зелень в буйный вихрь огня. Было похоже на чудовищную игру. И Косачев увидел свою картину в новом освещении, но что-либо сообразить не хватило времени. В лицо пахнуло жаром, и, несмотря на обвальный гул и рев, он услышал, как потрескивают волосы.

Он побежал. Вначале тяжело и медленно, затем все скорее и скорее, мертвея от ужаса, не выбирая направления. Несколько раз он чуть не задохнулся.

«Вот и все», — мелькнула короткая мысль, когда пламя перепрыгнуло через него и охватило сверху донизу старую развесистую березу.

«Не будет меня — не будет картины...»

Не слишком приятная мысль прибавила силы. Теперь им руководил инстинкт. Он грузно перевалился через валежину, рванулся в сторону и выбежал на поляну, покрытую ковром высокой зеленой травы. С другой стороны поляну охватывало пламя.

Кусочек неба мелькнул перед ним — голубой и дале-

кий. И он опять бежал по тайге, жадно хватая ртом воздух, — в человеке проснулся инстинкт зверя. Горячий пот заливал глаза, горячий воздух забивал горло. Ни капли прохлады. Раскаленное небо. Огонь — по пятам. Косачев боялся оглянуться. Он не знал, сколько прошло времени: час или минута.

На него повеяло свежим порывом ветра. Он хотел остановиться, не смог и выскочил из чащи прямо на людей, расположившихся вокруг подводы с баками. Обедала бригада Васильева. Косачев увидел его самого, Ирину, разливавшую суп, Афоню Холостяка, других.

— Огонь! — закричал он почти неслышно, обмякая и падая на колени. Он попросил пить — никто не услышал.

Васильев поднял затекшие руки и посмотрел на черные ладони. Из двух десятков людей он один понял, почему наступило затишье, и деревья вокруг замерли недвижимо и покорно. Зона безветрия, в ней через полчаса столкнутся с грохотом артиллерийской канонады две стены огня, идущие навстречу друг другу.

49

«Вначале было слово...»

Нелепая библейская фраза некстати пришла на ум, и было непостижимо, в какой мере она относится к происходящему.

Двадцать пар глаз смотрели на Васильева.

Он был бригадиром. Он был старше всех и знал местность на много десятков километров в окружности.

Вытягивалось лицо у Афони Холостяка Над всеми нависло чувство опасности, хотя никто, кроме Васильева, не понимал, откуда она грозит.

Взгляд Васильева упал на лошадь. Старая, всегда спокойная кобыла Машка прядала ушами, приседала на задние ноги, раздувала ноздри. Сдерживаясь, Васильев подошел к ней. Скашивая налитый кровью глаз, Машка тревожно заржала.

Васильев отвязал повод, сбросил хомут, затем узду. Машка затихла, высоко вскидывая голову и принюхиваясь. Затем отошла в сторону, оглянулась на людей, словно недоумевая, и опять негромко заржала.

Накатывался мерный литой гул. Машка в последний

раз подняла голову, мелькнула между деревьями гнедым крупом и скрылась.

50

Они шли по следу лошади. Сначала шли, потом бежали. Они бросили все, что можно бросить. Ирина с тревогой оглядывалась на Косачева. Того поддерживал Афоня. Ирина на ходу стащила с себя брезентовую куртку, швырнула ее в сторону.

Лошадь, трусившая вначале ровной рысцой, сорвалась в галоп. Парные глубокие следы копыт уводили в одном направлении — на восток, к Гнилой тундре. Единственно свободный пока путь. С юга и севера шел огонь. На западе — Васильев знал — на огромных пространствах свирепствовал пожар. Но Васильев не мог понять, каким образом огонь отрезал их от поселка. Ветер весь день дул с севера. А теперь — выход в быстроте. Нужно успеть проскочить к Чертову Языку — узкому участку тайги, глубоко вклинившемуся в обширные пространства Гнилой тундры. Туда уводили следы лошади, туда вел свою бригаду Васильев. Для спасения оставалось полчаса. Впереди — полтора—два километра густой, непроходимой тайги.

Васильев оглянулся. Чернел открытый рот у Косачева, но бежал он довольно легко, не отставал от других. У Васильева мелькнула мысль о втором дыхании. Он придержал шаг и пропустил мимо себя всю бригаду. Он знал всех, знал хорошо.

Безветрие достигло предела. Васильев вспомнил мертвый лес в верховьях Игрени — года два назад он забрел туда во время охоты. Такая же давящая неподвижность — ни шороха, ни звука. Но там все оживлял рокот Игреньреки.

Васильев ругал штаб, досадовал на себя. Всего не предусмотреть, но в штабе должны были заметить и вовремя предупредить.

— Быстрее! Прибавить ходу! Черт бы их побрал...

Васильев не знал, что все произошло слишком быстро после перемены ветра. На большей части тайги, охваченной пожаром, огонь повернул на выжженные пространства. Именно в это время Головин уехал в поселок — срочно вызывал обком. И совсем никто не ожидал про-

рыва огня через посты, почти против ветра. Пал неожиданно ринулся на поселок, разрезая пополам широкий участок нетронутой тайги. Васильев не знал, каким неимоверным усилием почти у самого поселка удалось повернуть огонь в сторону. Косым крылом пал устремился к Гнилой тундре, и люди облегченно вздохнули.

Теперь две лавины огня двигались одна другой навстречу. Люди добивались такого результата две недели подряд, а получилось естественно и просто. Встречный пал шел наперерез основной линии огня в направлении Гнилой тундры.

51

— Скорее! — задыхаясь, срывая голос, кричал Васильев, но никто не слышал.

Оставалось двести—триста метров. С одной стороны огонь почти накрывал, с другой — стлался по земле рыжей волнистой шкурой. Все ближе, ближе.

Внезапный поток воздуха рванул снизу вверх. Взвилась в небо сухая трава, пылающие сучья лиственниц, земля и пепел. Васильев увидел: Косачев споткнулся, упал и остался лежать. Рядом с ним, сжимая голову руками, свалился Афоня.

Васильев подбежал к ним. Впереди чернела тайга.

Спасение. Он перевернул Косачева на спину. Тот был без сознания.

— Помоги! — закричал он, встряхивая Афоню, и увидел его глаза, белые, бессмысленные.

— Конец... — прохрипел Холостяк, прижимаясь к земле. — Прими, господи, наши души... Не могу больше.

— Вставай!

— Не могу... Нет мочи... Конец...

Рывком оторвав его от земли, Васильев размахнулся. Раз... раз... Стиснув зубы, Васильев отсчитывал увесистые пощечины.

Афоня застонал, вскочил на ноги, дрожа и заикаясь.

— Беги, негодяй!

На них сыпались горящие иглы, дымилась одежда.

Взвалив бесчувственного художника на спину, Васильев, грузно ступая, бросился дальше. Дым и пот захлестывали глаза, но Васильев ни на минуту не упускал из вида дымящуюся спину Афони. Потом ее закрыл огонь.

Васильев рванулся прямо в него, лишь задержал дыхание и прикрыл свободной рукой глаза. Через минуту с него стащили горящую рубашку. Согнувшись, Васильев долго и мучительно кашлял. А там, откуда он выскочил, сшиблись два встречных огненных потока. Стегнул по глазам раскаленный воздух, бушующим валом пламя осело, растеклось по земле и медленно поползло в их сторону. Путь к поселку все равно был отрезан.

Ирина взглянула вверх. Высоко в небе шел самолет. Серебристый, маленький, похожий на детскую игрушку. Заржала лошадь.

Морщась от боли, Васильев натянул на себя чью-то куртку, указал в глубину тайги:

— Вперед...

— Чертов Язык, Павлыч...

— Знаю. Вперед... ты другую дорогу знаешь? Следите за кобылой, будем отходить, пока можно. Вдруг переменится ветер.

Он поймал взгляд Ирины и улыбнулся ей обожженными губами.

— Не мешкайте, держитесь друг друга. Вот незадача выпала... Двигай, хлопцы, давай пошли. Ничего, выберемся.

52

Ирина вспомнила Александра.

Сзади донесся звериный рев, полный боли и тоски. Он перекрыл все остальное и обдал людей ознобом.

— Саша, — прошептала девушка. — Невозможно ведь так... Нельзя ведь так...

«И не свернешь никуда, — подумал Васильев. — И что, если... конец? Выхода-то нет».

Он оглянулся, сжал кулаки.

Узкий кусок тайги — кругом Гнилая тундра. Один шаг — и нет человека. И ничто не напомнит о его смерти. Хлюпнет трясина, сомкнется над головой зеленая травка. Случись такое год назад, можно было бы не раздумывая сказать: пора захлопнуть, старик, эту повесть с затянувшимся концом. А теперь...

Есть деревья, сбрасывающие весной старую кору. Он был сейчас одним из них. Опадала старая шкура.

Укол совести? Нет, нет... Тебе нечего стыдиться... Твое

право сказать, об этом выстрадано годами. Ты прошел через ад и не совершил ни одной подлости. Потерянный мир — ты обрел его.

И сейчас сам чувствуешь, старик, сколько в тебе силы, нужной другим, — недаром прорвался в душе этот огонь. Берегись! Сгоришь и останешься горстью золы — дунет ветер и развеет пеплом.

Он так долго сторонился людей.

Люди...

Сейчас они шли по тайге. Бежали от огня.

— Павлыч, — спросила Ирина, останавливаясь. — Куда мы идем?

Васильев точно впервые увидел девушку, увидел, какое у нее тонкое, красивое лицо. Хотелось шагнуть вперед и поцеловать ее по-отцовски, бережно и тихо. Трудно было удержаться, он переступил с ноги на ногу.

Шумела тайга.

— Вперед, дочка, — сказал он тихо. — Вперед, как в песне. Самое главное — не трусить.

Огромная земля сжималась вокруг них, сжималась тесной петлей, из которой не было выхода.

53

Поселок совсем обезлюдел. Все взрослое население было в тайге.

Голодные свиньи взвизгивали в сарайчиках, неприкаянно бродили по улицам недоенные коровы. Они жались к поселку, и ни одна из них не решалась уйти в тайгу.

Бедствие объединило всех: женщины работали рядом с мужьями. И только Марфа Раскладушкина держалась в стороне.

Грузовик, в котором приехал Головин, прогромыхал пустыми улицами и остановился у конторы. Молоденькая, в белой кофточке, секретарша, увидев Головина, обрадованно выскочила ему навстречу. Он прошел в кабинет, оставив дверь открытой. Секретарша вошла следом с пачкой телеграмм и писем.

— Что там, Лиза?

— Обком сегодня вызывал два раза, Трофим Иванович.

— Кто?

— Товарищ Гаранин.

— Сам?

Лиза кивнула.

— Просил немедленно позвонить.

— Хорошо... Они всегда выбирают самое подходящее время. Пожалуйста, скажи шоферу, пусть не отлучается. Можно поспать в кабине. Хотя погоди... У него жена в роддоме... Нет, нельзя, пусть не отлучается. В конторе никого?

— Кроме меня...

— Вижу. Так, значит, Гаранин? Да, Лиза, принеси, пожалуйста, воды.

Девушка вышла. Головин поднял трубку телефона. В голове звенело, ни на минуту не умолкал в кабинетной тишине голос огня. Головин ошалело смотрел на трубку, не понимая, зачем снял ее. Потом вспомнил: Гаранин. Что ему? Наверное, опять план, да люди же не каменные. Две недели без сна и отдыха, лесу сколько пропало. Преступление... Новшество за новшеством в науке и технике, а лето наступит — полыхает тайга. Миллиарды на ветер...

Он не заметил, как задремал. Медленно разжалась рука — стукнула об стол трубка. Головин испуганно открыл глаза. Что? Да, Гаранин... Надо звонить. Опять что-нибудь не так. Безынициативность, бесхарактерность и прочее. Наверное, Кузнецов уже доложил свои соображения. Не понравился проект... Утопия. А впрочем, черт с ними. Он думал об этом так, словно проект отвергли вчера, а не десять лет назад.

Вызвал телефонистку. Попросил соединить с Северогорском. Голос Гаранина, далекий, тихий, отчетливый, возник неожиданно.

— Здравствуй, Головин!

— Здравствуйте, Кирилл Петрович. Слушаю.

— Сообщи, пожалуйста, как дела? Нужна помощь? В верхних районах пожар на спад пошел — можем людей подбросить.

— Спасибо, Кирилл Петрович. У нас тоже к концу идет. Ветер помог, похоже, дождь собирается.

— Ага... Ну, держись. Есть для тебя новость. Познакомился с проектом. Зря ты столько молчал. Многие отзываются одобрительно. Слышишь, из ЦК звонили. Ты что же, и туда отправил? Говорят, очень много полезного... Ты, брат, в самую точку попал. Передают в

Совет Министров РСФСР, в специальную комиссию. Слышишь? Алло, Головин...

— Да, да... Слушаю вас.

— Через полмесяца назначено обсуждение, к двадцать пятому августа ждем. Рад? Слушай, Головин, алло... После обсуждения поедешь в Хабаровск на совещание... Межобластное, по развитию лесной промышленности Дальнего Востока... Алло... Проводится Академией наук, выдвинули твою кандидатуру. Алло... Готовится специальный закон. Что? Какой закон? По Российской Федерации. Вот я и говорю — в самую точку. Возможно... Алло...

В трубке щелкнуло. Озабоченный голос телефонистки сообщил:

— Северогорск не отвечает. Обрыв, Трофим Иванович.

— Дьявол...

Головин положил трубку. Хорошо... Наконец-то! Всем этим специалистам... Всем таким, как Матвеев... Гуляев... Ишь сидит, пронырливая борода. О чем они шепчутся? Узнать бы... Все равно, теперь они по-другому запоют — обсуждение, поддержка Гаранина...

Головин хотел встать. В комнату вошел первый секретарь обкома. Гаранин? Зачем он здесь? Ах, да, заседание обкома. Его проект... Надо развесить чертежи. Неужели он забыл кнопки? Все ждут... И при чем здесь закон по Федерации?

Головин заторопился. Но вместо знакомых схем и таблиц под руками поднялись вывороченные, перепутавшиеся корни и встали стеной. Он с остервенением пробивался через сплетение корней — они рвали его одежду, безжалостно впиваясь в тело, тянули к земле.

54

Вошла секретарь. Поставила на стол графин. Головин спал, уронив голову на телефонную трубку. Он не слышал легких шагов девушки, поправлявшей портьеры и стулья у большого стола для заседаний. Не слышал он и стрекота мотоцикла, рассыпавшегося и замершего под окнами конторы, и сердитых голосов в приемной. Лиза пыталась было загородить собой дверь в директорский кабинет, но отпрянула, встретив взгляд приехавшего. Потом она

смотрела через раскрытую дверь и ахала. Назаров, мастер Центрального, тряс директора за плечи, драл за уши. Тот безвольно мотал головой и мычал. Назаров стал лить ему на голову воду из графина, и Головин с усилием открыл глаза. Увидел Назарова и медленно приподнялся.

Руки директора клещами сжали стоявший коробом обгорелый комбинезон на груди у мастера.

— Что случилось?

— Беда, Трофим Иванович, беда! Огонь отрезал бригаду Васильева на Чертовом Языке. Пал идет во всю ширину. Встречного не дашь — ветер к тундре...

Раздалось невероятно грубое ругательство, от него у Лизы загорелись уши. Но если она не знала ни Чертова Языка, ни Гнилой тундры, то Головин со всей отчетливостью видел перед собой узкий и длинный кусок тайги, вклинившийся в Гнилую тундру, и попавших в беду людей: им некуда деться от огня, еще немного — и они сгорят заживо.

— Трофим Иванович! — опять заговорил Назаров. — Трофим Иванович! Ветер к тундре. Анищенко пытался проскочить на машине. Еле выбрался задним ходом. Там же один-единственный ус[1]... Заготовок еще не было. Все в огне...

Головин опустился в кресло.

«Ветер к тундре... встречного не дашь. Кругом гиблая трясина. Спастись негде. Огонь... Тундра...»

— Сколько человек? — глухо спросил он, глядя по-прежнему в одну точку.

— Двадцать.

По зеленому сукну ползла муха. Несколько секунд Головин смотрел на нее. То ли попала она в луч солнца, то ли еще что, но Головину стало больно смотреть. Он зажмурился. У конторы — машина. В кузов — мокрый брезент, бензобак обернуть войлоком. Мокрым... Пяти минут хватит.

Он посмотрел на мастера, и Назаров отступил к двери.

— Что?

И отступил еще.

Через минуту в кабинете осталась одна Лиза.

---

[1] Ус — временная лесоэксплуатационная дорога.

Жизнь в смене времен. Можно обогнать время, можно замедлить его быструю поступь и даже совсем остановить ее. И бывает, что человек кричит:

— Время! Останови-ись!

55

Свистящей змеей рвалась дорога из-под колес. Мелькали, сливаясь в одну полосу, пни и деревья — никогда не ездил на такой скорости Иван Шамотько. Побелели суставы пальцев, вросли в баранку. Не смахнуть пот с лица. Малейший просчет — и все будет кончено.

Рядом, у самого уха:

— Скорее! Гони!

Шамотько скосил глаз. Директор не трусит — хорошо. Но всему есть предел, не Минское шоссе. Жена должна сегодня родить: узнать бы, сын или дочка.

Он промолчал. Только захватил языком и затащил в рот горчивший от табака ус.

После получасовой сумасшедшей гонки подъехали к месту пожара. К машине со всех сторон бежали люди. Их было много. Предприняв все возможное, они не смогли пробить брешь в стене уходящего пламени. Многие из них, с ожогами, спрашивали, не за пострадавшими ли машина.

Головин увидел Александра. Обгоревшие брови и волосы.

Чуть поодаль — два бульдозера и несколько автомашин.

Александр подбежал к Головину. В глазах — отчаяние.

— Отец, — сказал он, и то, как прозвучало, стиснуло сердце. — Там Ирина...

Толпившиеся вокруг люди умолкли.

Шамотько высунулся из кабины. Попросил ведро воды. Его не поняли. Тогда он выскочил из машины и, зачерпнув из бочки, стоявшей неподалеку от дороги, выплеснул воду на обернутый войлоком бак. Еще раз умолкли люди.

Александр оглянулся.

Шамотько захлопнул кабину. Александр распахнул ее.

— Иван...

— А... Сашка.

— Иван... Я должен ехать.

Шли драгоценные секунды.

— Сколько ты лет робишь, хлопче?

— Год...

— А я шестнадцать. И все на машине. Пусти, время идет.

Шамотько потянул к себе дверцу. И вдруг взорвался:

— Пусти, бисов сын! Ну?!

Несколько мгновений глядел туда же, куда и директор. На удалявшийся огненный вал.

— Решай, — услышал он голос Головина.

Чувствуя шершавую сухость во рту, Шамотько кивнул, облизнул губы и усы.

— Что решать... Там люди... Авось вывезет.

Выжал сцепление и включил скорость. Поднимая тучи пепла, машина убыстряла и убыстряла ход. Подпрыгнула на пеньке, нырнула в клубы дыма, исчезла из глаз.

Александр шагнул вслед. Раз, другой. Под ноги попался обгорелый пень. Он тупо посмотрел на него. Опустился рядом на выжженную землю. Ирина... В глазах плясало пламя... Ирина... В глазах — тьма. Чьи-то руки легли на плечи. Дрожа, он поднял голову. У Галинки Стрепетовой кривились губы. Хотела что-то сказать и не могла.

Толпа людей вокруг нехотя бралась за лопаты, опять рассыпалась широким фронтом.

— Вставай, Саша, — сказала Галинка. — Не бойся. На свете должна быть справедливость. Иначе к чему все?

56

Броском пробив полосу опадавшего пламени, Шамотько повел машину медленнее. Мешал дым. Дым стлался плотным толстым ковром. Впереди начиналось самое опасное. Первый вал огня. Он шел по тайге, охватывая все, впиваясь в землю расплавленными жилами корней. Между стволов и в вершинах — рваные бушующие потоки. Только бы проскочить.

Машина мчалась, расплескивая огонь, и остановиться было нельзя. Два человека летели в огненную тьму. Один держал баранку, второй сидел рядом. Второй хотел что-то сказать. Не успел. Взревев, машина вошла в огонь,

ударилась крылом о ствол дерева. Пламя жадно лизало капот и стекла кабины. Шамотько почти ничего не видел.

Вел машину по памяти, кашляя и задыхаясь от дыма. Слезы заливали лицо. Машина мчалась вслепую. «Там люди... Много людей...»

Шамотько увеличил скорость. И в следующее мгновение увидел: навстречу падает, не падает — стремительно мчится что-то высокое, охваченное огнем. Он локтем толкнул Головина. И больше ни о чем не успел подумать. Удар, от которого все застонало, обрушился на машину. Шофера примяло, перемешало с железом и рулем. В лицо Головину впились осколки стекла. Теряя сознание, Головин прикрыл лицо руками.

Его выбросило из кабины и отшвырнуло в сторону. И полет этот продолжался долго, пронзительный, как стон. Движение оборвалось. Боли не было. Он ослеп, оглох. Но он видел. Тихую, спокойную полянку, траву, свежую, сочную, зеленые деревья.

Наступила минута неожиданной, невероятной тишины. И деревья стояли нетронутые, чистые. И трава сочилась росой... И белка весело и хлопотливо пощелкивала орехи. И самое главное — он видел, он все видел. Что за чушь? Какой пожар? Он просто летит над землей, над той землей, которой отданы все помыслы, все силы. Вся она перед ним. Вот и Игрень-река петляет...

Перед ним появилась Ирина, почему-то маленькой девочкой. Он еще должен успеть. Он увидел танцующие деревья и всплески огня.

Затем в его сознании родился тихий звук, похожий на плач ребенка. Он прерывался и опять возникал. Чудо... Где-то рядом плакал ребенок.

Головин упрся руками в землю, поднял голову. Плач продолжал звучать, плач сводил с ума. Сгорит ребенок... Как он сюда попал?

Головин нащупал возле себя мягкий продолговатый предмет. Плач оборвался. Он поднял с земли обомшелый кусок дерева, прижал к груди обеими руками и пошел в клокочущую тьму. Ему казалось, что шел он с завязанными глазами. Шел, срывая жгущую повязку, но это почему-то никак ему не удавалось.

Ему казалось, что стоит это сделать, и кошмар исчезнет. «Поздно», — едва успел он подумать, исчезая в гу-

стом удушливом облаке дыма и огня. Оно надвинулось бесшумно и быстро.

57

Минут через пять двигающиеся за пламенем люди услышали крик, вслед затем из огня выскочил человек. Размахивая руками-факелами, заметался из стороны в сторону. Александр сбил его с ног, попятился. Подбежали другие.

— Иван...

— Это директор...

Один из рабочих перевернул человека на спину.

— Трофим Иванович...

Медленно выпрямился и отвернулся. Человека больше не было. Кто-то поднял руки к небу, туда, где бежали сухие тучи, в ярости потряс кулаками, кто-то закричал или заплакал. Людей вокруг становилось все больше.

Раскладушкин снял фуражку. Подбежала. Галинка. Привстала на носки, заглянула через головы собравшихся. Несколько мгновений не могла оторваться. Затем отшатнулась, точно ударили в грудь. Ничего не спросила. Ветер сыпал пеплом, черный ветер метался среди обгоревших деревьев. Подрост сгорел, тайга просматривалась далеко. Взгляд Александра упал на стоявшие поодаль машины. Было трудно дышать. На глазах не стало человека. Неудержимо тянуло подойти, взглянуть еще раз, увериться окончательно.

Судорога перехватила дыхание — Александр, не замечая ничего, мучительно вытягивал и вытягивал шею. Словно в горло ему опять хлынула река и оборвала дыхание. От напряжения мутило.

Откуда-то из-за машин, из черного ветродуя, вынырнул на взмокшем Монголе главный инженер. Он скакал прямо на толпу, припав к шее коня.

Был человек, и нет человека. Вспыхнул и сгорел. Но в небе, на лицах людей, в глазах Монгола, тяжело поводящего мокрыми боками, отблески этой вспышки.

58

Косачев открыл глаза. Небо переваливалось, покачивалось, заваливалось с одного бока на другой. Косачев вспомнил Черное море, палубу теплохода. Потом он понял, что его несут. Увидел сверху, с самодельных носилок

вереницу измученных людей. Его несли четверо. По лицу хлестали ветки.

Он вспомнил. Бессильно уронил голову. Не все ли равно, усталость была беспредельной. Не было сил разговаривать.

Шли молча и быстро. Вокруг — густая тайга. Да, здесь не спрячешься. Правда, от огня удалось оторваться. Но не настолько, чтобы успеть обдумать и что-либо предпринять. Да и что можно сделать? Поджечь перед собой тайгу? Васильев несколько раз спотыкался об эту мысль и всякий раз отвергал. Не успеть. Пока огонь наберет силу, станет поздно и все кончится.

Двадцать три человека, свершающие свой последний марш. Последний? Какая нелепость... Будь у них полчаса лишнего времени, они проскочили бы к Игрень-реке. Полчаса, всего тридцать минут.

Васильев взглянул на часы. Время близилось к вечеру. Четыре. Пятый час изнурительной, беспрерывной ходьбы. Еще час, ну, полтора. А там...

Он остановился. Дождался носилок с больным. Кивнул Афоне Холостяку:

— Смена... Давай.

Толчок пробудил Косачева. Он вцепился руками в перекладины. Всклокоченные, полуобгоревшие волосы на голове Васильева поплыли рядом. Художник с трудом восстанавливал в памяти события дня, похожие на тяжелый сон. Наверное, его жизнь — жизнь неудачника.

А может быть, просто — болезнь?

Всю свою сознательную жизнь Косачев провел в пути. В поисках. Его все время тянуло в дорогу. Страсть к новому? Тщетные метания неудачника? Последняя мысль была жестокой. Он вспомнил Черное море, Кавказ, сказочную землю «Калевалы», пески Средней Азии. Жизнь не раз посылала ему любовь. А он оберегал себя. Теперь он понял, каким был эгоистом. И у себя воровал и у других...

А Галинка? Прижаться бы к ее рукам, ощутить прохладную свежесть кожи...

Черные губы Косачева шевельнулись, произнося ее имя.

Теперь он все понимал. Обкрадывая свою жизнь, он обкрадывал свой талант, если он был у него. Почему он здесь, в тайге?

Он закрыл глаза.

И опять увидел свою картину. И понял, что это не он ее видит. Видит другой, родившийся недавно в прежнем, слабом, мечущемся человеке. И этот другой смотрит на картину по-другому, совершенно иначе, спокойно, трезво, потому что увиденное — под силу. И прежний Косачев, тот, в котором нежность к Галинке боролась с осторожностью, вдруг почувствовал мучительный страх за нового Косачева, родившегося в этот день, того самого, который увидел картину. И еще он понял, что творением движет страдание, и опять волна стыда захлестнула его. Прежний Косачев мешал новому; измученные люди несли его на руках и вместе с ним несли его картину. А сам он только мешал. Сейчас художник ненавидел в себе человека.

— Подождите, — услышал Васильев голос Косачева. — Я сойду... Я сам пойду... Пустите.

Они не обращали внимания и продолжали идти, торопливо и шатко, задыхаясь от усталости. Косачев сел в носилках, затряс их и закричал:

— Пустите! Я здоров. Слышите? Здоров!

Он ступил на землю, встретил суровый взгляд Васильева. Земля качнулась под ним, но уже следующий шаг придал Косачеву уверенности. Он чувствовал землю, как никогда, он был продолжением ее — неласковая, твердая, бугристая, она с готовностью ложилась под ноги. Тот и другой Косачев слились, он был один.

Деревья, кусты, валежины.

Остались позади брошенные носилки.

Афоня вытер мокрый лоб черной от гари рукой, догнал Косачева и, отдуваясь, сказал:

— Тяжел ты, дьявол... как колода...

Маленький, юркий Афоня семенил рядом, широко размахивая рукой. Косачев взглянул на него. Вот когда ему стало по-настоящему больно и трудно дышать.

Какой дурацкий вопрос — зачем он здесь.

Только в совершенном отчаянии можно спросить у матери, зачем она родила.

Косачев глядел на Афоню и не находил слов. Теперь он не сомневался: картина будет написана и явится в его жизни большим этапом. Она не завершит поисков, она подведет итог. Без нее он не мог идти дальше.

Пусть на его голову рухнут громы многозначительных критиков — заратустр в современном стиле, всегда забы-

вающих сказать главное. Он напишет — теперь он не может не написать. Пусть он ошибается, и смысл эпохи в другом. Он все равно напишет.

Обнять бы Афоню.

Идет себе, как ни в чем не бывало, ни о чем не подозревает и будет идти вот так и через месяц, и через год, до самого конца. Афоня ты, Афоня, милый человек...

— Афоня, — окликнул он тихо, и тот приостановился, повернул голову. Косачев увидел, что у него больные, все понимающие глаза.

— Чего тебе? Опять худо?

Афоня дернул рукой — непроизвольное движение поддержать Косачева. А для художника оно и явилось последней каплей. Хотел сказать спасибо и не мог разжать стиснутых зубов.

59

Рядом с Косачевым оказалась Ирина. Пересекли поляну, поросшую кустами жимолости. Люди нагибались, на ходу сламывали ветки, густо обсыпанные ягодой. Все хотели пить, мучила жажда, всем хотелось остановиться, хватать ягоды ртом и руками и пить их благодатный сок. Через полчаса или чуть больше и сюда доберется огонь, начнут неслышно пухнуть и лопаться сочные сизые ягоды.

Не сторонясь людей, через поляну прометнулось несколько диких оленей. Старый бык мелькнул ветвистой головой.

Люди оторвались, пошли дальше. Через несколько минут они вышли на ус, слишком узкий, чтобы оказаться спасением — кроны вверху смыкались, шумели сплошной массой. Но идти стало легче. Они пошли быстрее.

Как и каждый в отдельности из этих людей, Ирина думала о случившемся. Но, пожалуй, одна она не представляла себе всю величину опасности. По крайней мере до тех пор, пока Косачев не спрыгнул с носилок. Лицо художника испугало Ирину. Заросшее темной щетиной, в копоти, ожогах, исступленные, невидящие глаза — Ирина никогда не замечала у него таких. Она встретила его взгляд и, вздрогнув, отвернулась. Не увидеть Александра? Крылья бы. Счастливые птицы. Встревоженными стаями они проносились над тайгой. Да... Сама она совсем не летала, ничего не видела, можно сказать, почти не

жила. Ничего не сделала. Она ведь должна многое сделать, не зря ведь родилась и она... Она узнала счастье... И могло остаться на земле после нее что-то хорошее и простое, хорошее люди всегда вспоминают добром, благодарят. Зеленые молодые леса, густые, нужные земле, как человеку одежда.

Бежали облака. Тайга, любимая Ириной с детства, превратилась в западню. Тайга пугала. Близился вечер. Вслед за людьми крались пугливые дрожащие тени, и запах дыма преследовал неотступно.

60

Заплакал Афоня Холостяк. Сел прямо на землю и заплакал. Растерянно остановились и столпились вокруг, не зная, что делать. Ругаться с ним или тоже сесть рядом — и будь что будет. Куда идти? Еще несколько километров — и Гнилая тундра. Им не приходится себя обманывать.

Наступал тот момент, когда вот-вот скажут:

— Все.

И потом никто ничего не изменит.

Люди стояли, стараясь не глядеть друг на друга и на Афоню. Только Косачев продолжал идти с тем же, испугавшим Ирину, выражением лица.

Один из рабочих вздохнул, прилаживаясь опуститься рядом с Афоней. И тогда раздался незнакомый голос Васильева:

— Не сметь!

Остановился Косачев. Словно споткнулся. Афоня поднял голову. Все увидели его лицо, и у Васильева задрожало внутри. Но жалеть было нельзя.

— Размяк, Афоня? Душа в пятки ушла? А ты знаешь, что такое камень кругом? На всю жизнь? И одна мысль — не явится ли осколок стекла спасением, и свое горло, которое ближе и доступнее всего, которое ты не раз ощупывал и отдергивал руку... Ну-ка, скажи мне, что бы ты сделал?

Белки глаз у Афони в радужных жилках. Слова Васильева, его шепот громче крика — разволновался старик

— Не знаю...

— Не знаешь, Афоня? А в атаку тебе приходилось ходить? Кусок земли, который нужно пройти? Остаток

твоей жизни и твоя смерть! Что бы ты сделал? Тоже не знаешь?

— Не знаю, — заикаясь, выговорил Афоня.

— Ты должен знать... Ты же — человек. Или не называйся человеком. Сиди, ожидай. Заячья душа ты — не человек. Слякоть. Ты думаешь, остальным легче? Я тебя вполовину старше...

Васильев внезапно оборвал и пошел не оглядываясь, боясь оглянуться. Сквозь прожженную куртку проглядывала спина.

Ирина шла рядом и не могла заставить себя повернуть головы. Она вздрогнула, услышав истошный крик Афони:

— Па-авлыч!..

И опять дорога, старые, мшистые деревья по сторонам. Земля под ногами. Люди. Их торопливый шаг.

Никто не решался спросить себя, куда ведет эта дорога.

Шумит тайга, шумит, проклятая...

Шумит.

— Павлыч! Павлыч!

61

Дальше дороги нет.

Петля разворачивалась у самого края тундры, и они увидели океан полусухой травы с густо светлевшими пятнами воды — раздолье ветра и солнца. Оно уходило до самого горизонта и казалось издали обычным лугом. Недобро прославленная Гнилая тундра. При упоминании о ней местные жители плюют и ругаются — не одну тысячу оленей проглотила она за здорово живешь да и людей немало...

Вблизи видно: тяжело вздыхает зыбкая трясина, выгибается рыжий ковер трав, охватывающий полукругом причуду природы — кусок материковых почв, поросший густым частоколом тайги. Сколько угодно влаги и пищи. Сколько угодно солнца.

Рев, дикий и хриплый, пронесся над тундрой.

Люди выбежали на самый край. И замерли. В двух метрах от них тундра заглатывала оленя. Загривок, цар-

ственная ветвистая голова. Минута — и одни кончики рогов. Потом судорожная дрожь прошла по трясине, и все успокоилось. Только темная латка жирной грязи напоминала о случившемся.

Афоня Холостяк поднял руку к фуражке, ее не оказалось.

— Тоже красавцем жил... Вечная память...

62

Васильев молчал, и Косачев молчал, и все остальные. Кто сидел, кто лежал, никому не хотелось разговаривать. Вспоминалось самое дорогое, сокровенное. Другому не расскажешь. Не к чему и незачем говорить.

Уткнув голову в колени, сидела Ирина. На земле — россыпь красноватой брусники. Афоня Холостяк собирал ее и медленными, размеренными движениями отправлял в рот. Глядел в предвечернее марево тундры. Напрасно сердился до сих пор на жену. Жена есть жена, а если что — сам виноват.

Косачев приподнялся, огляделся кругом, остановился взглядом на затылке Васильева и опустил голову в бруснику.

В огне и ветре опускалось к горизонту невидимое солнце, близость вечера угадывалась по цвету облаков, по изменившейся окраске тундры, по густевшим теням деревьев.

Косачев ничего не замечал.

Если конец, он все равно нашел свою картину. Он написал ее, написал для себя, и теперь не так страшно.

Он повернулся на бок. И увидел лицо Галинки. Оно было огромным.

63

Васильев сидел в стороне. Кусал губы от бешенства. Сидеть и ждать... Лучше идти навстречу огню. Глупо сгорать именно сейчас. Спасения не было. Оставалась надежда на чудо. Прилетит вертолет, разразится дождь или внезапно переменится ветер. Вертолет... Но знает ли кто о них? В деле участвовали тысячи людей, и два десятка из них могли затеряться, о них хватятся слишком поздно.

Васильев оглянулся, словно затравленный зверь. Нет... Ждать вертолета? Остался какой-нибудь час, не больше.

Один из рабочих сидел на сухой валежине, недалеко от вскинутых к небу корней.

Шли секунды. Васильев глядел на мертвые корни. Было время — они выполняли важную, необходимую работу. Питали стройное зеленое дерево и никогда не знали солнца.

Васильев не мог оторвать взгляда от обнаженных корней. Он чувствовал: спасительная мысль кроется именно в них, только не удавалось схватить ее окончательно.

Захотелось курить. Васильев похлопал себя по карманам, по-прежнему не отрывая взгляда от вывороченного бурей дерева. Папирос не оказалось. Он сунул в рот сухую веточку.

Вершины гудели от напряжения, стволы передавали его земле: Васильев слышал гул, идущий откуда-то из ее глубины.

— Эх, мама моя родная, — задрал курносое лицо Афоня Холостяк. — Когда меня рожала, ты и сама не знала, почему земля дрожала. Был бы мост до самого края неба, пошел бы я своим ходом к господу богу в гости, отнес бы ему свои грешные кости. Надеть бы чистую рубаху, и страшный суд прошел бы без страху...

Афоня говорил много, но Васильев уже не слушал. Его сковала усталость. Он словно пророс корнями в самую глубь земли, силился встать и не мог. А встать нужно было. Он видел спасение. Афоня сказал: мост. Мост. Они сделают настил. В трясину, метров на двести. Из валежин. Только бы успеть. И как раньше не пришло в голову? Самое сильное пламя не хлестнет за двести метров, даже здесь дерево не должно тонуть. Только бы успеть... Встать...

Он силился открыть глаза, пытаясь приподняться. Корни сковали намертво, и огромной гирей висела на нем земля. Он силился приподнять ее вместе с собой. И, чувствуя, как рвутся жилы на ногах, он приподнял ее, потому что спасение зависело от выигранных секунд. Сам для себя огромный, вместе с собой поднял он землю и, не успев открыть глаза, прохрипел:

— Настил...

Потом он увидел людей кругом, уставших, знакомых, и сам он был очень обычный, не выше других ростом.

— Настил, — повторил он, указывая на валежину, и почуял сумасшедшую решимость двух десятков глаз. Опять наступило так называемое второе дыхание. Умершее дерево, поставленное стоймя, рухнуло в жидкую топь. Брызнула вода и грязь, и тайга огласилась голосами людей.

64

Огонь приближался. Забрызганные с ног до головы, сновали по тайге люди. Валежника не хватало. Они набрасывались на молоденькие ели, не обращая внимания на кровоточащие руки, выворачивали деревца с корнями, тащили их к трясине. Настил уходил все дальше и дальше от тайги, и те, кто вначале не верил, поверили и, задыхаясь, торопясь, продолжали начатое. Некоторые срывались в трясину, их вытаскивали.

Косачев работал вместе с другими. Хватал охапки веток, тащил к помосту. Мелькавшие вокруг люди хрипло, торопливо переговаривались. Он ловил обрывки фраз, кто-то помогал ему взваливать на спину все новый и новый груз. И каждый раз он сгибался под ним в три погибели и умолял сам себя выдержать, дотащить. По спине, по груди тепло скатывался пот.

Возвращаясь за новой ношей, он увидел Васильева. Тот стоял перед небольшой елкой. Тяжело дыша, Косачев остановился. Никак не мог понять радости Васильева.

— В чем дело, Павлыч? — спросил Косачев тихо.

Васильев вздохнул.

— Елка лапы приподняла. Дождь пойдет... скоро... Ах, черт бы тебя побрал!

Косачев недоверчиво оглядел дерево и побрел дальше. Какой дождь? Даже язык высох во рту — без боли им невозможно шевельнуть.

— Тащи, Федька!

— Эй, ребята, помогите!

— Давай! Давай!

— Иди ты... У жены требуй. Не видишь, приросла чертяка... Ну?!

Мимо промелькнула Ирина. Похожий на огромного муравья, Афоня Холостяк протащил сухую коряжину.

Булькала, хлюпала тундра. Первые десятки метров настила втопали в трясину, двигались по колено в жиже.

— Кончай! — скомандовал Васильев, пропуская мимо себя людей с охапками веток. — Больше не возвращаться.

Он повысил голос до крика. Отсветы идущего пламени дрожали на земле, на лицах людей, на воде, на стволах деревьев.

Возле Васильева остановилась Ирина и еще человека четыре. Все остальные были уже на помосте. Все остальные не видели вынырнувшей из пламени машины. Она развернулась на петле у самой тундры, и пришедшие в себя люди бросились к ней, не зная, что думать. Дверь кабины распахнулась. Высунулась всклокоченная голова Александра.

— Сашка! — измученно вскрикнула Ирина, и тотчас сзади у Александра снопом всплеснулся огонь. Никто не слышал взрыва — рев рушился на землю. Словно от толчка в спину, юноша дернулся всем телом, успел увидеть подбегавшую Ирину, успел подумать: «Бензобак... взорвался бак...»

И земля ринулась к нему со страшной скоростью, закрыла собой все остальное. Ирину и Васильева, тайгу и небо.

65

А через несколько минут всюду кипело пламя. Оно освещало тундру на несколько километров, бесновалось у самого края трясины, заставляло корежиться людей на расстоянии в две сотни метров. Они просовывали руки сквозь ветки настила и мазали лица жидкой грязью.

Ирина смочила оторванный от платья кусок. Приложила его к губам Александра. Сама она не замечала ни жара, ни дыма.

— Саша... Родной... Единственный...

В неподвижном теле теплился огонек жизни. Пульс... Глубокая рваная рана на спине... Она сама видела. Осторожно, кончиками пальцев ощупывала плечи, руки.

Она не заметила наступления темноты.

Постепенно опадал, лишившись пищи, огонь, и пошел дождь — вначале неуверенно, редко, затем все сильнее и сильнее. Люди вокруг говорили о дожде. Ирина подняла лицо к небу.

Дождь... Проклятый... Когда нужно, его не было... А теперь он хлестал с яростной силой, и платье сразу

взмокло, облепило тело. Александр лежал ничком, и в его неподвижности таилось самое худшее.

Ирина прикрывала собой и не могла прикрыть Александра.

— Саша, — позвала она, заранее зная, что он не отзовется, и не веря этому.

— Не надо... Не тревожь его зря.

Она узнала голос Васильева.

— Сейчас носилки наладим.

И все услышали в темноте, в уверенном спокойном шелесте дождя тихий, беспомощный плач.

В поселок они пришли далеко за полночь. Они шли по выжженной тайге. Проливной дождь не мог уничтожить пока запаха гари.

Поселок встретил их пустынными, налитыми водой улицами.

Ни огонька.

Ни звука.

Дождь.

Но больница светилась окнами.

66

Ночь прибила дождем последние очаги пожара.

Наступило утро.

В переполненной больнице сбились с ног врачи и сестры. Иван Никифорович — старший врач — не вздремнул ни одной минуты. Александр лежал в отдельной палате. Возле него непрерывно дежурили. Иван Никифорович то и дело ерошил короткий седой ежик волос, для него признак сильного волнения. Как назло, не было хирурга — две недели назад улетел в отпуск.

Операция предстояла сложная. Рентген показал: осколок находится в опасной близости к сердцу. Иван Никифорович не знал, что делать. Из Северогорска обещали прислать хирурга на вертолете только во второй половине следующего дня. Утро едва-едва прорезывалось, дождливое утро, предвещавшее раннюю осень.

Свет резал глаза, и Иван Никифорович его выключил. В темном прямоугольнике стены проступил серый квадрат окна. Тяжело опершись о подлокотники кресла, Иван Никифорович встал и распахнул его. В комнату ворвался ветер, шум дождя, запах мокрой земли.

— Надо решаться...

Иван Никифорович поднял руки к волосам и тут же опустил их с досадой. Скверная привычка.

Он оправил халат и вышел в коридор. Редкие тусклые лампочки подчеркивали его длину. «Экий неприятный коридор, — подумал Иван Никифорович, засовывая руки под халат в карманы. — Сколько раз ставили вопрос о новом помещении...»

Он вспомнил Головина — тот все обещал нажать, где нужно, — и вот тебе...

Иван Никифорович вздохнул. Как-то будет теперь?

Он подумал и прошел в седьмую палату. Навстречу ему поднялась дежурная сестра.

— Как, Петровна? — спросил врач.

— По-прежнему, Иван Никифорович, по-прежнему.

Она была стара, рябовата и добросовестна, и всем без исключения говорила «голубок». К этому привыкли. Иван Никифорович присел на место дежурной и взял руку юноши. Александр открыл глаза. Врач поводил перед ним кистью руки. Глаза оставались неподвижными. Александр говорил шепотом, бессвязно и горячо. Чтобы разобрать, Иван Никифорович наклонился ухом почти к самому его лицу. Александр звал Ирину и просил пить. Проглотив несколько ложек воды, он успокоился, и врач почувствовал: к юноше возвращается сознание. Пришли в движение, вздрогнули вспухшие, с осыпавшимися от огня ресницами веки.

— Доктор... Скажите, доктор, я сильно обгорел? Буду жить?

— Какая ерунда... и детей народишь. А сейчас — молчи. Потом поговорим. Еще рано — спи. Ольгу мою помнишь? О тебе спрашивает в письме.

Иван Никифорович пригнулся: снова остановились зрачки раненого.

— Почему вы молчите, доктор? Я буду жить? Я же вас вижу, вы рядом, скажите...

В наступившей тишине медленно угасал голос. И дежурная сестра и врач услышали:

— Не уходи, Ирина... Куда же ты, Ирина! Постой... мне нужно сказать тебе...

Иван Никифорович взъерошил волосы и, кивнув сестре, направился в свой кабинет. Там у раскрытого окна стоял Глушко.

— Доброе утро, Иван Никифорович.

— Какое там доброе, — проговорил врач недовольно.

— Свежие новости, доктор. Звонили из области. Геликоптер вылетит сегодня в двенадцать. Что смотришь так, Иван Никифорович?

— Думаю...

— О чем?

— Будет поздно, дорогой Петр Васильевич. Слишком поздно...

Глушко упорно смотрел себе под ноги. Из-за неплотно притворенной двери стали доноситься шумы начинающегося больничного дня: шорохи швабры, звяканье суден, сдержанные голоса нянечек и сестер. Иван Никифорович сидел, тяжело отвалившись на спинку кресла. С Глушко они старые друзья. Не раз проводили выходные дни с удочками. Дружили их жены и дети, жили бок о бок семнадцать лет и привыкли понимать друг друга с полуслова.

Сейчас молчание Глушко раздражало Ивана Никифоровича, и он враждебно поглядывал из-под насупленных бровей.

— Что делать?

Иван Никифорович дернул круглыми плечами. Хотя лицо Глушко не было видно, врач угадывал мысли соседа и раздражался все больше.

— Подождем...

— А она будет ждать?

— Кто она? Выражайся, пожалуйста, яснее, батенька.

Глушко наконец повернулся. Зло посмотрел на Ивана Никифоровича.

— Смерть. Яснее не скажешь, чего тут не понимать.

— А ты не кричи, сделай милость. Я — терапевт. Операция сложная, здесь нужен хирург, и притом опытный хирург.

— Всякий терапевт при нужде обязан становиться хирургом... Нельзя же сидеть сложа руки и глядеть, как человек умирает.

Иван Никифорович раздраженно встал.

— Ну, знаешь ли... Нужно иметь полномочия так разговаривать.

— Какие там полномочия. Тебя самого совесть потом загрызет.

— Хватит прорабатывать, привык на собраниях. И с...

дай милость, дай мне возможность заняться делами. Меня к обходу ждут. — Он сердито уткнулся в температурные сводки.

В коридоре Глушко столкнулся с Почкиным. Вениамин Петрович утопал в длинных рукавах докторского халата.

— Как? — спросил он, протягивая руку, и Глушко отвел глаза в сторону.

— Плохо.

Они постояли рядом, один почти вполовину выше другого. У Почкина зеленоватое, похудевшее за последние дни лицо. Оба устали. Для обоих встреча была неприятна. Они и сейчас не скрывали взаимной неприязни. Но хотели они или нет, последние события сдвинули, смешали их представления друг о друге. Они не стали ближе, однако появилась сдержанность. Они поговорили о предстоящих похоронах. Вениамин Петрович нервно покусывал губы.

— Случается ведь... В самый последний день...

Глушко взглянул ему прямо в глаза, сказал:

— Жизнь полна нелепостей, Вениамин Петрович. Умирает тот, кому жить да жить. И пожаловаться некому — сами мы во всем виноваты.

Почкин вопросительно поднял брови.

— Не понимаю, Данилыч. Тут простая случайность. Никто не застрахован.

Сдерживаясь, Глушко возразил:

— Не думаю. Некоторые застрахованы и крепко. Сами собой, Вениамин Петрович, застрахованы. Понимаешь?

Хлопали двери. Мимо прошла сестра в мокрой накидке. Они посторонились.

— Дурацкая погода, — сказал Глушко. — Ладно, Вениамин Петрович, пойду. Хочу опять связаться с областью. Архипову совсем худо.

— Пожалуй... Я сам думал. А потом где будешь?

— В конторе.

На улице Глушко увидел на одной из скамеечек, недалеко от крыльца закутанную в плащ женскую фигуру. Было достаточно светло. Он узнал дочь Головина и тихонько кашлянул. Девушка не пошевелилась. Струйки дождя ползли по ее блестящему плащу. Глушко спустился с крыльца. Сыпал мелкий дождь. Вода бежала с крыши. Небо поило высохшую за последние месяцы землю.

Глушко вспомнил Александра, приостановился. Хотел окликнуть девушку и не смог.

67

Геликоптер прилетел в разгар операции. Иван Никифорович только что вскрыл грудную полость. В столбе яркого света, падавшего сверху, почти незаметно пульсировало сердце раненого. Иван Никифорович почувствовал на себе внимательный взгляд постороннего. Чуть повернув голову, увидел высокого человека. Белая шапочка оттеняла жесткие курчавые виски. Иван Никифорович узнал — Воинов. Прославленный в этих краях хирург.

Воинов еле заметно кивнул, продолжая внимательно наблюдать за ходом операции. Иван Никифорович осторожно выдохнул из себя лишний воздух. Нагнул голову — одна из ассистенток вытерла ему лоб. Воинов придвинулся ближе, — и Иван Никифорович уступил ему место. Наступила самая трудная часть операции — извлечение большого рваного осколка, проникшего в левое легкое.

Ни тогда, ни после Иван Никифорович не был уверен, каков был бы исход операции, не прилети вовремя Воинов. Но то, что это был один из самых тяжелых дней его жизни, — он знал. Когда в напряженной тишине операционной звякнул осколок, брошенный Воиновым в таз, Иван Никифорович незаметно для других вышел из комнаты и долго сидел в своем кабинете, не снимая перчаток и маски. Ему пришлось пойти к собравшимся у больницы рабочим и сообщить о благополучном исходе операции. Сырой, свежий воздух подбодрил. При появлении врача все притихли. Иван Никифорович встретил ждущие глаза Афони Холостяка, Анищенко, Галинки Стрепетовой, задержался на бледном лице Ирины, — как только он появился на крыльце, она, не поднимаясь со скамейки, повернула голову.

Потом он видел: Ирина пошла посередине улицы одна. Ее догнала Галинка Стрепетова. Иван Никифорович долго смотрел им вслед.

68

Затем — похороны. На второй день. Два гроба. Строго и печально. Окруженное тайгой, поросшее жимолостью кладбище встретило людей изобилием переспевшей ягоды.

— Перестань. Ты сам все выдумываешь.

— Нет, с того времени, когда я чуть не утонул под баржей, я стал бояться. Я боялся ехать. Но потом эта смерть... Все перевернулось, отступило. Знаешь, как взрыв или молния ночью. Осветила такое, что стало больно. И может быть... Нет, невозможно передать. Я и сейчас не могу вспомнить, как получилось. Помню, бежал к машинам. Крики...

Он закрыл глаза. Ему необходимо было выговориться.

— Этого не забудешь. И потом — страха уже не было, словно выгорел.

— Не надо, не вспоминай.

— Хорошо, — согласился он, и они замолчали.

— Теперь я никуда отсюда не уеду. Ты не горюй, Иринка. Я знаю планы отца. Здесь очень много работы. Но мы ведь такие молодые, не правда ли?

Он повернул голову. Неслышно вздохнув, Ирина помедлила и, не в силах справиться с нахлынувшим чувством боли и нежности, прижалась лицом к его ладони. Глаза Александра поголубели. Ей хотелось увидеть его улыбку. «Да улыбнись же, улыбнись!» — просила она мысленно, и он улыбнулся. Но опять-таки это была новая, незнакомая ей улыбка. Без прежней ребячливости. Она тотчас исчезла.

— Ночами не спится. Лежишь... о чем только не передумаешь. Недавно Павлыч дал мне свои тетради, о войне он пишет. Там у него одно место есть — смерть солдата. В сорок третьем, на Украине. Каких-нибудь сто метров до своего села оставалось, и ноги ему оторвало. А он ползет, и уже умирает. След за ним по земле — как две кровавые бор[illegible] он тихо так говорит: «О господи...» Он у[illegible]ды. И пото[illegible] [illegible]гда верил. Кажется ему, за-
ке в годах был, наверное, [illegible]
сыпает. Шумит над ним знакомая стара[illegible] ракита, и голоса детей слышатся, и жинка за что-то ругается[illegible]. И солдат плачет во сне от счастья, и благодарит судьбу... [illegible] все кре[illegible]
[illegible]е прижимается [illegible] к теплой земле. Земле... [illegible]
[illegible]ветило.

Там у него много интересного, у Васильева, о Герма[illegible]нии много. Но это...

После долгого молчания Ирина сказала:

— Хорошо, что мы родились в России, Саша. Ведь там опять то же: полигоны, казармы. И когда только прекратится?

Александр почувствовал, как напряглась ее рука. Поймал ее взгляд.

Она успокаивающе кивнула:

— Ничего...

Она не хотела сейчас делиться с ним тем пугающим, мелькнувшим тревожной тенью. Мало ли о чем может подумать человек... Пусть армия, если это неизбежно, пусть еще два года ожидания... Самое главное — он есть, они любят.

В сгустившихся сумерках глаза ее казались обиженными, детскими.

— Учиться нам надо, чтобы знать больше.

— Да...

В палату вошел старший врач. Ирина встала.

Кивком головы Иван Никифорович приказал ей сесть. Сам присел на краешек кровати. В накинутом на плечи халате казался очень домашним. Подержал руку юноши — проверил пульс.

— Так... О чем разговор? Ну, ладно, ладно. Послезавтра отправим тебя, Архипов. В Северогорск. Отремонтируют тебя капитально, и в Крым. Отдохнешь. Ты никогда не был на юге? Песок, солнце — вернешься богатырем. Как? Знаешь, брат, тут корреспондент один — надоел. Я, говорит, может, книгу напишу.

— О чем?

— Разумеется, о тебе.

— Ну, вот еще. Не пускайте его.

— Молодец. Потом напишут.

Ирина смотрела на Александра. Ему захотелось [illegible]ть ей и Ивану Никифоровичу, доброму, толстому, что [illegible]исать книгу о [illegible] — [illegible]ерунда. Ему [illegible]ало. Ведь ничего не был[illegible] пока — и [illegible] [illegible]мешно [illegible]т-ся. Он сам это з[illegible]ал, а [illegible] только-только начи[illegible] таких слов, чтобы сказать другим, [illegible] нашел.

72

Перед отъездом к Александру пришли товарищи из его бригады. С ними — Васильев в отглаженном костюме. Принесли подарки, крепкие запахи тайги и много здорового, веселого шума. Чистота палаты и строгие глаза Ирины заставили их примолкнуть на время и заговорить вполголоса. Они пришли после работы, вечером в неумело за-

вязанных халатах и были похожи на студентов-практикантов. Шумливый Афоня не выдержал, громко хохотнул и с деланным испугом оглянулся. Анищенко, сердито взглянув на него, тоже не выдержал.

— Знаешь, Сашка, мы все-таки взяли Холостяка в бригаду. Начинаем подбирать людей. Упросил. Говорит — перестроился, мол. Что ты будешь с ним делать?

— Ладно, не заливай. Он меня получше твоего знает. Помнишь, Сашка, как тебя хлыстом придавило? Кто помог, рискуя грыжу нажить?

Александр кивнул.

— То-то! А ты говоришь! Я еще покажу! Пока ты, Сашка, приедешь, мы ивановцам нос утрем. Кто вчера предложил цеплять хлысты по-новому?

Александр слушал их и поглядывал на залепленное пластырем лицо Васильева. Тот помалкивал, дожидался, пока молодежь выговорится. Он давно хотел навестить юношу и теперь глядел на него мягко и внимательно.

— Нет, ты послушай, Сашка...

Афоня дергал конец бинта, высунувшийся из-под одеяла.

Ирина легонько стукнула его по рукам.

— Убери руки, Афанасий Иванович, бинты запачкаешь.

Афоня обиженно повертел головой.

Анищенко, настроенный серьезно, указал на свободный стул:

— Не мельтеши, садись. И что у тебя за характер, Афоня? Всегда норовишь вперед выскочить. Знаешь, не знаешь...

— Ладно. У тебя ума занимать не буду. Подумаешь, бригадир. Шишка... А, например...

— Что?

Афоня окинул Михаила уничтожающим взглядом. Помедлил и спросил:

— А знаешь ли ты, великий грамотей, что древние в знак печали надевали на голову венки из петрушки. Ну-ка...

...ко откровенно пожал плечами.

...ости...

...затем — в Греции пет-

— Петрушка? Символом горя? Ребята, какой талант пропадает! Да тебе, Афоня, давно надо в академии быть.

— Хо-хо! И ведь не краснеет!

— Хватит врать-то...

Не удостаивая присутствующих вниманием, Афоня равнодушно глядел в окно.

— Кто сомневается, может заглянуть в поваренную книгу. И гоготать нечего. Не верите — могу хоть сейчас принести.

— Не надо, верим.

Анищенко, подсаживаясь на край кровати к Александру, решительно заявил:

— Будет, хлопцы, не за этим пришли. Слушай, Ирина, вот-вот только в нашем присутствии Петро поцапался с директором.

— Парторг?

— Угу. И сильно. Мы к Роботу с проектом твоего отца об эксплуатации в первую очередь переспелых массивов — Далекой пади и Веселых проток, а он нас точно ушатом воды окатил. У него этакая важность появилась, повадка начальственная. Дорвался, откуда взялось. Головин, говорит, прожектер, и вы не суйтесь не в свое дело. Вы, мол, знаете, какую обузу хотите на себя взвалить? Наше дело лес давать, а не экспериментировать. Мы сами в ярмо не полезем. Нигде, мол, в нашем крае нет такого. Для этого, мол, лесхозы есть. Когда прикажут — выполним.

Оттолкнув стул, Анищенко изобразил, как все происходило. Просеменил быстрыми шажочками от двери к столу, ухватился руками за спинку стула и втянул голову в плечи. Все увидели главного инженера, ныне директора, услышали бархатистый размеренный голос:

— Мы будем заниматься тем, чем нам положено. Давать лес. До тех пор, пока не получим указаний. О проекте Головина ничего пока неизвестно. Наш леспромхоз самый рентабельный в крае, и я уверен, я убежден: его не позволят превратить в опытную станцию. Вы свободны.

— Отец и не имел в виду...

— Вот, вот. Я говорю: а высказывания Х[illegible]
двадцать первом съезде? А он мне —[illegible]
опять ушла в плечи, в [illegible]
н[illegible]тки, — мол, [illegible]

дит Глушко. Дверь настежь, широкий дядька, и прямо с порога спрашивает: в чем дело?

Афоня Холостяк, давно ерзавший от нетерпения, вскочил:

— Я ему все и выложил. Я говорю...

— Вот тут уж без Афони не обошлось. При Глушко-то ты расхрабрился.

Анищенко посторонился, сел.

— Ври дальше, Афоня.

— Чего?

— Продолжай, говорю, рассказывай. Ты же хотел.

— Хотел, да не то. Ты у нас борец за правду. Новатор. Все знают, а я что? Простой человек. А простому человеку начальство критиковать, что медведя целовать. Удовольствия на грош, а страху...

Афоня взглянул на улыбающуюся Ирину, Косачева, сделал обиженную мину и уселся на свое место. Разговор принял более общий характер. Но Анищенко не удержался и начал рассказывать, как парторг взял их сторону в споре с директором и заявил, что мы, — Анищенко выделил «мы» особо, — сделаем все, чтобы проект Головина стал жизнью, и в первую очередь именно в нашем Игреньском леспромхозе. И знаете, показалось мне в одно время, Робот на попятную пошел. На Глушко смотрит, а в глазах какая-то усмешка нехорошая, злая.

— Ага... Заметно было.

— Не верю я ему.

Слушая хлесткую перепалку ребят, Ирина почти не вмешивалась. Кто знает, возможно, они судили не совсем и верно. Как бы там ни было, но одно ясно: Почкин во многом изменился. В нем словно выпрямилась скрытая раньше пружина — весь он стал мягче, свободнее. Почти без желчи и раздражительности. Он охотно шутил с рабочими. И очевидно потому, что занимал теперь место отца, Ирина присматривалась к нему с удвоенным вниманием, присматривалась строго, пристрастно, и замечала то, чего никому другому не удалось бы увидеть. Память об отце была для нее дорога и со временем становилась все дороже. И теперь, наблюдая за деятельностью другого человека, было легче осознавать прошлое, четче и зримее проступали отцовские замыслы, становилось понятнее их значение. Она не могла не увидеть и другое. В своих исканиях и планах отец всегда немного отрывался от земли,

и большинство за ним не поспевало. Даже Анищенко был вынужден как-то признать, что порядка при Почкине становится больше, что у него появилась та спокойная уверенность, которая невольно передавалась окружающим. Пусть он бескрыл, но он сразу настоял на закладке фундамента под новый клуб, приступил к переоборудованию бани, ввел строгую, ежедневную отчетность мастеров и десятников, добился увеличения директорского фонда.

Но в то же время эта спешка настораживала — Вениамин Петрович словно стремился доказать и друзьям и недругам, на что в самом деле он способен.

Кто знает... Родятся ведь люди музыкантами, артистами, художниками. Возможно, Почкин родился директором. У него своя поэзия — поэзия руководства, администрирования. В этой стихии он как рыба в воде. Кто знает... По крайней мере, сама она пока не хотела высказываться так определенно, как Анищенко. Отца все равно теперь не вернуть, и лучше, если на его месте будет толковый, деятельный человек.

Анищенко ходил по палате, стараясь ступать по одной половице, — некоторое время Ирина следила за ним взглядом.

Спор то стихал, то разгорался. Косачев все время молчал и думал, с какой легкостью оперирует худощавый застенчивый паренек с пушком на щеках лесоводческими терминами, гектарами и кубометрами, и отмечал про себя, что к нему прислушиваются. Внимательный взгляд, несмелая быстрая улыбка, которая, впрочем, больше относилась к Ирине. Та слушала, изредка взглядывая на Александра. Он улыбался ей одними глазами. Все были заинтересованы. Косачев вдруг почувствовал себя лишним среди этих людей, он не знал таксаций, коренного и временного лесов, сроков вызревания лиственницы и поэтому особенно не вслушивался. Он думал об отъезде.

Наступало время подсчитать свои потери и приобретения. Держать ответ.

Художник почувствовал грусть. Он улетал, они оставались. Всегда немного завидуешь тем, кто остается. Они спорили о зримых, обыденных вещах, против которых трудно возразить. Ему придется шагать там, где все истоптано, исхожено, и всякий раз неожиданно ново. И он опять ощутил, что дорога его поисков и откровений началась именно среди этих людей, в безвестном поселке,

среди северной тайги, в краю морозов, ветра и простых людей с большими страстями. Здесь он нашел себя. Здесь он узнал Галинку. И наступит день, вьюжный или безветренный — неважно. Он что-то потеряет.

— Галинку?

Косачев вдруг совершенно перестал слышать, о чем идет разговор.

73

Молодежь ушла, сердечно, с шутками распрощавшись. Афоня с самым серьезным видом обещал никому не давать Ирину в обиду и попросил передать привет всем курортницам.

— Доверь козлу капусту, — пробасил Анищенко за дверью, и все стихло.

Васильев походил по палате, достал папиросы и оглянулся.

— В форточку, — подсказал Александр.

— А ты?

— Нельзя, Павлыч.

Васильев затянулся несколько раз, выбросил папиросу в форточку.

Остановился возле кровати, поглядел на Александра, всего перемотанного бинтами, похудевшего, бледного и веселого, с тонкой шеей, короткими русыми волосами. Добрая отцовская улыбка не сходила с лица Васильева.

— Ну, ты отдыхай, Сашка. Смотри вон, у тебя даже лоб взмок. Хватит разговоров. Я окно открою, проветрить надо.

Александр полузакрыл глаза. И вдруг остановил Васильева у самого порога:

— А ты что, Павлыч, думаешь о Почкине? Хороший это человек? Ведь может и у него быть своя, маленькая, и все-таки нужная людям правда. Может?

— Хорошим я могу назвать, Сашка, того, с кем в тайгу вдвоем пойду или в окопе сидеть буду спина в спину. Почкина не знаю, не интересовал он меня до сих пор. А правда, Сашка, она ведь разная есть: и стоячая, и сидячая... И летящая есть. Мне, например, только такая нужна, настоящая. Она не каждому дается — летящая правда. Спи, не переживай. Правду в мешок не посадишь — такая штука, не усидит. Завтра провожать приду. Спи.

74

На другой день недалеко от больницы опустился геликоптер. Сквозь разорванные облака просвечивало солнце. Собралась толпа ребятишек и женщин. Вынесли Александра. Ирина шла рядом. Юноша увидел Глушко, Ивана Никифоровича, Анищенко.

— Выздоравливай, Сашка!

— Ждем!

Ирина шевельнула губами, Александр угадал:

— Пиши...

Летчик торопился, все происходило быстро и деловито. Все много говорили, и Александр что-то отвечал. В памяти остались не слова, а лицо и глаза Ирины и протянутая рука Васильева с темными сильными пальцами.

Большая стрекоза с короткими крыльями набрала высоту, поплыла над поселком. Нити дорог сходились и расходились, петляла Игрень-река, открывались никогда не виденные просторы. Он узнавал места, по которым недавно прокатился пал. Увидел совершенно нетронутые участки тайги. Но больше всего его поразили старые, захламленные вырубки вокруг поселка. Он и не предполагал, что они так велики. Они тянулись и на восток и на север, они подступали к поселку с юга. И среди них всего два или три радующих свежей зеленью острова — те самые участки, к которым прикоснулась бережная рука человека.

Он поднялся на несколько сотен метров над землей, и точно убрали пелену, застилавшую глаза.

«Нет, прав Головин, — сказал сам себе Александр, думая о сомнениях Ирины в ее молчаливом споре с Почкиным за отца. — Тысячу раз прав Головин, светлая голова. И старик ведь о том же говорил вчера. Летящая правда».

За крыльями исчезали очертания знакомых мест.

Александр притих, стараясь не упустить из виду самой мельчайшей подробности. Там, на земле, в небольшом поселке, в беспорядочно разбросанных вырубках, в укоряющей яркой зелени одиноких участков молодой тайги оставался мир, без которого ему нельзя было жить. И ему стало стыдно, что он вдруг ослаб и расчувствовался.

«Я скоро, очень скоро вернусь», — подумал он, напрягая зрение.

В том месте, где была рассечена спина, стало тихо и

настойчиво покалывать. Словно связало сердце и землю невидимая нить. Она натягивалась все сильнее, и ему очень не хотелось, чтобы она вдруг оборвалась.

75

В начале октября выпал снег, завихрило дня на три, слился день с ночью в белую карусель. Потом улеглось. Чистый до синевы снег, стеклянный воздух, прикоснись — треснет.

Впервые видел Косачев начало северной зимы — ослепительно белое бесстрастное целомудрие природы. Резкий контраст с тем, что в нем происходило. Фрагменты, эскизы новой картины заваливали комнату. Отрываясь от многочасовой работы, он бродил по поселку, уходил в тайгу. Молоденькие елки обсыпали его хрустящим снегом.

По ночам — звездное небо, таинственные провалы тайги.

Днями — ослепительное однообразие снегов.

Он больше не работал в бригаде, ходил, смотрел, думал. Писал до одеревенения в пальцах. Галинку видел только мельком на делянах или вечером за ужином. Ни он, ни она не могли бы точно определить свои отношения. Он знал, какие идут о них разговоры в поселке, и не придавал значения. Иногда он любовался Галинкой, иногда ненавидел ее — раз и навсегда решив что-то для себя, она держалась с ним одинаково ровно, одинаково независимо. А Косачев начинал порой сомневаться: было ли между ними что-нибудь, кроме вечеров за чаем и обыденных разговоров о лесе, о сахаре, о дороговизне молока. Спасала работа. Он брал палитру и забывал обо всем. Но последние дни, когда ясно наметился отъезд, художник все чаще ловил себя на одном. Стоял перед полотном, опустив руки. Схватываясь, понимал: чего-то недоставало. Вновь и вновь проверял себя, свой замысел. Здесь не могло быть неудачи. Неудовлетворенность оставалась. Он накидывал на плечи пальто, выходил на улицу, бродил по поселку. Галинка? Это было несерьезно. Он возражал себе — нет, не то! Да и сама она как-то переменилась, он больше не понимал ее, ему казалось, что она ведет ловко задуманную игру.

Запутавшись, махнул рукой.

Изо дня в день усиливались морозы. На улицах посел-

ка прежняя жизнь, те же пересуды женщин. Косачев часто встречал Ирину. Она стала еще молчаливее, заметно повзрослела. И когда он спрашивал об Александре, отвечала скупо и сдержанно.

— Ничего. Поправляется. Сейчас в Крыму. Вчера телеграмму получила. Изумляется и пишет, что похоже на картину, у нас дома, мол, больше красоты.

Переводила разговор на другое.

— А вы, я слышала, все работаете?

— Пишу, — улыбался он. — Раньше я тоже отвечал: пишу. И говорил неправду. Понимаешь?

— Кажется, Павел Андреевич, понимаю немного.

Как-то он зашел к ней вечером, окинул знакомую обстановку. Ирина была в большой комнате — раньше здесь собирались во время обеда, по вечерам, когда все сходились домой.

Ирина встала из-за стола, заваленного книгами.

— Павел Андреевич! Что это вы без шапки? Простудитесь. Долго ли?

Он разматывал шарф.

— А сама? Тоже не очень кутаешься...

— Обо мне нечего говорить, я человек простой. А вот вы... Вы — талант. Беречь себя надо. У вас, наверное, все хорошо идет — вон вы какой веселый. Проходите, сейчас чай будем пить.

Косачев подошел к плите, протянул руки к огню.

— Хорошо...

— Морозы в этом году. Я смотрела — к вечеру сорок.

Она принесла ему стул.

— Работаешь?

— Помаленьку, Павел Андреевич.

— А я скучаю по Москве. Скоро еду...

Ирина поставила на плиту чайник. Освещенное неровными отблесками огня лицо Косачева было напряженно. Оборвав на полуслове, он точно пытался вспомнить забытое и важное. Точно неотступная, навязчивая мысль не давала ему покоя. Нет. Ирине только показалось, что он безмятежен и весел. Он устал, лишь сознание завершенности большой и трудной работы еще поддерживало в нем способность быть веселым, разговаривать, многим интересоваться.

Ирина тихо ходила по комнате, накрывала на стол.

— Что талант, — неожиданно сказал Косачев. — Ко-

нечно, чтобы творить, нужна одаренность. И кутать его — значит губить. Талант — кипение жизни. Все ее противоречия в нем... Если хочешь — это совесть и голос времени, его дух. И беречь талант можно только одним — трудом. Талантливый человек — великий труженик. Берет и отдает. Эх, Иринка-былинка! Можно быть талантливым и несчастливым.

— Не знаю. По-моему, талант — всегда счастье.

— Прости за комплимент, Ирина, ты прелесть.

— Я не шучу, Павел Андреевич, в вашем мире, наверное, так интересно.

Косачев с любопытством взглянул на нее, уселся удобнее.

— В нашем мире, как и везде в жизни, Ирина. И хорошее есть, немало и дурного. На выставках видят только картины. И люди не подозревают, какие страсти разыгрываются подчас до их создания. Да и после. Всего хватает.

Вспоминая, он засмеялся глазами. Все-таки Ирина — ребенок, и пока ее представления о жизни трогательно просты и наивны. Сейчас художник ей немного завидовал. По-хорошему. Таким, как она, уже нельзя стать.

— Хочешь, Ирина, я расскажу тебе одну историю, из нашего мира, как ты говоришь. Я рано рисовать начал, помнится в первом классе, учителя хвалили, мои рисунки в стенной газете приходил смотреть сам Пал Палыч — наш директор, такой академичный серьезный старик. К седьмому классу я был уже гордостью школы, публиковался в «Пионерской правде», а мама меня иначе и не называла, как наш маленький Рубенс. Ради меня она изучала классику и, конечно, понимала ее настолько по-своему, что я даже мальчишкой не мог удержаться от улыбки. Читать живопись тоже дано не каждому. Мама не сердилась. Она погибла под Ленинградом — хирургом была...

Косачев словно спохватился и торопливо спросил:

— Тебе интересно, Ирина?

— Очень, Павел Андреевич.

— Вот... Не знаю, в какой мере повредили мне все эти «ахи»... Наверное, очень. Дело в другом. Друг у меня был, такой тихий, скромный, маленький, женился рано и характер проявил — вопреки воле родителей, даже порвал с ними. Кроме своей жены, ни одной женщины больше не знал. Святой человек. Это уже потом. В школе мы с ним дружили. И представляешь, я только взрослым осмыслил,

как и почему началась наша вражда. У него оказалось дикое, какое-то восточное себялюбие. Сидели за одной партой, играли в одном дворе, и вдруг меня сам Пал Палыч на собрании превозносит и корреспондент «Пионерки» фотографирует. Ты представляешь? Я тогда не замечал, ну, как-то постепенно отдалились друг от друга, разные дороги, я в академию, он в университет. Встречал я его имя в газетах — пописывал кое-какие статейки о живописи, о театре. А лет пять назад открывается дверь, гляжу — он. Сразу узнал: тот самый Игорек Тустов — мужчина уже. Ну, так и так, здорово, как жизнь. Женился? Врешь! Сын? Два? Удивил, брат! Ну садись, выпьем за встречу. Рассказывай. Долго болтали, вспоминали. Потом он небрежно: «А я, Павел, тоже помаленьку пишу. Вот, посмотри, если у тебя время есть».

Подает мне натюрмортик, «Три яблока» назвал, и еще. Кажется, «Студент». Этакое разбросанное что-то, вроде дикобраза. Ты представляешь, настолько бездарно и беспомощно, я думал — шутит. Захохотал я, не выдержал. «В какой начальной школе, — говорю, — отыскал?» Поднял глаза и оторопел. Ты когда-нибудь встречала взгляд змеи? Нет? Я тоже, потом уже в зоопарке пригляделся. Точно такие глаза — темные, холодные и злые.

Забрал свои творения и ушел, даже слушать не стал, только в дверях остановился и бросил: «Хорошо, Косачев, благодарю. Но ты еще меня вспомнишь!»

Вот это, думаю, да! Чешу в затылке. Ты, Ирина, знаешь, что самое страшное на свете?

— Наверное, атомная война.

Косачев, от души смеясь, сказал:

— Нет, Ирина, атомная война пустяки в сравнении с разъяренным графоманом. Страшнее и представить нельзя.

— Весело с вами, Павел Андреевич. А что все-таки дальше?

— Ничего особенного. Конечно, ничего он не написал, но где бы меня ни обсуждали, он тут как тут. Он меня, одним словом, уничтожает. Пишет статьи, доказывает, что я хоть и талантлив, но несовременен и все прочее. Объявил меня своим подопечным. Вот у нас и такое наблюдается, Ирина.

— Я, кажется, слышала — Тустов....

— Не вспоминай. Он по радио часто выступает. Пропагандирует Микеланджело, Рафаэля, Ван-Гога! И неко-

торых западников. Своих он только ругает; правда, ему еще не дают развернуться вовсю, но он надеется.

— И правильно делают. А вы знаете, Павел Андреевич, ведь и это интересно очень. Вот вы смеетесь, значит, вам он не так уж страшен.

Косачев задумался.

— Не знаю. Я, Ирина, тертый волк, у меня имя, не так легко скушать. А представь себе неокрепший, молоденький талант в руках моего знакомого? Такие злобствующие карлики хитры, на словах они заботятся о развитии искусства, не сразу и поймешь. Настоящие творцы и ошибаясь хотят добра людям. А такие ловят и радуются. Ага, брат, попался! Им ведь все безразлично, кроме своего желудка. Они и разоблачению культа обрадовались не так, как все остальные. По-особенному, по-своему, ага, мол! По-черному. И притом — они не враги, просто порода сказывается.

Художник достал сигареты, мундштук.

— Заговорились мы с тобой. Ты знаешь, чего-то мне хочется, а чего? Ты не в курсе?

— Чаю? — улыбаясь, спросила Ирина.

Косачев чиркнул спичкой, встал рывком и подошел к столу. Стопкой — работы по лесоводству и лесоустройству.

Ирина проследила за его взглядом.

— Каждому свое, Павел Андреевич.

Косачев развернул одну из книг.

— П. В. Васильев. «Развитие лесного хозяйства и лесоэкономической науки в СССР». Ишь ты... Что сие значит, глубокоуважаемая Ирина Трофимовна? «Леса, лесопромышленность и лесное хозяйство Северогорского края...»

Ирина поставила чайник на стол.

— Книги отца, — сказала она тихо. — Понемногу начинаю разбираться в его делах и замыслах. Тоже свой мир. Начинаю понимать. Действительно, большое дело.

— Я слышал, у тебя собирается молодежь... Проектом Трофима Ивановича занимаетесь?

— Да, спорим... Может быть, на днях обсудим наши предложения с парткомом — организовать курсы лесоводства. И директор согласен.

Она почувствовала, что он не слушает, думает о другом. Может быть, о Москве.

Ей представилась долгая-долгая дорога. Как это дале-

ко — Москва... Поезд или самолет? Белые просторы, белые облака, удивительно голубые рассветы — отец рассказывал.

— Как всегда, покрепче, Павел Андреевич?

— Мои привычки меняются туго, Ирина.

Он отхлебнул.

— Хорош... Люблю чай. Душу смягчает, особенно с мороза.

— Я добавила немного шиповника. Для вкуса. Берите варенье, тоже свое — голубика. Берите больше, не стесняйтесь.

— Что ты, Ирина. Страдать таким чудовищным пороком? За кого ты меня принимаешь? Я давно не школьник, и сие, вероятно, не так весело.

Она промолчала.

— Грустно, — сказал Косачев, глядя в стакан. — Уезжать грустно, Иринка-былинка.

— А вы оставайтесь, Павел Андреевич.

— Нельзя.

— Значит, не грустите. К нам всегда можно вернуться.

— Конечно. Истина всегда глаголет устами младенца. И все-таки грустно. Только здесь я узнал людей по-настоящему... широких, похожих на Гольфстрим, что ли. Ты на меня не обижаешься?

Она отставила чашку с чаем. Косачев следил за ее руками.

— Павел Андреевич, сравнение на вашей совести, а я о другом. Можно спросить... Конечно, это не мое дело... Вы один уезжаете?

76

Он ждал этого вопроса. Глаза стали темнее.

Вот оно, опять то самое. И теперь он с мучительной внутренней просветленностью видел: самое настоящее. Убежденность пришла неожиданно, но была подготовлена всем, и он, прежде чем ответить, долго молчал.

Причина и объяснение.

Неприкаянность последних дней. Уже не помогала работа.

Он прошелся по комнате. Ему показалось, что пол — палуба корабля. Слегка покачивается под ногами. И впереди — огни гавани. Недели в зыбком океане, тысячи километров тревог. И вот — гавань, успокоение знакомых

вещей после усталости штормов, после подавляющего величия океана. Земля, гавань... Он почувствовал себя именно так — истосковавшимся по земле матросом. Непривычное, больное и дорогое чувство. Косачев замер на полпути, недалеко от плиты.

Матрос думал, что подходит к знакомой бухте, и увидел все чужое и незнакомое и, вероятно, поэтому еще более волнующее и зовущее. Другие очертания берега, незнакомый голос, неожиданное расположение сигнальных огней. И опять всплеск тревоги в душе. Куда пришли? Не повернуть ли обратно, стоит ли сходить на берег? Но хорошо известно, что причалить необходимо. Кончается уголь — трюмы пусты. Нет воды — вчера выдали по последней кружке, и запасы хлеба пора пополнить.

Все было отдано работе с тех пор, как он перешел на квартиру к Галинке. Никто не беспокоил его даже намеком. А чем он платил? Только принимал как должное. Уходя, возвращался в убранную комнату, садился за накрытый стол. И думал о своей картине. Женщина окружила его заботой, но ни разу не позволила приблизиться к себе настолько, как раньше.

Ирина ждала. Косачев подошел к столу. Словно вернулся из дальнего путешествия. Сел. Она увидела в его лице ту теплоту, которой не хватало раньше. Казалось, он уезжал одним человеком, чужим, непонятным, а вернулся другим.

Он растерялся. Он не мог ответить. Ни да, ни нет. Память беспощадна. Вечера, встречи, ее и свои слова, десятки вещей, они раньше не замечались и вдруг всплыли. Он не хотел упрекать себя — это была привычка, уродливая привычка, без участия сердца. Внимания и нежности ровно столько, сколько необходимо.

Косачев не мог взглянуть на Ирину.

Он ушел от нее неожиданно, ничего не ответив, и девушка, задумчиво размешивая варенье, долго глядела на дверь.

77

Строго и отчужденно плыла широкая, похожая на круглый поднос, луна. Хруст снега под ногами рассыпался по всей улице. «Вот это мороз», — подумал Косачев, хватаясь то за нос, то за уши.

Он добежал, хлопнул калиткой, затем дверью.

— Как раз вовремя, — сказала Галинка. — Видать, все родные живы.

Она не спросила, где был, подала веник обмести ноги, позвала к столу. Глядела спокойно и ясно.

В простеньком цветастом халатике, открывавшем шею и немного грудь, она была по-домашнему тепла и желанна.

— Мороз какой...

— Да... А ты что без шапки? Потерял?

Косачев бросил веник в угол и выпрямился. Медлил. Хотелось повернуться и выбежать обратно в мороз. Неужели она спокойна и ничего не чувствует?

Щелк! Щелк! — услышал он. Повернул голову и увидел старуху, коловшую сахар. Но его сразу же отвлек голос Галинки:

— Что ты стал? Раздевайся, поздно уже, смотри, скоро десять.

78

Мать Галинки в накинутом на плечи пуховом платке. В чертах лица — следы былой красоты. Сейчас ей около шестидесяти.

— Здравствуйте, Анна Васильевна, — сказал Косачев. — Я вас сегодня еще не видел.

Старуха недолюбливала художника и ревновала дочь.

— Спасибо, милый, хоть сейчас увидел, — сказала она.

Поджала тонкие сухие губы и продолжала колоть сахар. Галинка засмеялась, взглянула на Косачева.

— Разогреть борщ, Павел? Ты ведь сегодня не ужинал.

— Нет... Впрочем, давай!

Он взялся за ложку, и не глядя на старуху, чувствовал ее присутствие.

79

Она ушла спать раньше, чем всегда. Вероятно, поняла, что мешает.

Как только за нею закрылась дверь, Косачев встал.

— Галя...

Он подошел сзади, не решаясь обнять, положил руки на спинку стула. Перед глазами затылок, высокая шея и мягкие пушистые завитки волос.

— Я скоро уезжаю... через неделю. Может...

Она чуть опустила голову, чуть шевельнула плечами. И только блюдце в руках о чашку — звяк...

— Новость... Что ж... Счастливого пути, Павел.

Он приподнял ее, повернул к себе лицом и совсем близко увидел ее глаза. И еще он увидел маленькие слезинки в уголках зеленых, очень прозрачных глаз и, чувствуя, как все рушится в нем, припал к ее лицу. Она не отстранилась, сильно побледнела и закрыла глаза.

— Не надо...

— Я люблю тебя, Галинка... Я только теперь понял, что́ ты есть... Ты...

— Не надо, Павел, мать услышит.

— Пусть слышит... Ты поедешь со мной, я заберу тебя, я уже все решил. Что ты? Что ты, Галинка? О чем ты плачешь? Крупные какие... Глупая... Что ты? Не смотри так, ради бога... Ты никогда больше не заплачешь... Слышишь?

Не в силах говорить, он опять стал целовать ее, и не стало ничего, кроме ощущения свежести кожи и солоноватого вкуса слез на губах, и нежности, и желания. Тело под руками гибко и послушно, он узнавал его руками и губами. Но в тот самый момент, когда все обрывается, он опять услышал:

— Пусти...

И неотвратимое отдалилось, и то, что было близко, стало невозможным. Они снова смотрели друг на друга с отчуждением. Как неделю, как год назад, они были далеки. Она — спокойна, он пытался успокоиться, ему было не по себе от мысли, что он смешон.

— Сядем...

— Хорошо, сядем...

— Слушай, Павел, я еще ни от кого не принимала милостыню. И не приму. Я люблю. Я не скрываю... Может быть... первый и последний раз. У тебя своя жизнь... слава. Эта твоя картина, я следила с самого начала. Ты не замечал... Какая-то мазня вначале, пятна и линии. Все было непонятно для меня. Потом начали проступать люди, я их узнавала и опять удивлялась. Ну чем они интересны? И я боялась, что у тебя опять не получится. Подумаешь, Головин, Сашка, Павлыч.

В глазах Косачева мелькнуло удивление, она заметила и, торопясь высказать наболевшее, только сдвинула брови.

— Ты не подозревал... А у меня вместе с твоей картиной все связано было. Душа у меня ломалась, Павел. Медленно, больно. То у тебя не выходило, потом люди по-

лучились. Мертвые какие-то лица, знакомые и мертвые. И я решила: не буду больше смотреть. Почти месяц выдержала. А недавно отдернула занавеску, как ты ушел, и чуть не закричала! Все ожило, мне показалось, что я услышу сейчас голоса. Глядела как на чудо и понимала что-то еще такое большое, а до конца понять не могла. Непонятный, какой-то режущий огонь... А потом я почувствовала, что плачу. Я словно была с ними, и прошла тот же путь, и увидела, ради чего этот путь. Ведь правда, они не остановятся и пойдут дальше. И я с ними... Глядела и думала: не мог человек этого сделать. Не знаю я его. И наверное, никогда мне его не понять.

Она замолчала, и Косачев замер. И не скоро смог выдавить из себя несколько слов, прозвучавших бесцветно и фальшиво:

— Галинка, прости меня. К черту славу...

— Хорошо, к черту.

— Постой... Ты что, ты не хочешь ехать?

— Зачем, Павел?

— Со мной.

— Зачем? Ты в картине совсем другой. Ты и сейчас не понимаешь, или делаешь вид, что не можешь понять!

— Ты любишь меня? — спросил он немного погодя, спросил потому, что окончательно растерялся.

— Да.

— Ты знаешь, мне нельзя остаться.

— Разве я тебя держу?

— Нет, но... Неужели у тебя нет ни одного хорошего слова для меня? Или...

Он запнулся. Он не видел ничего, кроме ее лица. Сейчас оно вызывало в нем чувство тяжести.

— Есть, Павел, я не хочу их говорить. Ты сам подумай, зачем я тебе нужна? Что я буду делать? Берешь из милости? А потом что? У тебя все, у меня — ничего. Потерять все, что ты принес! Я ведь не верю теперь, я каждый шаг теперь обдумываю, я скупой стала, Павел. Оставь ты тогда хоть каплю надежды! Мне трудно поверить. Люблю... Откуда взялось?

Галинка оборвала. В такой ярости она еще не видела Косачева. Он схватил ее за руки — чуть выше локтей.

— Да?..

— Нет.

— Я вернусь. Ты меня не знаешь.

Его пальцы сжимались. Какое наслаждение — боль. Нет, она ничего не скажет. Пусть. Какие сильные руки. Пусть. Странно, он что-то говорит — шевелятся губы. Она не слышит. Пусть...

Косачев оттолкнул ее внезапно.

Она покачала головой и стала наливать чай, не соображая зачем.

— Здесь я своя, родилась, выросла. Помнишь, я уезжала? И вернулась... Я думала, из-за тебя. Уже после поняла: нет, не только. Мне было тесно там, на каждом шагу деревни и люди, я никогда не видела столько. А здесь... Ты разве не чувствуешь этих просторов? Выйдешь утром — и задохнешься от тишины. Смотришь и теряешься — все так размашисто, и тайга, и сопки все дальше уходят, все дальше, и конца ничему не видно. Вы там забились в своих стенах и улицах, и души у вас, видать, тесные. И пыльные какие-то, старые. Я не виню тебя, Павел.

Она замолчала и увидела вдруг художника. Бледное лицо, растерянные глаза. И ей представилась почему-то ночь, плывшая над сопками и тайгой, представилось, какой невероятный холод сейчас вверху, и она вздрогнула, тихо вздохнула.

Косачев ждал. Раскрывались глубины, о которых он не подозревал, в них он просто не мог, страшился сейчас заглянуть. Возможно, так и должно было случиться. То, что он увидел, пережил и нашел... За это только благодарить, даже если случится невозможное, и Галинка останется только в его памяти. Вот такой, как сейчас.

Он был и рад этому откровению, и не мог с ним мириться. Новый портрет или картина?.. А сама она? А Галинка?

Его новая попытка ничего не принесла. Ему не хватило доводов, они были листьями без корней, им не хватало силы — земли.

— Мы не дети, Павел, — сказала Галинка. — Мне нечего делать в твоем мире. Белая галка... Искать непотерянное. Давай лучше вино пить, Павел Андреевич. Я вино разолью, будем пить и говорить о Рубенсе, о Веласкесе... абстракционистах... Ты же как-то удостоил показать мне свои альбомы... И видишь, у меня память хорошая. Помню.

Из ее рук выскользнул стакан и с мелким звоном рассыпался по полу. Они медленно встали. Опять друг против друга. Но слова отступили. Люди боялись слов.

80

Ирина прошлась по комнате. Вот и еще неделя пролетела.

Прислушалась.

В доме — ни звука. Нет, не сразу приходит полное чувство утраты. Был отец, и нет больше, и никогда не будет. Остались его комната, его вещи, бумаги, книги. Изучение проблем лесохозяйства и пути его усовершенствования. Лесовосстановление на гарях и вырубках, рациональное использование богатств тайги... В чем все-таки заключался на первых порах просчет отца? Ведь это общенародная проблема, и ею должны проникнуться все. Большинство лесозаготовителей смотрят на тайгу, как на некую бесконечность. Пили, вывози — всем хватит, да еще и останется. После того как в пятьдесят первом году был отвергнут его проект, отец совершенно ушел в себя. Одному воз с места не сдвинуть.

Только вправе ли они так строго судить отца? Может, он видел что-то другое? Как она мало, оказывается, знает... А чтобы сделать в жизни нужное, необходимо знать. Может, все ее планы ерунда? И ничего нельзя сделать? Не ей тягаться с отцом. Обсуждение проекта в обкоме опять затягивается, и в точности ничего пока неизвестно.

Ирина остановилась перед фотографией отца той поры, когда он был молод. На нее глядел человек примерно одного возраста с Косачевым. В гимнастерке без погон, темный шрам на подбородке. Суровый взгляд. Шла война, отца только что комиссовали из армии после ранения. Ее, Ирины, в тот год еще не было.

Большой пустынный дом настороженно молчал. Вечер. В душу стучалась тишина. В окна безглазо заглядывал белый снег. Был отец — умный и серьезный человек, и нет его, и некому подсказать в минуты сомнения. И нет Александра. Но теперь недолго. Через два дня открывается зимний аэродром и прилетает первый самолет. Она уже получила телеграмму.

Ирина прошлась по комнате. Остановилась перед зеркалом. Поправила волосы. Но мысли были о другом. Она уже переволновалась. Чего тут... Отошла от зеркала и присела к отцовскому столу. От легкого движения стопка писем на столе рассыпалась. Оказывается, у него была

большая переписка. Пишут рабочие, старые институтские друзья, товарищи-фронтовики. Многие письма интересны. Писали не только о лесе. Были чудаковатые и злые письма. Одно из них ее совершенно расстроило. С фантазией больного описывалась предполагаемая атомная война и спрашивалось: зачем насаждать леса, если все на земле стоит перед концом? Ирина не знала, что бы ответил отец. Она решила не отвечать совсем.

Письмо оставило неприятное чувство. В мыслях она возвращалась к нему снова и снова. Она пыталась представить себе автора, некоего Белянкина из Свердловска. Вероятно, желчный низенький человечек, с убогой философией верующего. Все от бога, зло и добро. Противодействовать чему-либо — грех. Впрочем, все это ерунда. Случайный человек, жалкие мысли. Вся жизнь, весь ее небольшой опыт утверждают другое. Стоит опустить руки, и на тебя навалится все темное, таящееся до поры до времени в закоулках жизни.

Девушка собрала письма. Перевязала куском серой тесьмы и положила в нижний ящик стола. Прошлась по комнатам, раздумывая, что нужно сделать к приезду Александра. Впервые возникло желание — все переставить. Совершенно по-новому. Пусть сразу чувствуется большая перемена в их жизни.

Стол вот сюда, кровати у них будут две. Рядом... Они накупят книг еще больше — можно выписать. Толстого, Тургенева — Саша любит.

Ирина прислушалась. На крыльцо кто-то взошел. Ирина взглянула на часы. Почти двенадцать.

Она удивилась еще больше, когда увидела в дверях директора.

81

— Добрый вечер, Ирина, — сказал он, снимая фуражку. — Давно хотел зайти поговорить. Можно раздеться?

— Раздевайтесь, — растерянно пригласила она. — Садитесь, Вениамин Петрович.

— Спасибо. Шел — вижу огонек. Днем все недосуг.

Он сел на предложенный стул, оглядел просторную комнату. Зоркий взгляд отмечал малейший беспорядок. У дверцы на плите отбит уголок, портрет Тимирязева слегка сдвинулся в сторону. Патронташ на стене рядом с ружьем на две трети пуст, книги на полке — вразнобой.

Сложное чувство привело в этот дом Вениамина Петровича. План в леспромхозе перевыполнялся из месяца в месяц, большинство рабочих говорило о новом директоре все одобрительнее. Он быстро привык к новому положению — на совещаниях в обкоме Игреньский леспромхоз уже дважды ставили в пример другим. Корреспонденты «Северогорской правды» — частые гости в леспромхозе. Он согласился с предложением комсомольцев открыть с нового года курсы лесоводства. Пришлось уступить — в конце концов при умелом отношении несомненно полезное дело. Не считаясь с возможностями, Головин придавал ему слишком большое значение, выдвигал непомерные требования и, естественно, терпел неудачи. Последнее собрание Вениамин Петрович провел блестяще. И потом — смерть почти всегда примиряет. В их отношениях были тяжелые моменты, оба они прошли долгий и трудный путь. Теперь Вениамин Петрович убедился, насколько он трезвее, насколько дальше предвидел и предугадывал. Поймут и другие. И чем дальше, тем больше. Двух правд не бывает — жизнь не терпит двойственности. Побеждает одно. То, что нужнее жизни и людям, что нужнее в данный момент. В этом жизнь всегда безжалостна.

Вступив на должность директора, Вениамин Петрович думал о гораздо больших трудностях. Но люди остаются людьми всегда и быстро забывают. Мало ли в жизни мечтателей и проектов, они приходят и уходят. А кусок мяса для человека важнее самых захватывающих идей. По данным последнего месяца, заработки увеличились почти на двадцать процентов по сравнению с прошлым годом. Такой факт многого стоит. Пусть Глушко холодноват и себе на уме. Но лед и здесь вот-вот тронется. Готовясь в наступление, нужно укрепить тыл — еще один и, быть может, самый важный просчет Головина. В жизни не бывает мелочей, и если сказать по-другому — вся жизнь состоит из мелочей, и любую из них нельзя упустить.

Все шло хорошо до вчерашнего вечера. Гром грянул неожиданно, среди ясного неба. Иначе не назовешь. Дурацкий вечер, тяжкая бессонная ночь. Мешая спать жене, Вениамин Петрович вставал, зажигал свет, рассматривал свои короткие волосатые ноги, огромными кружками пил холодную воду и безостановочно кружил в нижнем белье по просторным комнатам, шлепая босыми ногами по холодным половицам пола. Он растерялся впервые за свою

жизнь. Допущенный им просчет был существенней всех просчетов Головина, вместе взятых.

В его прочно налаженный мир, в обретенную, наконец, устойчивость, неожиданно дохнуло предвестием бури.

— Нет, нет, — сказал Вениамин Петрович, скашивая глаза на стол, на распечатанное письмо из Москвы, которое пришло вечером на имя директора Игреньского леспромхоза. — Ерунда... Не стоит придавать такого значения. По сути ни тебя, ни твоей работы не касается. Только хорошенько обдумать.

Вениамин Петрович не заметил, как начал рассуждать вслух. Стараясь успокоиться, он остановился посреди комнаты, быстрым нервным движением потер маленькие крепкие руки.

«Проморгал...»

В большой пустоватой комнате голос прозвучал отрезвляюще. Вениамин Петрович прислушался, склонив голову. Было слишком тихо. И то ли от этой давящей тишины, то ли от неприятных мыслей, Вениамин Петрович почувствовал усталость.

— Проморгал, чего там... олух... Осел! — повторил он, и теперь не оставалось сомнения. Он действительно просмотрел блестящую возможность, которая заставила бы заговорить о нем совсем по-другому.

Лицо Вениамина Петровича было напряжено. Таким его никогда не знали. Его душа не могла вместить того, что он смутно почувствовал и увидел. Он и не полагал о своей способности так волноваться и думать о себе, о жизни. До некоторой степени Вениамин Петрович относился к философии скептически, но сейчас ему было не до шуток. Он видел себя щепкой, попавшей в бурный поток.

И было безумием пойти наперекор потоку, он шутя перехлестнет через голову и понесется дальше. Очень неприятный момент — почувствовать нечто подобное. Говоря откровенно — скверный момент.

— Но все совершенно не так, — произнес Вениамин Петрович, с трудом переводя долго сдерживаемое дыхание.

Мягко белели окна. Дверь в соседнюю комнату распахнута, из нее засматривала темнота. Вениамин Петрович погасил лампу. Лег. Но не в постель к жене, а на жесткий старый диван в другой комнате. Было муторно,

сон не шел. Ах ты, Головин, с живым с ним, оказывается, было легче, чем с памятью о нем. Она была живучей, чем думал Вениамин Петрович раньше. Она оборачивалась самой беспощадной явью. Несуществующий Головин продолжал действовать.

Вениамин Петрович никогда не пил. Над теми, кто пил и оправдывался горем, любил зло подшутить. Теперь от бессонницы, от острого желания забыться, заглушить в себе лихорадочную работу мысли он вспомнил о глотке спирта. Он встал, разбудил жену.

Спросонья она жалобно переспросила и, засыпая опять, сказала:

— В шкафу должно быть. Ты же сам ставил вчера, как поясницу мне растирал. А у тебя что? Опять ноги? Уехать бы отсюда, Веня... Может, мне подняться, плиту растопить?

— Не надо, спи.

— Перед жаром растереть лучше.

— Я же сказал — не надо. Сам, — повторил Вениамин Петрович торопливо, опасаясь, что она и в самом деле встанет. Как никогда, хотелось сейчас быть одному; прихватив бутылку, Вениамин Петрович на цыпочках прошел в другую комнату и бесшумно притворил за собой дверь. Глоток спирта заставил задохнуться, и только потом он подумал, что нужно было запить водой. Вениамин Петрович вытер невольные слезы. «Вот гадость», — поморщился он, мучительно двигая шеей. Несмотря на отвращение, глотнул еще раз. С отяжелевшей головой поставил бутылку на подоконник. Прилег на старое место — на диван.

Близилось утро. Еще больше потемнели окна. Они почти слились со стенами и теперь скорее угадывались, чем различались. Хотелось уснуть. Он начал считать до тысячи. Перевалив за четыреста, сбился. Полежал не двигаясь, представляя бесконечную вереницу ползущих по небу облаков.

И потом вдруг начал спорить с Головиным так, как если бы тот был живой и находился рядом. Спрашивал, выслушивал его ответы, возражал. И порой казалось ему: идет один из самых обычных разговоров в кабинете директора, и ничего ровным счетом не изменилось, и Головин по-прежнему на своем месте.

Вениамин Петрович спорил и доказывал, что его прав-

да ближе людям, понятнее, нужнее, как правда необходимости. Вениамин Петрович видел знакомый упрямый взгляд Головина и закипал все больше. И потом Вениамину Петровичу стало не по себе. Что за чушь — спорить с мертвым! Успокаивая себя, он усмехнулся в темноту. Ерунда. При желании можно многое исправить, многого добиться.

Заснул он только под утро, совершенно измученный, растерянный, и во сне очень жалел себя.

82

Ирина накинула на плечи старый материнский платок. Она была незлопамятна. Но именно в эту минуту хотелось, чтобы рядом был кто-то другой, близкий, более свой. Она взглянула на фотографию Александра на стене — Вениамин Петрович перехватил ее взгляд. Мягко и понятливо улыбнулся.

— Скучаешь?

— Скучаю, конечно, — отозвалась она коротко и просто.

— Хороший парень. Мы с ним из одного города родом — из Смоленска. Недавно узнал. Одно время часто казалось — знакомое лицо... Будто видел когда-то, давным-давно. Да разве вспомнишь... Я на родине лет пятнадцать не был, все собираюсь. И все не соберусь. Не осталось там никого, а тянет. Родина. Во сне иногда вижу отцовский домик, липы кругом. Одна — старая, высокая, со сломанной вершиной — молния сбила. И на ней гнездо аиста, у нас их черногузами зовут. А внизу в гнезде воробьи пристроились. Множество. Чирикают, суетятся. Любил я мальчишкой за воробьиными яйцами лазить. Как-то аисты чуть не сбили. И отец вдобавок за уши оттаскал... Смешно.

Ирина слушала, вежливо улыбалась. Доверие не приходило. Внимательно следила за проворными пальцами директора, бегавшими по скатерти. Изредка поднимала глаза выше — к его лицу. В такие моменты Вениамин Петрович улыбался, казался проще и моложе. Он был собран и спокоен, но его необычная разговорчивость заставила Ирину насторожиться. Настороженность переросла в тревогу. Ей было знакомо такое чувство. Когда-то она его уже испытывала. Но никак не могла вспомнить — когда.

Вениамин Петрович слегка наклонил голову. И она вдруг вспомнила. Собрание перед самым пожаром, душный и дымный клуб, набитый людьми, выступление отца, появление главного инженера, Александра и то, как он смотрел на Почкина, растерянно и бессильно. Так вот когда это было... Тот же наклоненный острый череп, то же щемящее чувство тревоги. С тех пор все изменилось, много воды утекло. Можно многое понять. И согласие нового директора на организацию курсов лесоводства, его неожиданный ночной приход. В конце концов, он никогда не упоминал о своем предшественнике плохо. Наоборот...

83

У Вениамина Петровича желтое от бессонницы лицо. Ирина откинулась на спинку стула.

— Спасибо, Вениамин Петрович, за внимание. Мне ничего не нужно, все есть. Я ведь работаю — хватает. А у вас как дела?

— Как у всякого директора. Тебе такая жизнь больше других знакома. Стоп... Какой олух!

Вениамин Петрович выхватил из бокового кармана сложенное вдвое письмо.

— Вот. Заговорились, а ведь, собственно говоря, о самом главном чуть не забыл. Ты прости — я вскрыл, на конверте-то указано просто директору. Раскрыл — и оказалось не мне. Не дожил Трофим Иванович.

Ирина быстро пробежала короткие, скупые строки и, не отрывая глаз от письма, опустила его на стол. Проект отца в Совете Министров! Она не слышала слов директора.

— Что с тобой, Ирина? Успокойся.

Успокоиться? Да ведь она спокойна, как никогда, спокойна. Она как-нибудь сама разберется.

— Не надо, Ирина, — в голосе Вениамина Петровича усталость и грусть. — Я тебя понимаю, вспомнила отца. Он всю жизнь боролся, и пусть он не увидел победы: не всякому случается победить и после смерти, Ирина.

Вениамин Петрович умолк на полуслове. Очень прямо глядели угольные до черноты глаза. Нет, она была непохожа на Головина. Ни лицом, ни характером. Но это был его взгляд. Задумчивый, слегка насмешливый и тяжелый. И она, кажется, не столь терпима, как отец. Такие не уме-

ют прощать. За тонким росчерком бровей и нежным девичьим румянцем угадывалось кипение страстей. Такие натуры редки среди женщин. Вениамин Петрович вспомнил свою веснушчатую, сдобную и болезненную жену и остро позавидовал Александру. И пожалел о своем приходе. Он понял: Ирина не верит ему, старается верить и не может. Под ее пристальным взглядом он точно голый. Проситель с протянутой рукой. Он не привык стоять с протянутой рукой. Нужно встать и уйти. Самое лучшее. В любом другом случае он бы не стал ждать ни одной минуты. А здесь нельзя. Слишком далекий вышел разговор, и потом... Их только двое, девушка не из болтливых. Откуда может стать известно, о чем говорили два взрослых человека?

Подавив стыд и раздражение, Вениамин Петрович продолжал улыбаться.

Ирина отвела глаза в сторону. Ничто не изменилось: та же комната. Книги и вещи. Морозные окна. Прочные, уютные стены — дом строился по-хозяйски, надолго. Никаких перемен вокруг, только люди какую-то долю времени никак не могли заставить себя взглянуть друг на друга.

— Знаешь, Ирина, — сказал Вениамин Петрович, — твой отец оставил хорошую память. О нем нельзя забывать. Когда-то я неплохо писал. Ознакомившись с его проектом, можно тиснуть пару-другую статей. Ты ведь не будешь против? Подумай — дело касается чести коллектива, пусть знают наших.

Стараясь не глядеть на директора, Ирина встала. Ей показалось, что сзади раздался крик. Но она не оглянулась. Она тут же забыла.

Бом-м!

Это часы, всего-навсего старые стенные часы.

Просто ее утомил тяжелый разговор, и она увидела и узнала много нового. Отец, дорогой, хороший человек... Ты часто говорил, что творец всегда выше слепого исполнителя.

Бом-м!

Будь разумной, Ирина, не обращай внимания. Перед тобой — нищий. Засмеяться? Заплакать? Или не заметить?

У Почкина ждущие настороженные глаза. Стараясь быть спокойной, она встала, отошла от стола. И не выдержала. Ознакомить с планами, проектами? Ему, портив-

шему кровь отцу при жизни, воспользоваться теперь его смертью? Его мыслями?

Она не могла сдержать себя. Нет, Вениамин Петрович! Отдать вам бумаги отца?

У директора серело лицо.

— Не веришь, — сказал он, точно подвел черту. — Ладно, Ирина. Когда-нибудь ты поймешь, любой из нас может ошибаться.

Он тяжело встал из-за стола, подошел к вешалке. Снял куртку. О таком обороте дела он не думал. Он хотел выйти отсюда другом, не его вина...

— Спокойной ночи.

Вениамин Петрович помедлил. Опять задержался взглядом на портрете Александра.

— Уходите, — попросила Ирина. — Уже поздно.

— Да. Иду. А ты, Ирина, подумай. Жизнь полна неожиданностей, тебе придется с ними столкнуться.

Тон его настораживал. Но она не могла и не хотела больше разговаривать. Помедлив, она вышла на улицу вслед за ним. Свет остался гореть. Осталось и письмо на столе, в котором очень по-деловому сообщалось, что проект Трофима Ивановича Головина будет учтен при разработке Закона об охране природы РСФСР. И так же коротко благодарили.

84

Ирина была у Васильева впервые.

Стол, плита, кровать, три стула, дым, окурки. Заваленная книгами комната.

— Добрый вечер, Павлыч.

Скрывая удивление, Васильев потер глаза. На плите шипел чайник.

— Здравствуй, Ирина. Раздевайся. Чаю хочешь?

Васильев не стал расспрашивать, просто предложил чаю, и девушка почувствовала себя свободнее. Она сбросила пальто, взяла стакан обеими руками и стала греть об него пальцы. Сразу исчезло желание говорить. Вот так сидеть, отхлебывая чай маленькими глотками, и больше ничего. Просто отогреться.

Васильев собрал разбросанные по столу бумаги, сложил их в одну стопку.

Присел рядом, стал размешивать сахар, стараясь не звякнуть ложечкой, затем открыл томик Уитмена.

Был ребенок, и он рос с каждым днем
и каждый день видел новое.
И на что бы он ни взглянул — он всем становился,
И все становилось частью его на этот день, на этот час
или на многие, многие годы.

Васильев перевернул страницу. Любовь к поэту он пронес через всю жизнь. Колосс разума, великий гуманист и жизнелюбец. Все, что может дать человечество, воплотилось в эти вечно живые мысли. В них находит прибежище и сильный и слабый. Когда ему было особенно тяжко, он разворачивал эту книгу. Сегодня — наоборот. Он чувствовал: девушка пришла к нему не так просто. Ирина пришла как раз вовремя. Ему казалось, что он понимал ее. Только не нужно ни о чем спрашивать. Пусть помолчит. Подумает. Так бывает. Посидеть и помолчать, лишь бы рядом был кто-нибудь другой, лишь бы не одиночество в холоде ночи. Это такое скверное чувство — он не хотел бы испытать его вновь.

85

Мелькнет и погаснет. Где-то у самой черты видимости. Вот опять. Слабый мерцающий свет. Скорее... Скорее... Ирина. Ты пересматриваешь заново свою короткую жизнь? Не надо. Успеешь. Будет много людей. И плохих и хороших... Видишь, опять блеснуло, и опять исчезло. Жизнь, сто жизней, тысяча жизней перед тобой. Ты вглядись внимательней. Ты вспомни. Все вспомни. Ты знаешь по себе, что есть минуты, когда человек прозревает, когда он становится взрослым.

Она поднесла стакан к губам. Отхлебнула, зажала краешек зубами. Смешно... Живут люди в поселке, день и год, и ничего не знают.

— Послушай, а ведь он приезжает. Через день.

Она даже голову откинула. Ей показалось, что это сказал Васильев. Но тот сидел, отгородившись от всего мира развернутой книгой. Она смотрела на пальцы Васильева, и перед глазами проходили десятки людей, десятки воспоминаний. Она почти физически чувствовала: в ее планы и мысли ворвалась другая жизнь, более широкая и сложная. Она видела весь мир сквозь узловатые пальцы Васильева, обхватившие ушедшую, но продолжавшую звучать эпоху — томик стихов Уитмена. Все пере-

плелось. Своя судьба и чужие судьбы, прошлое и настоящее. Жизнь поселка на этом фоне — отчетлива до неузнаваемости. Она вспомнила улыбку Александра.

— Павлыч, — позвала она.

Он опустил книгу.

— Я получила телеграмму. Саша прилетает через день, в пятницу.

— Волнуешься?

Ирина не ответила. Она что-то решала про себя.

— Павлыч, ты книгу пишешь, мне Саша рассказывал.

— Да, пишу. А твой Сашка порядочный болтун, приедет — надеру уши.

— Ты умный... Скажи, откуда берутся плохие люди?

— Чудачка... Кто тебе ответит вот так, сразу? Мало ли? Человек для того и приходит в жизнь, чтобы ее переделывать. Что-нибудь случилось?

86

В день открытия зимнего аэродрома в Игреньске было ясное небо. Сухая от мороза дымка обволакивала тайгу. Белизна аэродрома слепила.

Снег.

Ожидание.

Ирине не сиделось в жарко натопленной избушке. На свежем воздухе не так одолевало волнение. На нее не сердились, что она напрасно выстуживала помещение и каждый раз громче обычного хлопала дверью. Возвращаясь в избушку погреться, садилась в темный угол. Вслушивалась в разговоры. Раскладушкин, исполнявший зимой обязанности начальника аэродрома, рассказывал об аварии в прошлом году, о том, как он вовремя подоспел на помощь и спас летчика. Об этом все слышали. Кое-кто зевнул:

— Ты бы придумал что-нибудь поновее.

Васильев сидел рядом с Косачевым, на длинной скамье у стены. Косачев не принимал участия в общем разговоре и не слушал, о чем рассказывал Раскладушкин. Каждый раз, когда Ирина возвращалась в избушку, она встречала взгляд художника, и всякий раз он отводил глаза.

В избушке топилась печь, тепло и уютно. Васильеву

было грустно, кого-то встречают, кто-то прилетает. Из головы не шел недавний разговор с Ириной. Он иногда посматривал на нее, слегка улыбался. Сейчас она думала только об одном. Сам он тоже пришел встретить Александра, отпросился на полдня с работы. Ему надоело слушать болтовню Раскладушкина, и он повернулся к Косачеву:

— Покурим? Что молчишь?

— Так...

Они не сразу услышали нараставший постепенно гул, и когда вышли из избушки, самолет несся по гладко укатанной тундре, поднимая за собой хвост снежной пыли. Самолет развернулся недалеко от избушки и стал, холодно поблескивая под солнцем стеклами кабин. В раскинутых крыльях ощущение только что оборвавшегося полета.

Спустили лесенку...

Васильев увидел Ирину. Другие встречающие шли к самолету, а девушка стояла рядом с ним, чуть сбоку.

В коротком нагольном полушубке, в казенных валенках, подавшись слегка вперед, Васильев видел ее заиндевевшие ресницы, выбившуюся из-под платка и тоже в белом инее прядь волос. Он вздохнул. Зачем он пришел сюда? Мешать? Смешно обижаться, грустно видеть еще одно подтверждение того, что жизнь на исходе и новое, неизвестное стоит в нетерпении у ворот. Он отступил назад и увидел Александра, сбегавшего по лесенке. Тот радостно махнул рукой в их сторону. Васильев поднял было руку и тут же с улыбкой опустил ее.

К самолету шла Ирина. И только на нее смотрел Александр.

Косачев на ходу пожал ему руку, что-то сказал. Везли багаж. Раскаленная белизна аэродрома жгла глаза.

Наступавшая со всех сторон тайга. Холодная, нескончаемая голубая высь. Прошлое... Прошлое...

Васильев ощутил его сердцем, мозгом. Оно холодно прикоснулось к задрожавшим губам, шевельнуло волосы под шапкой. На минуту он потерял способность соображать. Косачев с лесенки самолета махал шапкой.

— Ирина! Сашка! Живите счастливо! Павлыч, бывай.

Васильев не слышал. Куда-то за горизонт отшатнулась тайга. Васильев остался со своим прошлым наедине. Он и оно. И никого больше. Огромное белое пространство —

и в центре два человека. Один — пожилой, сутулый, стоял недалеко от избушки, второй — высокий, с румяным молодым лицом, вышедший из самолета, по-детски беспомощно щурился на сверкающий снег. И потом он словно споткнулся. Чемодан выскользнул из его рук, он уверенно пошел прямо к Васильеву, и тот с трудом сдвинулся с места.

Они узнали друг друга.

Никто, кроме Александра, не понимал. Никто, кроме него, не обратил внимания. Долго стояли два человека, прежде чем решились обняться. А когда это случилось, Александр отвернулся. Увидев потом его лицо, Ирина забыла все остальное.

— От радости, — ответил он на ее немой вопрос. — Все хорошо... Смотри...

Она вскинула голову и не увидела ничего, кроме высокого бесконечного неба. Зимняя тайга, белая даль. Небо, солнце. Зимний покой.

— Не видишь? — спросил он, обнимая ее за плечи и по-прежнему глядя вдаль. Ирина тотчас почувствовала сквозь одежду его тепло и затихла. Но ненадолго. Александр молча проследил за ее взглядом. В том месте, где дорога поворачивала в тайгу, стояла Галинка Стрепетова. Ее укрывала большая ель. Когда взревел мотор и самолет побежал по полю, Галинка вышла из-под дерева, заслоняясь от солнца, подняла руку к глазам.

Снежный вихрь. Рев. Туча белой пыли. Галинка шагнула раз, другой, третий.

Александр переглянулся с Ириной. Самолет казался теперь маленьким. Люди сходятся и расходятся. Это нужно знать. И дорожить.

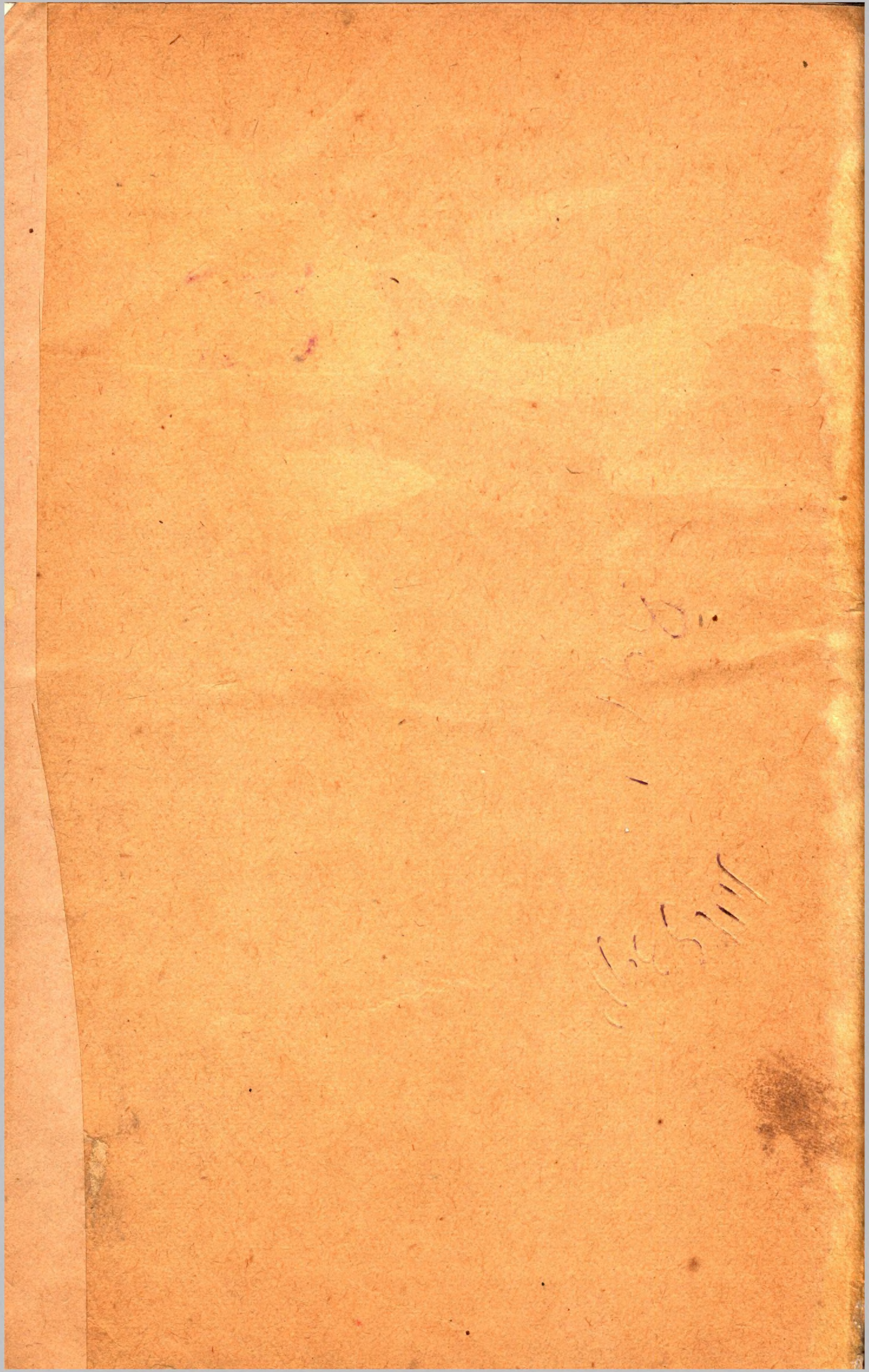
— Я долго ждал этой минуты, — тихо сказал Александр. — Очень ждал, Ирина.

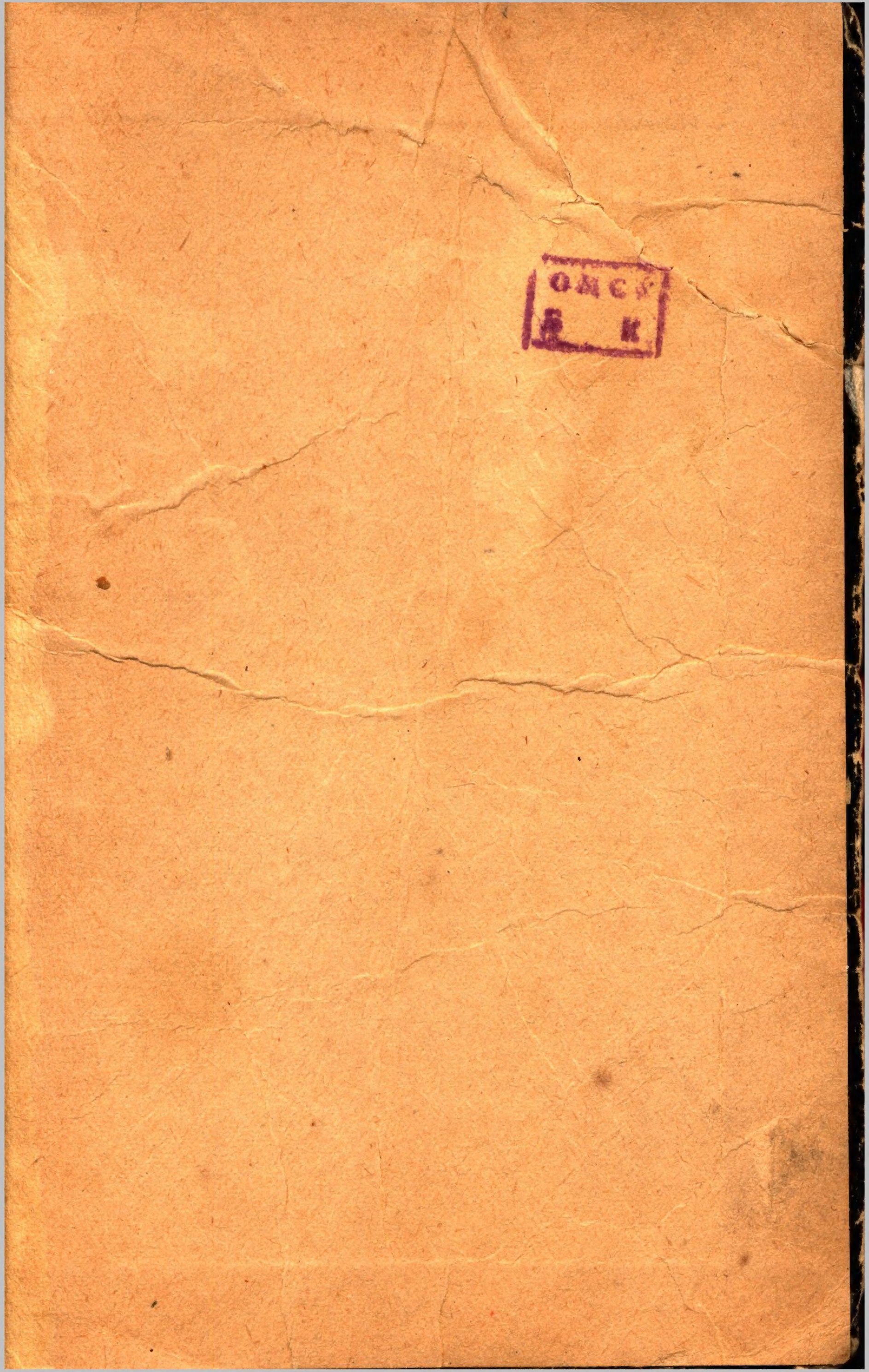
— Вот ты и дома... Вот мы и вместе... Здравствуй. Как хорошо, наконец ты дома. Погоди, дай я посмотрю на тебя... Какой ты большой стал, Саша. И ребята ждут. У нас так много нового... Анищенко молодец. Ты сразу ко мне... К нам... Да? Я все приготовила.

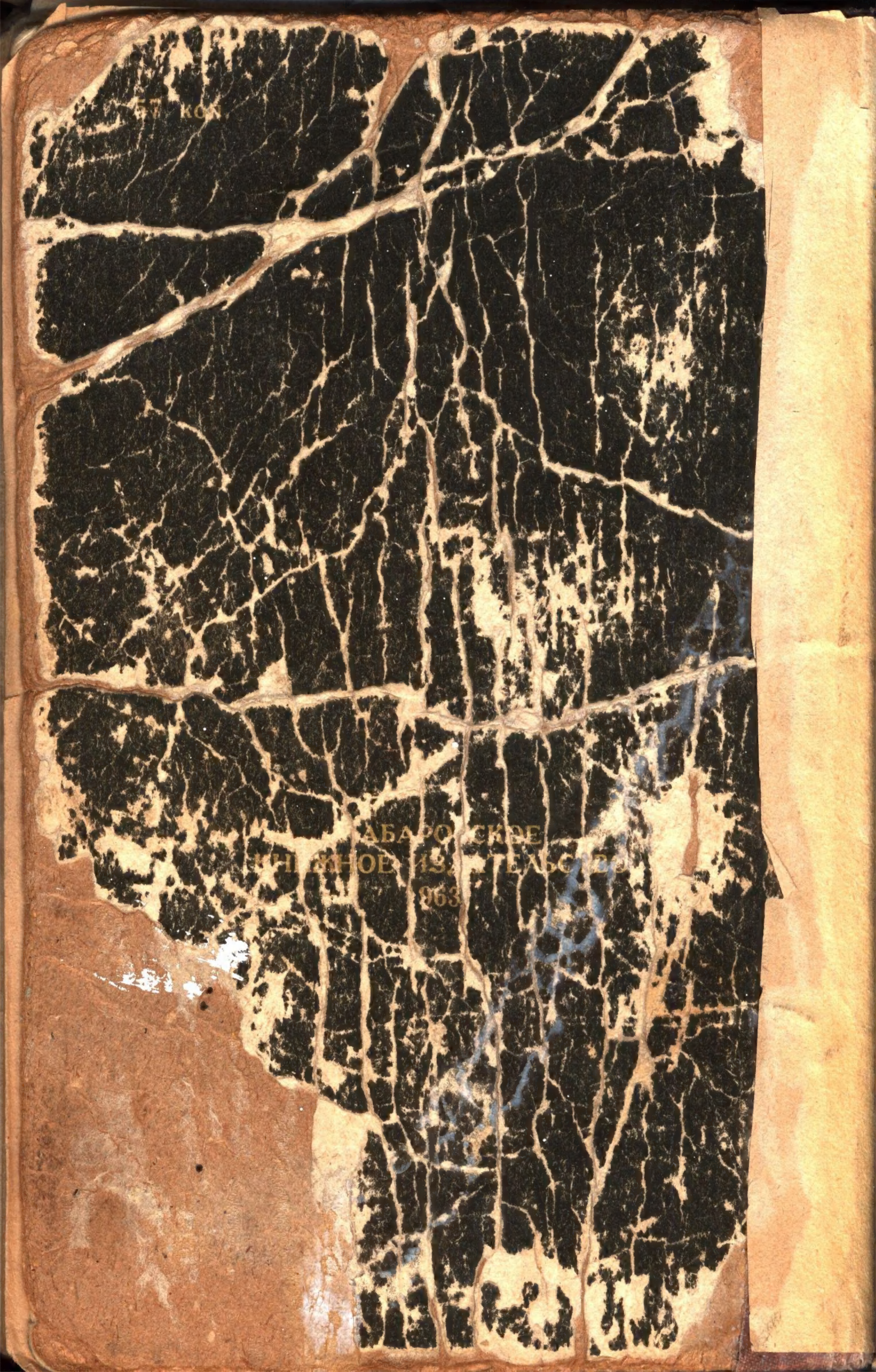
Александр крепче сжал ее плечи.

— Жаль, Павел улетел.

— Обещает вернуться... Сашка, неужели это ты? Последнее время мне часто казалось, будто я тебя выдумала. Кто это к Васильеву?






коп.
АБАРО СКОЕ
НОЕ ИЗ ТЕЛЬС
963